

INSPIRIA

Кристиан
Беркель

яблоневое
18+
Дерево

INSPIRIA

Annotation

Берлин, 30-е годы XX века. Сала и Отто, молодые люди из разных слоев общества, влюбляются друг в друга. Сала – девушка из богемной еврейской семьи. Отто – простой парень из рабочего класса.

С началом Второй мировой войны их пути расходятся. Сала, в страхе за свою жизнь, уезжает из Германии, а Отто становится врачом Вермахта, и вскоре его призывают на войну. Обоих ждет плен, годы скитаний и одна неожиданная встреча, которая перевернет всю их прежнюю жизнь...

Роман Кристиана Беркеля «Яблоневое дерево» стал бестселлером в Европе и более 25 недель продержался в списке лучших книг немецкого издания Spiegel, что является настоящим достижением. В книге рассказывается реальная история жизни родителей Кристиана Беркеля, записью которой он занялся после того, как у его матери, дожившей до преклонных лет, обнаружили деменцию. Это поразительное историческое полотно, созданное на основе архивов, писем и историй из путешествий. Роман был переведен на 8 иностранных языков и неоднократно отмечен в СМИ.

«Это не биография, но мозаика удивительной жизни, пробелы в которой автор деликатно заполняет собственным воображением». – *Munchner Merkur*

«Роман, повествующий о поисках собственной идентичности, тоске по дому и большой любви». – *Der Spiegel*

- [Кристиан Беркель](#)

-

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)

- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)

- [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
-

Кристиан Беркель

Яблоневоe дерево

Посвящается Андреe, Морицу и Бруно

Каждая судьба, как бы длинна и сложна она ни была, на самом деле заключается в одном-единственном мгновении; мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он.

Хорхе Луис Борхес

Christian Berkel
Der Apfelbaum
(The Appletree)

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Copyright © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.

Published in 2018 by Ullstein Verlag

© Сорокина Д., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2021

Тишина.

Дерево с треском упало на землю. Мужчины снова запустили бензопилы. Вопль. Протяжный, пузырящийся визг, и пила вонзила зубы в следующую сосну. Я не осмелился повернуться. Сердце разрывалось на куски. Я слышал, как корни столетних гигантов медленно вырываются из земли, как они сдаются и падают.

Я сидел на столбе из красного кирпича у входа в наш новый дом. На противоположной стороне улицы утреннее солнце освещало ряды свежеразкрашенных заборных досок, за которыми таякали собаки, – пригородная идиллия. За моей спиной, в высокой траве зачарованного сада, каким его представляет каждый ребенок, лежали восемь мертвых сосен. Восемь. Я считал. Осталось лишь маленькое, кривое деревце. Его они не тронут. Отец пообещал мне. Я осторожно повернулся в гнетущей тишине.

Потерял равновесие. Покачнулся от испуга. И резко дернулся в противоположную сторону. Еще падая, пролетая в воздухе, прежде чем моя шестилетняя голова ударилась о каменную плиту, я смотрел на ее скромную красоту. Солнце пробивалось сквозь листву, блестели плоды. Она стояла на месте. Одна. Совсем не растерянная. Упрямая. Моя яблоня.

– Что, снова к матери?

Какое до этого дело продавщице цветов? К тому же в ее голосе слышался неприкрытый упрек. Что ей известно? Здесь, в Шпандау, все друг друга знают. Невыносимо. Я быстро заплатил и вышел из магазина.

С букетом в руках я свернул в узкий проход между домами. Тогда эти обувные коробки ставили хотя бы возле газонов. Родители сняли здесь квартиру после того, как продали дом во Фронау, чтобы проводить большую часть года в Испании. Таким образом отец исполнил обещание, данное матери десятки лет назад, в пятидесятых, когда она вернулась из Аргентины в Германию и почувствовала себя не в своей тарелке. Германия перестала быть ее отечеством – и не могла им быть.

– Заходи скорее.

Моя мать стояла в дверях в халате. Она затащила меня в коридор, прежде чем я успел вручить цветы. С последнего посещения прошло несколько недель. Зарядили осенние дожди и снег. Похолодало.

– Я должна тебе кое-что рассказать.

Мы зашли в маленькую гостиную, и она повернулась, высоко подняв голову.

– Я вышла замуж.

Над домом прогудел самолет. Мой отец умер девять лет назад, 24 декабря 2001 года.

– Почему ты мне ничего не сказала? – спросил я.

Она пристально посмотрела на меня, немного подождала.

– Не беспокойся, он уже умер.

– Что... но...

– Проблемы с печенью.

– А.

– Да, как у твоего отца, тот тоже умер из-за печени, но на войне. Вдруг упал – и все. И Карл так же. Он знал твоего отца с войны. Они вместе были в русском лагере.

– Что... Кто умер в России?

– Ну, твой отец.

– Нет.

– Нет? – Она недоверчиво улыбнулась. – Уж мне-то виднее; в конце концов, он был моим мужем, хотя из-за Адольфа пожениться нам не удалось.

– Нет, он не мог умереть во время войны, иначе не родился бы я... Или он не был моим отцом.

– Конечно, он был твоим отцом. Еще не хватало! Как это понимать? Что за бредовые идеи?

– Ну, я родился в 1957-м, а значит, упасть и тем более умереть во время войны он никак не мог: он зачал меня через двенадцать лет после ее окончания...

Она сердито на меня посмотрела.

– У тебя котелок совсем не варит? Просто умора! Но послушай, Карл оставил мне очень много денег – понимаешь ли, он хотел убедиться, что я буду обеспечена, а поскольку он постоянно ругался из-за меня со своей родней...

– Почему?

– Ну, он же из Бенцев.

Она умолкла и многозначительно на меня посмотрела.

– Бенцев?

– Да. Даймлер Бенц.

В ее устах имя прозвучало, как восьмицилиндровый автомобиль.

– И почему он ругался из-за тебя с семьей?

– Иногда ты правда туго соображаешь. Почему-почему? Они боялись охотниц за наследством. К тому же Карл был гораздо моложе меня. Это тебе в голову не пришло?

– Сколько же ему было лет?

– Точно уже не скажу. Сорок семь? Ты ведь знаешь, меня иногда подводит память? А может, сорок шесть, в общем, около пятидесяти... Да.

– Но я думал, он вместе с папой отбывал заключение в России?

– Да, я же сказала. Ты меня опять не слушал?

– Нет, просто тогда ему не могло быть около пятидесяти... Если он был с папой в русском лагере.

Я надеялся, она одумается, хотя было заранее ясно: это невозможно. Противоречия не смущали ее и раньше. Но все же я

попытался.

– Ведь тогда он должен был быть примерно твоего возраста.

– Но не был. Он был моложе меня на тридцать лет. Точка. Короче, слушай – он оставил на моем счете два миллиона евро. А поскольку мне деньги не нужны, я решила подарить их тебе и твоей сестре.

Она посмотрела на меня с довольным, сияющим видом.

– О, очень мило с твоей стороны, но почему ты не хочешь оставить их себе?

– Зачем? У меня достаточно денег, и жить слишком долго я не собираюсь. Я уже все видела и не хочу скучать. И прежде чем мы отправимся в банк за деньгами, я хочу заехать в «Интерконтиненталь».

Я вопросительно посмотрел на нее.

– Ну, там мы с Карлом праздновали свадьбу, и на следующее утро я забыла свадебное платье – пря-я-ямо там. Возможно, оно так и висит в шкафу. Хочу забрать его.

Я пришел с исписанным блокнотом, сел перед матерью и собирался расспросить ее об отце – а она рассказывала о своей свадьбе с Карлом Бенцем.

Я понимал: время, которое я ищу, еще не кануло в забвение. Оно растворялось у меня на глазах. Оставались лишь осколки ее жизни. Отдельные сюжеты повторялись в разных вариациях, соединяясь по-новому, словно картинку разрезали на части, несколько потеряли, а из остальных собрали новое целое. Будто создали в забвении новую душу.

И мой отец, с которым она прожила всю жизнь – с тринадцати лет, – мой отец исчез, погиб на войне много лет назад, и его заменил Карл Бенц.

С марта 1945-го до конца 1950-го мой отец был в русском плену. Возможно, годы разлуки преобразились для нее в смерть? Потому что тогда она поверила, что потеряла его, начала принимать его гибель, как многие женщины того времени, и эта смерть долго оставалась частью ее реальности. Возможно, ее иссякающая память снова вернулась туда?

Мы дошли до филиала банка всего за несколько минут. Моя мать целеустремленно направилась к консультанту. Она опустила на стойку свою большую пустую сумку.

– Добрый день, не могли бы вы озвучить сумму на моем счете?
Сала Ноль, – сказала она степенным, почти торжественным тоном.
После смерти отца она вернула девичью фамилию.

– Конечно, госпожа.

Сотрудник банка вежливо кивнул. Она заговорщически мне улыбнулась. На короткое мгновение я засомневался. Это ведь невозможно. Или?

– 3766 евро и 88 центов, сударыня.

Она ненадолго подняла взгляд.

– Нет, я про другой счет.

Похоже, консультант ее не понял. Мама повернулась ко мне и со вздохом покачала головой, словно извинялась за непрофессионализм сотрудника: ему еще следует многому научиться, но она великодушно закрывает на его промах глаза.

– Простите, но в нашем банке у вас только один счет.

– Вот как?

Она неуверенно кивнула, и с ее лица схлынула краска.

– Хорошо, тогда я вернусь завтра, когда будет ваш начальник.

Бедный мужчина вопросительно на меня посмотрел.

– Будем рады, госпожа.

Я осторожно вывел ее прочь.

На улице она прошла несколько шагов и остановилась. Изумленно посмотрела на меня.

– Не могла же я все это придумать.

Я говорил с врачами, добросовестно и старательно описывал все симптомы, самые ранние признаки расстройства и выяснил то, что знал с самого начала. Мне оставалось лишь сопровождать маму на неизбежном пути к тоннелю, чтобы потом, шаг за шагом, отпустить ее во тьму забвения. Психиатр посоветовал посещать ее как можно чаще. Регулярные беседы и общение могли замедлить течение болезни. Визиты давались мне тяжело. Они продолжались, пока у меня получалось проникнуть в ее мир. Чаще всего мне удавалось выстроить четкую картину, когда я оставался наедине с собой и ее голосом.

Некоторые помнят вкус печенья, которое их мама ставила на стол по воскресеньям, особую еду, любимое блюдо, аромат которого неизменно открывает дверь в закрытую комнату детства. Другие вспоминают запах материнских духов, ее объятия, как она сидела

возле их кровати во время болезни, ее походку, движения, силуэт ее спины, когда она выключала свет и выходила из комнаты, поцелуй, который помогал справляться со страхом засыпания, ее улыбку и слезы сочувствия или просто тихое, обнадеживающее присутствие. Я же вспоминаю ее слова. Слова, которые превращались в мои собственные образы. В пол, стены, окна и двери моего мира. В детстве для меня не было ничего страшнее ее молчания. А теперь? Она медленно погружается в мир, где нет общего языка?

Психиатр объяснил мне, что связь с реальностью сохраняется даже в бреде, но распознать ее непросто.

– Когда на утреннем обходе параноик рассказывает, что санитар всю ночь истязал его электромагнитным излучением, можно предположить, что накануне вечером санитар отнесся к пациенту не слишком дружелюбно.

Но, судя по описаниям, с мамой все было не настолько плохо. Я спросил о ее диагнозе. Он улыбнулся и пожал плечами.

– Вам поможет ярлык?

Настаивать я не стал. К чему мне слово, значения которого я не знаю? При прощании он положил руку мне на плечо. На мгновение мне показалось, что мы знакомы уже целую вечность.

– Не теряйте мужества.

Дома я принялся искать в фотоальбомах следы ее старой жизни. Начал записывать наши разговоры. Я слушал и слушал ее рассказы, и первоначальный ужас сменился более спокойным любопытством. При этом я чувствовал себя скрытым наблюдателем, незванным гостем. В этих рассказах содержалась эссенция ее жизни, монета, летящая в бездонный темный колодец. Мог ли я отыскать в ее забвении частицы воспоминаний? В какой сумрачный подвал она меня привела? И что скрывалось на обратной стороне медали? Возможно, отпечатки прошлых переживаний наложились на еще более глубинные слои воспоминаний и создали новую реальность? Некоторые пробелы в истории моей семьи навсегда канут в лету? Может, официальная версия нашей истории – лишь прирученные воспоминания, интерпретация с вычеркиваниями и дополнениями, и мы пытаемся сформировать из фрагментов цельную идентичность? Посещая мать, я задавался все новыми вопросами, погружался все глубже. Чем в более

далеком прошлом разворачивались события, тем лучше, казалось, она их помнила. Передо мной возникла призрачная история родителей, магическим образом проявившись в утраченном времени.

Я стоял перед ее дверью в Шпандау. Позвонил в звонок и беспокойно ждал. Давящая тишина. Здесь все казалось серым и грязным, хотя везде тщательно убирались. Воздух был влажным, на горизонте собрались грозовые тучи. А если никто не откроет? Вдруг она умерла? Может, лежит мертвая в коридоре или растянулась на ламинате в гостиной. Я позвонил еще раз. Иногда она просто громко слушала музыку или отключала звонок, если хотела покоя. Я уже собрался доставать мобильный, когда услышал ее шаги. Она никогда не была спортивной. В летние каникулы в моем детстве она целыми днями сидела на берегу под зонтиком и смотрела на море. Тогда ее тело было тяжелым и тучным. Я не знал почему. Я стыдился, когда смотрел на нее, мне хотелось красивую, привлекательную маму, чтобы мне все завидовали, элегантно одетую, с длинными темными волосами, как на фотографиях ее молодости. Но она много лет подряд ела уйму сладостей, готова была умереть за масляные соусы и, как я потом узнал, поплатилась за свою несдержанность повышенным сахаром крови. Диагноз звучал как «диабет 2-го типа», и уже несколько лет ей приходилось трижды в день вкалывать себе инсулин. Одна из ее худших привычек, причуда, которая раздражала и преследовала меня все детство, – постоянная смена париков, обязательного атрибута самоуверенной женщины шестидесятых, как говорилось тогда в рекламе. Однажды я раньше времени вернулся из детского сада, и мне открыла чужая женщина с ярко-красными волосами цвета входной двери. Я изумленно уставился на нее. Кто это? Неужели моя мать? Может, я ошибся дверью или родители больше здесь не живут? И что мне тогда делать? И лишь услышав ее голос, я смог вернуться в реальность.

За дверью прозвучало мое имя. Ее голос был все таким же пронзительным. Боязливым и резким, если она спешила или не знала, кто стоит за дверью, мрачным и тихим, когда она злилась, звонким и мелодичным, когда рассказывала одну из своих многочисленных историй. Дверь распахнулась. В старости мать снова обрела свою красоту. Она стояла передо мной в темных брюках и бледно-

фиолетовом комплекте из джемпера и жакета, хрупкая и ранимая. Она снова начала следить за своим гардеробом. Я поздоровался, поцеловал ее в правую и левую щеки. И внезапно почувствовал потребность ее обнять. Неуверенно положил руку ей на плечо. Она вздрогнула от моего прикосновения или просто застыла? Отшатнулась? Мое прикосновение ей неприятно?

Уже в гостиной она склонилась над журнальным столиком. Расправила маленькую прямоугольную скатерть. За столиком, у стены, стоял широкий, обитый золотым бархатом диван. Его изогнутые ножки из красного дерева сужались книзу, к чуть мелковатым позолоченным лапам. «Ампир из имущества дворца», – доверительным тоном сообщала она каждому гостю. И не вдавалась в подробности. Мама путала правду и вымысел. Иногда она ограничивалась намеком, иногда давала волю необузданной фантазии. Она упоминала, что черный столик – новодел, но лишь для того, чтобы подчеркнуть свою осведомленность в подобных вопросах. «Но он вполне неплох», – уверенно добавляла она. И спорить с ней решался только глупец. Ее двухкомнатная квартира была тесно заставлена. Здесь было ее *piéd-à-terre*^[1] с тех пор, как они с отцом покинули Берлин, чтобы провести последние двадцать лет совместной жизни в белом доме на фоне чужеземного лунного пейзажа. Они попытались сбежать от воспоминаний в национальный парк Кабо-де-Гата, к мысу Кошки. Справа от террасы простирался широкий пустынный ландшафт, снизу сверкало или буйствовало море. Пустыня у моря.

Она села на кресло рядом с диваном. Я снова принес диктофон. За последние годы у меня постепенно созрел план – написать книгу про нее, про нашу семью, про ее отношения с моим отцом. Сперва он приблизился ко мне, подобно бродячему псу, потом тщательно обнюхал, оставил свою метку и вскоре отвернулся. Да, сначала я чувствовал себя так, словно кто-то помочился мне на ногу. Друзья и знакомые подбивали меня написать эту историю. И каждый находил свои аргументы. Они основывались на определенных фрагментах, эпизодах, рассказанных всем по-разному.

Для меня эти истории оставались чужими, но все-таки не вполне чужими. Многочисленные пробелы вызывали вопросы, которые я задавать не решался. У любого семейного романа вырабатывается своя

грамматика, развивается своя система знаков, свой синтаксис, и для причастных людей он нередко становится непонятнее, чем для посторонних. Вблизи многого не разглядеть. Корневая система дерева столь же обширна и велика, как и крона. Мы пускаем корни в сокровенные тайны, растем и распространяемся под землей. Плоды – спелые или гнилые, живые или мертвые – следствие того, что нам не дано увидеть в природе и не позволено видеть в семье. Табу. Каждый ребенок узнает его с уверенностью лунатика.

Я вгляделся в ее лицо. Она собрала тонкие седые волосы в маленький тугой пучок на затылке. Двадцать лет в Испании пошли ей на пользу. Ее депрессия выщвела на солнце, она похудела и выбросила парики в море. Освобождение, вернувшее мне мать, которую я почти никогда не видел. Она напоминала далекую и нежную девочку с фотографии 1932 года. В тринадцать лет у нее были темно-каштановые волосы и печальный серьезный взгляд. А теперь она сидела передо мной в девяносто один – изогнутый нос на сморщенном лице и большие руки, которые продолжают с любопытством за все хвататься. Вновь постройневшее с возрастом тело по-прежнему напряжено.

Сладковатый запах старости проник мне в ноздри. В прихожей висел на крючке желтый берет отца. Он носил его перед смертью. С тех пор прошло четыре года. Когда я увидел его головной убор, в воздухе снова возник его запах, словно отец не окончательно покинул комнату, словно может в любой момент снять берет с крючка и молча отправиться в очередную долгую прогулку. Мать проследила за моим взглядом.

– Твой отец мне совершенно не подходил.

Я ненадолго потерял дар речи. Поразительное заявление: ведь эти люди, с несколькими перерывами, провели друг с другом почти всю жизнь.

– Значит, был кто-то еще?

– Вообще-то нет.

– Никогда?

– Сказала же, нет.

Я знал другие истории из других времен, но сейчас открылся иной пласт. Она не сводила взгляда с желтого берета.

– Мой отец подцепил его в зоопарке. А потом, в прекрасный и солнечный воскресный день, он появился у нашей двери. В сапогах со шпорами. Я сразу поняла – ему не по себе. Этот костюм. Нет. Ну просто умо-о-ора.

Она умолкла.

– Ты сразу в него влюбилась?

– Я?

– Да.

Она осторожно покачала головой.

– Знаешь, я уже точно не помню, но вполне возможно.

– И тебе тогда было...

– Тринадцать.

– А ему?

– Семнадцать.

Ее голова наклонилась чуть вперед, словно она задремала. Но вскоре мама заговорила вновь, прикрыв глаза:

– Посмотрим, во сколько он сегодня вернется. Такая наглость – он просто исчезает и даже не думает предупредить, куда идет и когда собирается вернуться. И так всю жизнь. Немы-ы-ислимо.

В мае 1915-го, в сражении при Горлице-Тарнов^[2], цирюльник Отто Джоос погиб от выстрела в грудь, пытаясь прорваться со штыком сквозь линию обороны врага.

В одном из дворов Кройцберга, в квартире на первом этаже, его жена Анна родила с помощью подросшей соседки мальчика на глазах у маленькой дочки Эрны. Ребенок был маленьким и весил ровно три килограмма, но при этом произвел на всех невероятно сильное впечатление. Роды длились двадцать минут.

– Бедолажка, сиротинушка! – покачала головой соседка.

– Следи за языком. Пусть ребенок слышит правильную речь.

Анна дала младенцу грудь. Она старалась говорить как можно четче и правильнее, но потом изумленно скривила лицо.

– Ого. Сильная хватка.

– Господи, Анна, что ты будешь делать? Еще один рот.

Анна не слушала. Она смотрела на новорожденного сына.

– Как жаль бедного Отто. Как же так, они умирают у тебя один за другим. Такое горе.

– Госпожа Кацуппке, вы можете идти, дальше Эрна справится.

Дверь захлопнулась. Госпожа Кацуппке еще несколько раз покачала круглой головой и вытерла окровавленные руки о замызганный передник. Она помогла родиться уже нескольким соседским детишкам, а некоторых отправила к ангелам. Она знала жизнь и знала, что с этим мальчиком появилась на свет еще одна проблема.

Эрна подкралась на тоненьких ножках к матери. И осторожно приподняла острое личико, заглядывая через плечо.

– Милый, – сухо сказала она. – Как мы его назовем?

– Отто. Как его папу.

Эрна кивнула.

Несколько недель спустя в церкви Анна познакомилась с безработным каменщиком Карлом. Она знакомилась на церковной скамье и с предыдущими мужчинами. Не самое худшее место. Тот, кто

приходил сюда, искал размышлений, переосмысления или утешения для измученной души. После службы было легко завести разговор. Непринужденную беседу. Или нечто большее. Тот, кто приходил в церковь, чтобы услышать голос Бога, был готов открыться. И, скорее всего, был неплохим человеком, раз верил в нечто высшее – а высшее значило для Анны очень много.

Карл был статным мужчиной. Но жизнь сыграла с ним злую шутку, это Анна поняла сразу. Широкие плечи и обиженное сердце в гордой груди – подобные контрасты ее притягивали. Она видела в нем вполне многообещающую обитель, несмотря на необходимость капитального ремонта. У таких мужчин было преимущество: конкурентки редко замечали их потенциал – во всяком случае, не так быстро, как Анна. Из ее первого мужа Вильгельма, Вилли, точно что-нибудь да получилось бы. Он не слишком любил работать, но подобные вещи Анну не смущали. «Враг нас не напугает», – говорила она на своем прекрасном немецком. Сама она не боялась никакой работы и не отступала ни перед чем, если дело касалось семьи, уютного дома для мужа и детей. Раз в день она кормила всех горячей едой, хотя в гороховом супе нередко недоставало жира, потому что в нем плавало совсем мало колбасы, и всегда выдавала всем бутерброды на работу или в школу. Анна была бедна и изобретательна. Она никого и ничего не боялась, даже авторитетов. Пуская в ход остроумие, она очаровательно и коварно обводила богатеев вокруг пальца. У нее была репутация отличной уборщицы – быстрой, аккуратной, надежной. Ей часто давали больше оговоренной суммы: какое-нибудь украшение, поношенное платье, ненужную кухонную утварь или старую мебель. Хозяевам нравилась любознательная молодая женщина, которая восхищалась красотой обстановки и не задавалась вопросом, почему она не может жить так же. Анна редко оставляла подарки себе. Чаще всего она быстро находила покупателя и откладывала вырученные деньги на черный день. Она была дальновидна.

К Вилли предъявлялись завышенные требования. Он отдалялся все сильнее, начал пить, не приходил ночами домой и в итоге повесился звездной ночью на суке гнилого дерева в лесу Тегелер Форст. Ветка сломалась под тяжестью его тела, проломив череп. Он был отцом старшей дочери Анны, семилетней Эрны. Анна любила Эрну, но ей хватало ума видеть в девочке маленькую пройдоху и

держат ухо востро. К сожалению, на верхних этажах их дома – их квартира была на первом – жили девицы легкого поведения. Когда усталая Анна возвращалась с работы домой, мимо ее окон шли вереницы распаленных похотью вечерних посетителей. Толстые, худые, старые, молодые, красивые, уродливые – из хороших, лучших, плохих кругов. Некоторые стучали в ее окно, звонили в дверь – хоть Анна и не была молодой и красивой, многие мужчины считали ее «привлекательной». Но Анна не продавалась. Она не осуждала других девушек, но имела гордость и скорее умерла бы с голоду, чем отдалась за несколько марок одному из этих парней. «Гордость – единственное достояние бедной женщины, если продашься, у тебя не останется ничего». Но отец Эрны, Вилли, был слаб. И тут не мог помочь сам Господь.

Похоронив его, Анна познакомилась в церкви с Отто. Внешне он был полной противоположностью Вилли. Маленький, даже хрупкий, с узкими плечами, пухлыми губами и лихими усами, за которыми он тщательно ухаживал. Отто был парикмахером. Он не пил, не распутничал, имел неплохие накопления, был сообразителен и прилежен, хоть и не особо тщеславен. С этим можно было работать. Вскоре Анна внушила ему идею стать цирюльником. Цирюльники лучше зарабатывают и могут проводить операции, как настоящие врачи, – вырывать гнилые зубы, вскрывать абсцессы. Тогда, объединив усилия, они точно скоро смогут уехать из квартиры на первом этаже, подальше от влияния дурного общества – имелись в виду скорее кавалеры, нежели проститутки. Они тревожили Анну. Не из-за себя – она умела добиваться уважения, – а из-за маленькой Эрны. Анна знала: среди мужчин, собиравшихся у нее во дворе незадолго до темноты, были извращенцы, которые уже через два-три года с огромным удовольствием протянут грязные лапы к маленькой Эрне.

Отто быстро овладел новой профессией. Он был одаренным и при лучших условиях мог бы стать настоящим врачом-хирургом. Возможно, с помощью Анны он со временем достиг бы и этих высот, но потом наступила война, четыре года жестокости, и Отто, как и многие ровесники, погиб за Родину – за три месяца до того, как стал отцом. Он был большой любовью Анны, и поэтому она назвала сына его именем.

Отчиму Отто, Карлу, не слишком нравился мальчик. Он ревниво замечал каждый жест, малейшее внимание Анны к сыну. После рождения общей дочери, Ингеборги, все стало только хуже. Теперь у Карла наконец появился родной ребенок. Озорники, как он называл Эрну и Отто, стали обузой. Он не понимал, почему должен гнуть спину ради чужого отродья. Карл никак не проявил себя на войне, это время наградило его лишь тяжелыми травмами: внезапными паническими атаками, которые он заливал алкоголем. Шаг за шагом война переместилась внутрь него. То, что Карл не пропивал, он спускал на игры, надеясь вернуть потерянные деньги. Со стройки он вылетел, распрощавшись с мечтой стать бригадиром. Стал браться за разные подработки, в основном на фабрике. Но без обучения оставался лишь подсобным рабочим, никем. И, возможно, искал на дне бутылки водки потерянную гордость. По субботам он получал конверт с зарплатой и пропивал большую часть в тот же вечер. Потом, шатаясь, брел домой и избивал всех до полусмерти. Кроме своей маленькой Инге.

Анна не могла с ним справиться. Она знала, что должна обезопасить Отто и Эрну. Работодательница рассказала ей о пригородных детских лагерях. Поскольку Отто и Эрнэ производили неблагоприятное впечатление голодных детей, ей быстро удалось найти места для обоих. Отто поехал к своей семье в Верхнюю Силезию, а Эрну отправили в Рурскую область.

Анна тяжело расставалась с детьми, но не знала, как поступить иначе. Эрнэ начала сбегать из дома, а маленький Отто трясся от страха, едва завидев своего отчима Карла. Казалось, переселение выгодно обеим сторонам. Дети окажутся в безопасности, а временные родители получают от государства дополнительные средства. Расставание продлилось меньше года. Оно стало передышкой для Эрнэ и адом для Отто, который угодил из огня да в полымя.

В пять часов утра его поднимала толстыми руками еще полупьяная Ирмгард, вытаскивала за дверь на пронизывающий холод, опускала в чан с ледяной водой и закрывала крышку, пока мальчик не начинал задыхаться. Каждый раз она снисходительно смеялась над его барахтаньем. Отто быстро понял, что крышку не поднимут, пока он не перестанет дергаться. Кроме того, он заметил – между крышкой и

поверхностью воды есть маленькая щель. Он осторожно поднимал губы над водой и вдыхал воздух, пока Ирмагд не поднимала крышку обратно, чтобы вытащить мальчика из воды – как она думала, в последнюю секунду.

Отто начал писать и какать в кровать. Тогда приемный отец хватал его за шиворот и, бранясь, заставлял есть «грязь». Если Отто отказывался, мужчина бил его обкаканными штанами по лицу. И бормотал, что отучит мальчишку от пустых отговорок. Отто больше не заикался, он вообще перестал говорить. Потом мальчик начал отказываться от еды. «Раз не хочешь, значит, не голодный», – невозмутимо комментировала Ирмагд его поведение.

Одиннадцать месяцев спустя Анна едва спасла сына от голодной смерти. Она забрала обоих детей обратно в Берлин. Там она ввела железные правила. Если Карл поднимал руку на кого-то из детей, она била мужа метлой или отказывала ему в близости несколько ночей кряду.

В школе Отто был самым маленьким и слабым. Одноклассники заняли место отца, избивая его до полусмерти. Однажды, в очередной раз подняв перепачканное кровью и слезами лицо над провонявшей мочой раковины школьного туалета, Отто посмотрелся в зеркало и понял: что-то должно измениться. Он стащил ночью со стройки несколько тяжелых кирпичей и железную жердь. Проделал в кирпичах дыры, подпилит железку и сделал штангу. Во дворе стояли небольшие железные стропила. Женщины вешали на перекладину дешевые ковры и выбивали их камышовыми палками. Анна поручала эту работу Карлу: «Тебе все равно делать нечего». О любви речи больше не шло. Когда он ложился на нее, она раздвигала ноги и быстро громко стонала, чтобы ему угодить. Вскоре Карл понял, что палкой для ковра можно обрабатывать и задницы членов его неудачной семьи.

Теперь Отто каждое утро вставал на два часа раньше, крался мимо храпящего отчима, который чаще всего ночевал на диване в гостиной, обливался ледяной водой, со злостью вспоминая мучительницу Ирмагд, надевал трусы и майку, доставал из погреба штангу и выходил во двор тренироваться. Поначалу ему едва удавалось поднимать собственный вес, подтягиваясь на перекладине, или отжиматься больше трех раз. Но Отто знал: если сдать сейчас,

он пропадет на всю жизнь. Урок был ясен и прост: ты получаешь побои или раздаешь их сам. Отто еще сомневался, хочет ли он их раздавать, но твердо знал, что бить себя больше не позволит. Через несколько недель кирпичи стали слишком легкими. Он стащил из-под кровати у спящего отчима два полных ящика пива, прикрепил их к штанге канатом и постепенно повысил вес до четырех ящиков по тридцать бутылок. Анна видела из окна, как сын поднимает тяжести. Она все поняла. Если оставалась лишняя картофелина или даже бутерброд с маслом, она откладывала их для Отто. Полгода спустя Отто был все таким же маленьким, но вырос из всех своих вещей. Благодаря мускулам он спокойно преодолевал дорогу до школы, которая так долго была для него путем на Голгофу.

Пауль Мейстер, заклятый враг Отто, которого все благоговейно называли Пауле, не блистал особым умом, но кулаками размахивал быстрее, чем зубрили рассказывали таблицу умножения. Он валил на землю любого, кто противился его воле. А поскольку разговаривать ему было непросто, своей шайкой он командовал с помощью взглядов.

Был декабрь, утро понедельника. На гравии школьного двора лежал холодный иней. На первой большой перемене Пауле царственными жестами делил мальчиков на две команды для игры в футбол. Отто спокойно стоял в углу. Он аккуратно развернул бутерброд, который дала ему мать. Перепачканный грязью мяч прилетел прямо в лицо. Пауле бил метко. Его свита завывала от восторга.

– Дурачок Отто наделал в штанишки, – закричал худой прыщавый парень.

– Тряпка Отто набивает брюхо бутербродами, – вторил ему рыжий мальчик, стоящий за спиной у Пауле. Толстый, с растопыренными руками, словно кто-то забрал у него костыли.

Пауле уверенно и гордо зашагал в сторону Отто. Остановился. И коротким взглядом приказал тому занять место в команде. Потом все произошло очень быстро. Отто ударил его правой рукой в бок, в печень. Пока Пауле задыхался, левая рука Отто угодила ему в лицо – сначала кулаком, потом локтем и разбила ему нос и скулу. Когда Отто лежал на нем сверху и возил лицом по гравии, как старую тряпку, Пауле уже точно не помнил, успел ли он что-то сказать, прежде чем выбить у Отто из руки бутерброд.

Свита, онемев, отступила назад. Надеясь на помощь, Пауле повернул к ним окровавленное лицо. Никто ничего не сделал. Все с благоговением смотрели на Отто. Он стал новым королем. И равнодушно покинул поле боя.

Когда все разошлись, с другой стороны школьного двора к нему подошел мальчик постарше. Он протянул Отто руку.

– Роланд.

Отто молча на него посмотрел. Он знал об учениках предпоследнего класса лишь понаслышке. Таких людей он всегда старался обходить стороной. Они все равно не обращали на него никакого внимания. И теперь он впервые посмотрел старшекласснику в глаза. Молочно-бледные, отметил он. Роланд был ненамного выше его. Его узловатые пальцы висели свободно, но тело было слегка напряжено, особым образом повернуто, ноги стояли расслабленно, но в позиции. Борец. Отто понял сразу. И пожал руку.

– Это Отто.

Они стояли посреди старого спортивного зала. Пахло потом. На матах занимались юноши, в большинстве своем старше и сильнее Отто. На них были черные, обтягивающие костюмы с короткими штанинами. Их тела беззвучно сталкивались. Периодически кто-то резко выдыхал воздух из легких, чтобы, пыхтя, высвободиться из хватки или обхватить соперника руками и ногами.

Мужчине, которого все называли шефом, было на вид около двадцати. Он твердо и холодно посмотрел на Отто из-под низкого лба, словно хотел добиться какого-то признания. Отто не отвел взгляда.

– Новичок?

Отто кивнул. Шеф жестом указал на дверь с противоположной стороны.

– Иди в раздевалку и выбери трико.

После этого он снова повернулся к борцам, больше не удостоив мальчика ни единым взглядом. Уходя, Отто наблюдал, как он мягко, но твердо раздает указания, периодически корректируя захваты и демонстрируя позиции.

Следующие недели Отто регулярно тренировался с Роландом в бойцовской секции «Спортклуб Лурих 02». Шеф смотрел лишь издали, новички его не интересовали. Периодически Отто слышал его тихий жесткий голос, подходящий скорее человеку лет пятидесяти. Для молодежи он был старшим братом, умелым старым воякой, который, как и многие из его поколения, имел пристрастие к выпивке. Его прищуренные глаза напоминали бойницы, и он весь походил на покинутую крепость. Настоящим учителем для Отто стал Роланд. Он показал мальчику все приемы и хитрости. Отто становился все сильнее. После тренировки он проваливался дома в глубокий счастливый сон. И познавал все новые возможности собственного тела. Его сила росла день ото дня, и он знал, как ее правильно использовать. Он научился побеждать, быстро опрокидывать соперника и прижимать его обоими плечами к мату на протяжении трех секунд. Правила были простыми – бросать, швырять, укладывать.

Нужно уронить противника, чтобы как можно скорее положить его на лопатки. Коронным приемом Отто стал бросок обратным захватом бедра. Он хватал противника за ноги и моментально поднимал его в воздух. Вскоре он хорошо освоил обманные приемы и проявлял удивительную фантазию, когда нужно было выявить сильные и слабые стороны противника и воспользоваться ими. Он все больше наслаждался своим новым телом.

Дома отчим наблюдал за переменами в мальчике, словно уставший вожак. Однажды он поднял на Отто руку. И замер в этой позе, словно почувствовав приступ внезапной боли. Потом, тяжело дыша, отвернулся. Это случилось вскоре после ужина. Жуткую сцену видели все. Карл ушел или ускользнула лишь его тень? Только Отто видел, как слегка задрожали его ресницы.

Мир – а скорее, лишь перемирие – продлился недолго. Однажды вечером, когда изнуренный, но счастливый Отто вернулся домой и закрыл за собой дверь, его встретил тяжелый удар – из-за темноты отчим лишь слегка промахнулся мимо затылка мальчика. Резко дернув головой, Отто беззвучно опустился на пол. Карл замахнулся кухонным стулом, чтобы завершить начатое, когда его тело пронзила жгучая боль. Скуля, словно побитый зверь, он в ужасе выполз из коридора. Анна с поразительным спокойствием положила в печь раскаленную кочергу и осмотрела сына. Обработала ушибы и уложила его в постель. Остудила ледяной водой горячий лоб. Напоив его по глоточкам теплым молоком с медом, она посмотрела на него долгим взглядом. Он взял ее за руку.

– Не бойся, мама. Я могу трудиться до упаду. Всегда найду, где заработать. И смогу нас всех прокормить. Я разношу в четыре утра брикеты, но теперь у меня новая задумка. И тогда ты сможешь перевести дух. Ты не должна вечно на всех батрачить.

Анна с гордостью смотрела на своего единственного сына. Ему уже исполнилось тринадцать, и теперь он брился каждое утро. Она видела глаза и подбородок его отца, она видела своего погибшего мужа.

Странные времена. Они голодали в войну. Некоторые сыновья умерли прежде родителей, а другие родились уже после гибели своих отцов.

– Отто, – она взяла его за руку, – избавляйся от берлинского диалекта. Твой отец никогда на нем не говорил. Он был хорошим человеком. Он был цирюльником, брил и оперировал состоятельных людей. Когда за окном темно, мальчики должны спать. Если хочешь многого добиться, нужно сидеть и прилежно учиться, а не тягать брикеты.

Он любил руки матери. Зря она вышла замуж на этого типа. Отчиму Отто не доверял.

– Я слажу.

– Справлюсь, – улыбнулась она.

– Справлюсь.

– И мой голову, а то облысеешь, как отец.

– Не, мама, об мои волосы расчески сламываются, такие они густые.

– Ломаются, – поправила она.

– Ломаются.

– Чего надо?

Грубый мужчина осмотрел Отто с головы до ног.

– Уголь, – ответил Отто. Он спокойно выдержал испытующий взгляд.

– Носить или паковать? – мужчине было максимум лет двадцать пять, но выглядел он на пятьдесят. Черные лицо и ладони, широкие плечи, сильные руки. Его кожа была неровной и рябой, словно старый кожаный фартук. Отто пригляделся. Он откуда-то знал этого человека.

– И то и другое, – ответил Отто, широко расставив ноги.

Мужчина посмотрел на него. Потом коротко присвистнул.

– Пошли, пацан, посмотрим, работаешь ли ты так же хорошо, как болтаешь. Большинство из приходящих сюда молодцы на словах, а на деле никуда не годятся.

– Я не боюсь работы.

Откуда он знает этот голос? Отто слишком нервничал, чтобы задавать вопросы.

Они молча спустились по лестнице в черный как смоль подвал. Мужчина закашлялся от сажи. Отто все глаза сломал, пытаясь хоть что-то увидеть. Комната была заставлена стопками брикетов. Должно быть, хозяин безмерно богат.

– Когда ты начал работать с углем?

– Если верить моим костям, сотню лет назад.

– А как давно ты работаешь здесь?

Мужчина дал ему подзатыльник.

– Кто задает вопросы, я или ты?

Отто умолк.

– Перетащи тонну, лежащую сзади слева, сюда, к правой стене.

– Зачем?

– Ты пришел учиться или работать?

Отто посмотрел на огромную черную стену, и учеба впервые показалась ему заманчивой, он заскучал по уютной школьной скамье, на которой через несколько часов заснет от усталости.

– У тебя полчаса. Если закончишь, получишь тридцать пфеннигов, если нет, можешь проваливать. И закрой рот, а то муха залетит.

Больше не удостоив Отто ни единым взглядом, он молча, как и при спуске, начал подниматься вверх по ступеням. Дверь с грохотом захлопнулась. Отто принялся искать выключатель. Услышал шорох. И напряженно вслушался в темноту. Ему хотелось громко поговорить с самим собой, но, возможно, мужчина все еще стоял за дверью. Шорох раздался снова. Что-то двигалось. Возможно, крысы. Однажды его отчим убил одну в подвале у них на Херманнштрассе. Тварь тридцати сантиметров в длину, с огромными, острыми зубами. Постепенно глаза привыкли к мраку. Отто тщетно шарил в поисках выключателя, когда сверху раздался знакомый, хрипловатый от пыли голос:

– Сломанные брикеты вычитаются из жалованья.

Кто это? Черт подери, ведь он его знает?.. Неважно, сейчас нет времени. Должно же здесь быть что-то, облегчающее работу. Иначе как передвинуть эти огромные поддоны? И что шеф имел в виду под левой тонной сзади? Любая тонна, лежащая сзади слева или самая последняя с левой стороны? В этом случае он должен сначала убрать два ряда перед ней. Невозможно. За полчаса он не сможет перетащить все брикеты по одному. Отто нерешительно огляделся. Ничего. Может, лучше удрать? Мать была права, он слишком мал для такой работы, а грубый тон уже знаком ему по отчиму, для этого необязательно запирается в подвале. Он снова услышал шорох. Ряды брикетов были плотно уложены вдоль стен. Но если где-то скреблись крысы или другие животные, значит, там должно было быть полое пространство, а если было полое пространство, то, возможно, туда что-то складывали – то, что пригождалось здесь, внизу. Как уголь вообще поднимали наружу? Лестница явно слишком узка. К тому же, наверху было не особо грязно, без следов сажи. Отто осторожно двинулся вперед.

– Ой.

Он наткнулся на стальную балку. Осторожно опустил на колени и принялся дальше прощупывать пространство, двигаясь на звук. Там могла быть шахта, через которую уголь доставляют наверх. Оттуда же в комнату должен попадать свет. Там же мог лежать инструмент. Постепенно задание начинало ему нравиться. Он подумал о тридцати пфеннигах, сколько будет получаться в неделю, в месяц, и сколько раз надо заработать тридцать пфеннигов, чтобы купить матери что-нибудь

особенное. Новое радио. Было бы здорово. Свадебный подарок отчима издавал металлическое дребезжание, и прием был ужасный. У торговца электроникой стояла в витрине одна модель. Отто часто прижимался носом к стеклу и любовался им, такое оно было красивое и необыкновенное. Мальчик представлял этот приемник, продолжая трудиться. Элегантные круглые кнопки спереди, бежевая обивка из тонкой ткани. Должно быть, звучит радио божественно. То, что надо для концертных трансляций, которые так любит слушать мать. Корпус явно из красного дерева. И стоит целое состояние. Его отчим никогда не сможет себе такое позволить. Но мать бы о таком мечтала, Отто знал точно. Он опустился на колени перед большой черной стеной. Крошечный луч света пробивался сквозь щель в брикетах. Должно быть, оно. Поднявшись на цыпочки и вытянув руку, он снял верхний ряд. Стало светлее. Шуршание стало громче. Отто посмотрел наверх, в спускную трубу. Он слышал, как по ней взбирается крыса. Метрах в четырех виднелась большая решетка. Шахта, через которую поднимали и спускали уголь. Он забрался на наполовину разобранный стену брикетов. Какой идиот заставил этот вход? И зачем? Там стояли две тележки и передвижная подъемная платформа. Готово. Остальное – детская игра. Отпущенное время еще не истекло, а он уже стоял наверху перед шефом. Тот посмотрел на часы.

– Двадцать три минуты и двенадцать секунд.

– Все готово.

– Завтра утром в пять. Ты еще ходишь в школу? – Отто кивнул. –

Чем занимается твой отец?

– Он погиб на войне.

– Где?

– Горлице – Тарнов.

– Где это?

– Галиция.

– Чертова война. Я потерял там обоих братьев.

– Где?

– В газовой атаке при Ипре. Это в Бельгии. Они так гордились. «Все уже почти позади, – писали они, – мы пустим газ – и им конец». Но получилось иначе. Оба задохнулись. Чертово отечество. Гадит прямо нам на головы. И кто за это ответит? Уж точно не те, кто

облажался. И мы еще долго будем приходить в себя после договора, который преподнесли нам в Версале^[3].

Он положил в руку Отто деньги. Отто смотрел и не верил собственным глазам. Не тридцать пфеннигов, а целая марка. Он стал обеспеченным человеком.

– Не трать все сразу. Кто знает, когда удастся заработать в следующий раз. И не забрасывай школу. У тебя светлая голова. Не дай ей пропасть зазря.

Он протянул Отто мозолистую руку.

– Завтра в пять. Я – Эгон.

Отто стоял, расправив плечи, словно его только что посвятили в рыцари. Он взял тяжелую руку и с удивлением услышал собственный твердый голос:

– Отто.

– Я знаю.

«Я тоже», – вдруг подумал Отто. Эгон крепко пожал его руку. Отто показалось, что маленькие холодные глаза на черном лице согрели вдруг все вокруг.

– Ты маленький, но хорошо тренируешься. Из тебя может выйти неплохой боец. Многие думают, что для борьбы нужна сила, но побеждают лишь те, кто сражается головой. Только не связывайся с неправильными людьми. У нас и такие есть. Сожрут тебя и не подавятся. Используй борьбу правильно. Искусству борьбы учатся, чтобы защищать слабых и угнетенных, а не наоборот.

Последнее предложение он произнес без берлинского говора, на чистом немецком.

– Не забывай, – быстро добавил он уже обычным дерзким тоном.

И впервые улыбнулся. На закопченном лице засияла широкая ухмылка. Отто пожал его руку. Он догадался. Эгон – шеф из бойцовой секции «Спортклуб Лурих 02».

Когда Отто вышел на улицу, солнечные лучи поразили его, как молния. Он подпрыгнул.

Отчим зевнул, прикрыв рот рукой. Айнтопф^[4] был доеден.

– Как на фронте, только лучше.

Карл продержался на фронте недолго. Однажды утром он прострелил себе винтовкой левую ногу, и его отправили обратно на родину из-за непригодности. Товарищи прикрыли его, они понимали, что Карл слишком слаб для войны, слишком слаб для жизни. Никто ни слова не сказал о членовредительстве, чтобы спасти его от военного трибунала. И теперь он был подсобным рабочим, сломленным, хотя и статным человеком.

– Мы дорого заплатили за это в Версале, – сухо заметил Отто.

– О чем это ты? Заканчивай с пустой болтовней, кем ты себя вообразил, безобразник. Смотри, мать, какой тут умник объявился.

Зачем его мать вышла за этого идиота? Отто чувствовал, как в нем закипает ледяная ярость.

– Уж точно поумнее тебя.

Он глянул на мать. Прикусил язык и быстро увернулся от тарелки, которая прилетела в его сторону.

– Ну замечательно, – пробормотала Анна, собирая осколки.

Карл угрожающе посмотрел на нее водянистыми глазами, а потом сорвал скатерть вместе со всем, что стояло на столе. И, задыхаясь, указал на пол:

– Приберись.

Когда мать пришла поцеловать его перед сном, Отто серьезно посмотрел на нее. Он говорил медленно и обдуманно:

– Мама, я хочу в старшую школу.

Анна положила руку ему на лоб. Кивнула и выключила свет. Он не спал. Комнату освещала луна. На стене лежала тень оконной рамы. Сестра Эрна прошмыгнула к нему под одеяло.

– Ты уже занимался этим?

Она была на три года старше него. Отто покачал головой.

– Хочешь попробовать?

Она взяла его руку и провела по своим тощим бедрам.

– Прекрати, не то я тебя выпорю.

– Ну давай, – хихикая, она повернулась к стене и крепко прижалась к нему маленьким задом. – Уверена, ты делаешь это лучше, чем взрослые.

Отто боролся с растущим отвращением. Он знал, как Эрна добывает карманные деньги. Она ходила в бордель на верхних этажах не только убираться. Он посчитал, сколько может заработать на следующей неделе. Он должен отсюда выбраться. Со сверкающими цифрами в голове Отто заснул под ритмичные стоны спящей беспокойным сном сестры.

В следующие месяцы он каждое утро доставлял соседям брикеты. А по вечерам помогал в магазине деликатесов, таскал ящики, разбирая товары. Так он получал залежавшийся хлеб, овощи, салат – все, что стало недостаточно свежим для состоятельных клиентов. Отто нес все домой. Его семья больше не должна голодать.

Он попал на первенство округа по борьбе. Помимо физической закалки учеников, «Спортклуб Лурих 02» занимался их духовным развитием. За отдыхом от тяжелых, монотонных упражнений им прививались коммунистические идеалы и классовое самосознание. Отто впервые услышал слово «образование».

И во второй раз услышал о старшей школе.

– Зачем тебе это? – спросил его отчим.

– Ты не поймешь.

Карл нерешительно на него посмотрел. Попытался придать взгляду авторитетность и уверенность. Но пауза продлилась слишком долго, и хорохориться было поздно. Он задрожал. Ему стало жарко и холодно одновременно. По левой руке поползли мурашки. Он несколько раз открыл и закрыл рот, хватая воздух, словно полумертвая рыба, и без сознания повалился на стол. Отто вскочил, стащил его на пол, быстро перевернул на спину и принялся ритмично сдавливать обеими руками грудную клетку отчима, делая искусственное дыхание. Карл снова пришел в себя. Вместе с матерью Отто отнес его в постель. Он не раздумывал ни секунды, не злился, не испытывал отвращения – как и близости. Мать не сводила с него взгляда. «Лучше любого врача», – подумала она. Отто проверил пульс Карла.

– Я звоню в «скорую».

Шеф собрал всех членов клуба. Их лощеные тела образовали круг, а Эгон зашел внутрь и уселся посередине. Уже несколько недель встречи стали регулярными и обязательными, и Отто никогда их не пропускал. В отличие от большинства, он сидел на них прямой, как палка, и жадно ловил каждое слово шефа. Эгон огляделся, и вялая болтовня смолкла.

– Сегодня я хочу рассказать вам о Карле Марксе. Знаете такого?

Борцы смотрели на него пустыми глазами.

– Ну ничего, все впереди. Рим не сразу строился. Паульхен, что вылупился, как головастик, речь о вашем будущем, – он сделал многозначительную паузу. – И остальные, тоже напрягите уши. Если до вас дойдет хоть малая часть, вы уже будете в выигрыше. Итак, Карл Маркс очень много думал, здорово накачал мозг и перевернул с ног на голову все, что люди думали и говорили до него. Поэтому он вам так полезен, сечете?

Все молча закивали.

– Так что же? – квакнул какой-то потный грязнуля.

– Спокойно, Браунер.

За спиной у Эгона послышался радостный гогот.

– Я смотрю, тут вокруг сплошные гении.

Хохот смолк.

– Но...

Отто будто дышал вместе с Эгоном. Он видел, как этот молниеносно быстрый, сильный боец, способный уложить на лопатки любого, пытается подобрать слова. Как старается передать понятными формулировками все, что узнал в марксистской рабочей школе – и как ему почти ничего не удастся.

Эгон снова сделал паузу. Огляделся вокруг.

– А если предприятия не смогут инвестировать, потому что банки перестанут одалживать им деньги, тогда у них – банков – тоже в определенный момент закончатся финансы, потому что предприятия больше ничего не будут им приносить, и тогда... Все полетит в тартарары. Конец.

Борцы захлопали. Никто, кроме Отто, не понял ни слова.

По дороге домой Отто остановился возле витрины магазина электроники. Там по-прежнему стояло радио. Он нежно погладил взглядом красное дерево. В нижнем левом углу темнела на светлой ткани гордая надпись. «Энигма». Он представлял, как мать будет слушать трансляции, сидя на кухне. Звук будет парить по комнате, словно орел. Ей бы и в голову не пришло пожелать себе нечто столь необычное. Она сэкономила каждый грош для семьи. И на черный день. «Но черный день никогда не кончится», – думал Отто. Других и не бывало. Чего же ждать? Еще худшего? Зачем работать, если не улучшать себе жизнь? И что важнее – лучшая жизнь или жизнь высокая? В чем отличие? Можно ли достичь лучшего через высокое? Выступления Эгона не шли у Отто из головы. Шеф говорил очень убедительно. А потом увидел наивные лица товарищей по клубу. Эгону не удалось до них достучаться. «Пока им нечего есть, любые разговоры бессмысленны. А значит, сначала лучшее, а потом уже высокое», – подумал Отто.

Когда он зашел в магазин, звонко зазвенел колокольчик. В нос ударил спертый запах. Из-за кассы угрюмо глянул старик. Не обращая на него внимания, Отто направился к радиоприемнику. Что скрывается внутри? Как передаются далекие звуки? Где-то в концертном зале играет оркестр, и в это время их музыку можно услышать совершенно в другом месте. Люди, которым не хватает денег, чтобы ходить на концерты, наряжаться или есть в ресторанах, с помощью приемника могут сразу перенестись в то место. Продавец незаметно включил радио. Отто закачался в ритме плавной танцевальной музыки. Он почувствовал вонь порошка от моли. И вопросительно посмотрел на продавца. Радиоустройство для обучения и развлечения. «Энигма». Лучшее на рынке.

Старик повернул ручку дальше. Искаженные голоса и обрывки музыки. Потом раздался звучный голос: «Пионерское достижение Амелии Эрхарт, первой женщины, совершившей перелет через Атлантический океан, через год после легендарного одиночного безостановочного перелета Чарльза Линдберга на его одномоторном моноплане „Дух Сент-Луиса“...»

– 33 часа 32 минуты из Нью-Йорка в Париж, – шепотом повторил Отто.

«В прошлом году миллионы людей по всему миру следили за сообщениями в газетах или по радио. Все это время Линдберг был вынужден провести без сна, – настойчиво подчеркнул голос, – он летел без сопровождения и преодолел весь путь без навигационного устройства, что до сих пор считалось невозможным. И теперь Амелия Эрхарт доказала, что женщины в летном таланте ничуть не уступают мужчинам. Всего за 20 часов и 40 минут ей удалось пересечь Атлантику на трехмоторном фоккере „Френдшип“, совершив перелет между Уэльсом и Ньюфаундлендом».

Ньюфаундленд. Слово гулко отозвалось в голове у Отто.

– Сколько стоит этот приемник? – спросил он без малейшего берлинского диалекта.

Продавец назвал сумму, и у Отто закружилась голова. Придется отдать все свои накопления. Ну и пусть. Оно того стоит. Его мать сможет слушать концерты, а он больше узнает о мире. Он представил ее лицо, зная, что она упрекнет его за расточительность, но все равно улыбнется – как девчонка, которая качает головой, сияя от радости, когда ее приглашают на танец, и вскоре после этого взмывает над паркетом.

– Можете его для меня забронировать? Я вернусь сегодня же вечером и заплачу.

Продавец недоверчиво моргнул.

– Три часа. Не больше.

– Договорились.

Отто пожал пожилому мужчине руку.

Семья собралась за кухонным столом. Карл неуклюже покрутил кнопки нового радиоприемника.

– Убери руки, еще сломаешь. Он мне дорого обошелся.

По лицу Карла пробежала дрожь. Из уставших глаз хлынули слезы. Отто с растерянным видом стоял рядом. «Чтобы сделать громче, нужно повернуть сюда», – подумал он, не в силах выговорить ни слова из-за комка в горле.

Директор школы разглядывал непохожую пару, сидящую перед его письменным столом. Видимо, мать и сын, но парень, судя по всему,

тот еще фрукт. Его возраст определить непросто. И кто кого привел, тоже неясно. Директор с любопытством откинулся на спинку стула. Парочка будто сошла со страниц карикатурной газеты. Он взял круглые очки, выжидательно вытер заляпанные стекла и решил для начала ободрительно кивнуть парню.

– Зачем ты пришел к нам?

– Хочу учиться.

– Чему же?

– Если б я знал, меня б тут не сидело.

Отто почувствовал взгляд матери и постарался говорить правильно.

– Чем занимается твой отец? Не хочешь пойти по его стопам, учиться ремеслу?

– Он работает на фабрике.

– А, ясно.

– Отец Отто погиб незадолго до его рождения. Он был цирюльником, – поспешила Анна на помощь сыну.

– Война. Да. Война... Мне очень жаль. А на какой фабрике работает твой отчим?

– То тут, то там – смотря где он нужен. А нужен он всегда.

Отто и сам поразился, что представил Карла в столь хорошем свете.

– Дай посмотреть на твои оценки.

Отто протянул ему папку. Директор задумчиво пролистал бумаги за первый год учебы Отто.

– Теперь все будет иначе, сначала я не знал, как нужно, а теперь понял.

– И?

– Это как качать мышцы: неважно, насколько больно, нужно просто продолжать.

– Ты занимаешься спортом?

– В секции «Спортклуб Лурих 02». Я борец, уже участвовал в окружном чемпионате. А еще мы читаем Карла Маркса.

Директор изумленно поднял взгляд.

Перемена оказалась сложнее, чем ожидалось. Новый учебный материал давался Отто без особого труда, но он чувствовал себя

чужим среди одноклассников из зажиточных семей. Их движения, язык, манеры – все было другое. Вскоре начались первые желудочные колики. Он поспешно выбегал в туалет. Иногда его рвало, в другие дни – мучил непрекращающийся понос, лишавший его сил. Отто устало плелся в школу и спал во время занятий. Его крепкая фигура вызывала у одноклассников уважение, и потому открыто его не трогали. Отто столкнулся с немим противостоянием обывателей, с силой скрытого отторжения. Никто не нападал в открытую – и как ему было защищаться? Вскоре от него остались одни страдания. Докучливый второстепенный персонаж, который рано или поздно растворится в воздухе. Он все чаще пропускал занятия, бродил по улицам и по зоопарку, беспокойно, словно что-то искал.

В «Спортклубе Лурих 02» дела шли не лучше. Здесь он вдруг тоже почувствовал себя чужим. Простота бывших друзей начала раздражать его. Занятия Эгона казались однообразными. Дома он смеялся над примитивными манерами членов своей семьи. Анна наблюдала за этими переменами с беспокойством, остальные старались не попадаться ему на глаза.

Отто находил общий язык только с Роландом. Уже несколько недель они регулярно ходили после тренировок пить пиво, а иногда заказывали водку, рюмку яичного ликера или дешевый самогон.

– Отто? – искоса посмотрел на него Роланд. Их лица покраснелись от алкоголя, кожа блестела от пота. – «Спортклуб Лурих 02», Эгон, Карл Маркс – это все ерунда. Профессионалами нам не стать никогда. Но...

Последнее слово осторожно повисло в воздухе. Его отзвук заполнил пространство между ними. Отто не выдержал первым.

– Выкладывай!

– «Иммертрой». Слышал о таком?

– Нет.

– Тоже клуб.

– Бойцовский?

Роланд кивнул.

– И?

– Но он немного отличается.

– Темные делишки?

– Я знал, что тебе понравится!

- Разве я сказал?
- Заметно без слов.

Бойцовский клуб «Иммертрой» оказался большим объединением организованной преступности. Они контролировали ночную жизнь, отчаянно защищали свой район от посягательств враждующих группировок, крышевали проституток и торговали кокаином в задней комнате сомнительной закуской, где с помощью крапленых карт выуживали у наивных поздних гуляк толстые пачки купюр. Если человек чувствовал подвох или протестовал, его били и кидали головой вперед в мусорный контейнер на заднем дворе. Того, кто не понимал подобного языка, избивали до беспомыслия и выбрасывали прочь либо закатывали в цемент.

– Это Отто, о котором я тебе рассказывал.

Они стояли перед коренастым коротышкой, который оценивающе разглядывал их крохотными глазками. После бесконечного молчания он протянул Отто руку. Его пальцы обхватили ладонь Отто и сжали ее со всей силы. Ему нравилось давить пальцы новичков при первом знакомстве. «Чтобы с первого раза знали, с кем имеют дело, – пояснял он. – Быстро становится ясно, кто чего стоит».

Отто выдержал хватку, не скривившись от боли. Роланд предупредил его, и он специально просунул руку поглубже, чтобы сберечь пальцы. На мгновение показалось, что здоровяк сбит с толку. Его голова дернулась назад. Потом он дал Отто подзатыльник и крепко обхватил его за плечи.

– А ты ловкий парень. Быстро ориентируешься. Для начала можешь поработать на двери у Марио.

– А тебя как зовут?

Отто не хотел уходить, ничего не сказав. Здоровяк неприязненно улыбнулся.

– Уши.

Чутье не обмануло Уши. Отто хорошо справлялся с работой привратника. Инстинкт не подводил его, как и глаза. Он знал, кого можно впустить, а кого нет, когда деньги предлагали как взятку, а когда ради широкого жеста и их можно было хладнокровно принять,

вежливо, но твердо обнадежив разгулявшегося зазнайку. Он распознавал слабости, гнавшие по ночам людей на улицы, быстро научился отличать хороший кокаин от разбавленного и знал, кому можно что-то предложить, а кому не стоит. Сам же он держался от этого всего на расстоянии. Его выручка приумножалась.

Но потом что-то на него нашло. Преследуя за картами удачу, он проиграл все до последнего гроша. Плевать. Главное, он что-то почувствовал. Восторг от улыбнувшейся удачи порадовал его не меньше, чем последовавший за ним гнев от поражения. После таких падений ему приходилось мобилизовываться, чтобы двигаться дальше. Сверху и снизу кипела жизнь, посередине зияла пропасть.

Вскоре Отто понадобились еще деньги, чтобы финансировать свою страсть к игре. Радость от выигрыша проходила все быстрее. Если сначала он садился за игровой стол только по выходным, то теперь проводил там каждый вечер. Он отдалился от семьи, ушел после девятого класса из школы и сопровождал Роланда на кражи. Жертв им подсказывал Уши, у которого был контакт с укрывателями. Свою долю Отто проигрывал еще до восхода.

Потом произошло нечто примечательное. Отто наблюдал, как люди вокруг него постепенно впадают в панику. Одни пускали себе пулю в голову по темным углам, другие выпрыгивали по утрам из окон своих квартир, выходящих на задний двор. Падали даже состоятельные. Один раз он видел хорошо одетого мужчину, который стоял рядом со своей большой машиной на тротуаре: «Сто марок. Нужны наличные. Потерял все на бирже». Другой, явно голодный, носил на шее табличку: «Голодаю. Ищу работу. Берусь за все». Отто с изумлением понял, что вокруг него борется за выживание еще больше людей, чем он привык видеть с раннего детства. Хотя он не знал, что именно привело к таким изменениям, но страх, сомнения и унижения, охватившие все вокруг, поразили его. В его семье никто так себя не вел, даже отчим. Возможно, дело в том, что они никогда и не ведали иной жизни? Ему было давно известно то, с чем пришлось столкнуться этим людям? Он наблюдал за ними с любопытством исследователя насекомых. Очевидно, пробиваться вверх приходилось дольше, чем падать. Что-то у него внутри пошатнулось. Во время

каждой кражи он чувствовал, что деньги – лишь макулатура, жалкая требуха, которая уже гниет изнутри.

Шайка Роланда пользовалась нарастающим хаосом: их налеты становились все смелее. Чаще всего они забирались в пустые дома и квартиры днем. Ночью люди были дома. У большинства пропала охота танцевать на вулкане.

Он стоял на стреме, пока его поделщики вскрывали тяжелую деревянную дверь квартиры-бельэтажа во Фриденау. С угла Отто открывался обзор на обе улицы. Секунда – и они зашли внутрь. Отто невозмутимо проскользнул за ними и остановился, изумленный. Похоже, на этот раз их ждал большой улов. Ковры на стене и полу, старые картины, серебряные подсвечники, просторные комнаты. Повеяло гниловатым запахом империи в упадке. Все замерли. Роланд опомнился первым. Подозвал всех к себе и приказал разделиться. Быстрыми жестами показал каждому его помещение. Отто остался один. Нерешительно прошел по просторным комнатам. Величественная двустворчатая дверь из светлого дуба вела в комнату, полную книг. Высокие стены со сверкающими золотыми буквами на сияющих переплетах. Он осторожно прикоснулся к холмикам на полках, залез на одну из передвижных лестниц и оттолкнулся от оконного карниза, чтобы легко осмотреть незнакомый ландшафт. Потом бесшумно остановился. Его взгляд упал на одно из названий. Книга слегка выступала, словно кто-то неаккуратно поставил ее на место. Отто взял ее в руки и осторожно открыл. «Теодор Моммзен, – прочитал он, – „Римская история“». Он хотел начать чтение, когда услышал какой-то звук. В дверях стояла юная девушка. На ней было черное платье до колен, на шее светился белый воротник. Они молча посмотрели друг на друга.

Вдалеке завывала сирена. Из комнат послышался топот ног. Со звоном разбилось окно. Раздались громкие крики. «Полиция, стоять на месте!» Прогремел выстрел. Рычание. Отто не сводил взгляда с узкого лица девушки. В ее темных глазах мелькнула тонкая улыбка. Он очнулся, словно от ливня в знойный летний день. Опомившись, он спустился с лестницы и последовал за ее рукой, которая указывала на приоткрытую дверцу под левой книжной стеной. Отто спокойно протиснулся внутрь, где как раз хватило места, если сложиться пополам, и сказочное существо захлопнуло за ним дверцу. В комнате раздались тяжелые шаги. Он услышал тяжелое дыхание.

– Все в порядке, девочка?

– Да.

Приглушенный звук ее голоса заставил Отто удивленно поднять голову. Он ударился о деревянную крышу своего тесного убежища.

– Что это? – раздался в тишине хриплый мужской голос.

– Что? – Отто услышал четкий вопрос девушки.

– Ты видела кого-нибудь из преступников?

– Нет.

Отто бросило в жар. Ему вспомнились мучительные ледяные ванны из детства. Легкие горели, словно он проглотил раскаленную руду. Он испугался, что задохнется, когда снова услышал спокойный голос.

– Я устала от работы и задремала там, на кресле, когда меня вдруг разбудил шум. А потом появились вы.

– Повезло тебе, малышка. Если еще что-нибудь вспомнишь, сообщи нам.

Шаги начали отдаляться, потом остановились.

– Ты не работница.

Это прозвучало как вопрос и как утверждение.

– Я здесь живу.

– Как вас зовут? – тон стал удивительно формальным.

– Сала.

– А фамилия?

– Ноль.

– Где же ваши родители, дитя?

– Отец должен скоро вернуться.

– А ваша мать?

– Больше не живет...

– Мне очень жаль, госпожа Ноль.

– Не живет с нами, – быстро прибавила она.

Жандарм удивленно на нее посмотрел.

– А... Если у нас появятся дополнительные вопросы, мы с вами свяжемся. Здесь что-нибудь пропало?

– Не думаю.

– И сюда никто не заходил?

Сердце у Отто снова ушло в пятки. Она могла бы выдать его, если бы хотела. Простое «заходил» или «может быть», или даже слишком

долгое замешательство, предательское дрожание губ могло решить его судьбу.

– Нет.

Ответ прозвучал не слишком торопливо и не слишком медленно.

– Тогда приходите в себя, дитя мое.

– Спасибо, господин полицейский. Спасибо, что спасли меня.

– Для этого мы здесь.

Отто услышал стук каблуков. Потом шаги с громким топотом удалились. Открылась и захлопнулась входная дверь. Замок был больше не нужен.

Если бы в шкафу было достаточно места, Отто бы обессиленно повалился на пол. Он прерывисто выдохнул. Дверца открылась, будто призрачной рукой. Обливаясь потом, он поднял взгляд на девушку. Ему было дурно, внутри все сжалось. Она смотрела на него доверчиво и серьезно.

Словно сам не свой, Отто бродил по зоосаду. В левой руке он по-прежнему крепко сжимал украденную книгу, словно она выросла в него. Роланда настигли. Боль из-за потери друга оказалась острой и пронзительной. Его застрелили в спину. Отто должен измениться. Но как? Впервые в жизни он оказался в замешательстве. Вернуться в школу? Да. А потом?

Могучие деревья отбрасывали тени на аллею. Отто вдыхал воздух приближающегося лета. Он сошел с тропинки, принялся бродить, наткнулся на маленький мостик, залез на склон под ним, стянул ботинки и опустил ноги в прохладную воду. Журчал ручей. Отто опустил на траву. Пыльца щекотала ноздри. Он впал в глубокий сон без сновидений.

Проснувшись, он увидел над собой ярко-синее небо. Природа выдохнула. Отто почувствовал книгу у себя в руке, поднял ее, протянул руки к небу и сел. Пролистал страницы. В нос ударил незнакомый запах букв и бумаги. Он снова захлопнул книгу и отправился домой.

Приблизившись к квартире на первом этаже, Отто остановился. После бурного отрыва он на цыпочках возвращался в старую жизнь – с одной лишь книгой в руке. На кухне еще горел свет. Его отчим спал, упав головой в тарелку. Мать осторожно протирала вокруг него

тряпкой стол. Отто сжал зубы. Он почувствовал горячий, неумолимый стыд.

На следующее утро он вернулся в зоосад. И открыл в тени дубов новую книгу. У него за спиной бурлил ручей. Похоже, произведение состояло из нескольких томов. У него в руках был пятый. Повсюду возникало имя Цезарь. Описывались битвы, наступление легионов на чужие земли, названия которых были ему столь же малознакомы, как и имена полководцев и политиков, оживавших у него перед глазами лишь благодаря словам Моммзена.

Кожа горела. Над головой жужжал шмель. Он что, заснул? У него на животе лежала книга. Пот заливал глаза, на губах чувствовалась соль. Как долго он пролежал здесь? Отто медленно повернулся, подставив обгоревшее лицо солнцу. Проклятая жара. Нужно освежиться. Он осмотрелся. Никого. Быстро скинул одежду и побежал по склону. Прыжок, и его поглотила прохладная вода. Задержав дыхание, он оставался на дне, прижимаясь телом к илу, пока жажда жизни не утянула его наверх. Он стремительно выплыл на поверхность и выбрался на берег. И остался лежать, нюхая влажную траву. Потом, собравшись с силами, начал подниматься. И вдруг резко замер. На том самом месте, где он заснул за книгой, расслабленно лежал мужчина лет пятидесяти, возможно, моложе. Прежде чем рассмотреть незнакомца, Отто заметил у него в руках книгу. Что он там с таким любопытством искал? Мужчина поднял голову. Отто замер от ужаса. Он понял, что совершенно голый. Мужчина с ухмылкой рассмотрел его.

– Вы понимаете, что читаете?

Это прозвучало безо всякой насмешки.

– Думаю, да, – пробормотал Отто.

– Сколько вам лет?

– Семнадцать.

– Вы изучали Теодора Моммзена на уроках истории?

Незнакомец бросил ему брюки.

– Нет.

Отто оделся, поспешно накинул рубашку.

– Вы еще учитесь в школе?

Вопрос разозлил его. Что этот аристократ в дурацком светло-голубом костюме себе возомнил?

– Почему бы и нет?

– Еще даже не полдень...

– И что? Я прогуливаю. Могли бы написать мне оправдательную записку вместо того, чтобы забрасывать вопросами.

– На чье же имя?

«А его просто так с толку не сбить», – подумал Отто.

– Отто.

– Отто Великий? Из рода Людольфингов, герцог Саксонии, король Восточно-Франкского королевства, римско-германский кайзер?

– У меня в классе всего один Отто.

Отто присмотрелся внимательнее. На тонком лице незнакомца выделялся крупный нос. Несмотря на жару, на нем был костюм, белая рубашка и бабочка. Теперь Отто заметил, что костюм не светло-голубой, а скорее серый и из слишком плотной материи для этого времени года. «Точно, дорогой», – подумал Отто.

– Ну что, я получу записку для школы?

– Чтобы ответить на этот вопрос, я должен познакомиться с вами поближе.

Отто изумленно посмотрел на него.

– Как насчет ближайшего воскресенья, после полудня? Дикхардштрассе, 17, район Фриденау.

– Договорились.

– Наслаждайтесь последними солнечными лучами, – посоветовал незнакомец, вставая.

– А как вас звать?

Отто больше не пытался говорить литературным языком. В обществе этого человека он почему-то чувствовал себя уверенно. Уже уходя, тот обронил через плечо:

– Иоганн Ноль, но друзья зовут меня просто Жан.

Отто смотрел ему вслед. Откуда он знал эту фамилию?

В дверь позвонили. Сала побежала к двери. За звонком последовал энергичный стук. Почему посетитель не может подождать, ведь она бежит? Задыхаясь, она открыла дверь. И испугалась. Перед ней стоял молодой человек, которому она помогла. На нем был костюм. Их взгляды встретились. Руки Салы попытались ухватиться за пустоту. Он стоял перед ней, как в тот раз на лестнице в библиотеке.

В спину Отто светило полуденное солнце. Его силуэт резко выделялся на фоне улицы. Сала напряглась. Его взгляд пробежал по ее лицу, потом опустился на шею, грудь, живот, бедра, она почувствовала его до самых пальцев ног, но не испытала стыда. Этот взгляд не был оценивающим или исследующим, он просто стоял перед ней и на нее смотрел. Она еще никогда не задумывалась, достаточно ли красива, чтобы привлечь внимание мужчины. Ее тело раскрылось, она качнула бедрами. Закружилась голова. Вдруг, словно из ниоткуда, появился Жан. Он повел молодого человека, чье имя было ей до сих пор неизвестно, в библиотеку. Прежде чем Отто закрыл за собой дверь, их взгляды встретились в третий раз.

С удивлением заметив, что дверь уже починили, Отто остался стоять на месте. Почему он не убежал прочь, узнав место своего взлома? Жан тоже стоял и размышлял, стоит ли немедленно притянуть Отто к себе, как он поступал со многими юношами до этого. Его взгляд впился в губы Отто. По телу пронеслось возбуждение. Застигнутый врасплох непривычным смущением, Жан задержал дыхание. Они молча стояли друг перед другом. Отто смотрел ему прямо в глаза.

– Я женюсь на вашей дочери.

Сала нажала локтем на ручку двери, ведущей в библиотеку отца. Старательно балансируя чашками, она зашла в самую сокровенную часть дома.

Ее отец расслабленно сидел в темно-зеленом английском кожаном кресле, справа от него – молодой человек, который встал, как только

она вошла. Между ними стоял круглый столик на трех ножках, на нем лежали книги. Думал ли он сейчас про взлом? А тогда, у двери? Показалась ли она ему чужой или близкой?

– Отто, – представился он.

Она убрала книги в сторону и поставила чашки на стол, не поднимая на него глаз. Сала чувствовала, как ее ощупывают взглядом, но кто – он или отец? Она выпрямилась.

– Сала.

Не поворачиваясь, она молча покинула комнату. Закрyla за собой дверь и, дрожа, опустилась на стул в прихожей. Сала решила ждать. Даже если ждать придется вечность. Она прислушалась к голосам. При первой встрече они не обменялись ни словом. Она слегка наклонилась вперед, опустила голову, прикрыв глаза под звук его голоса. Сердце вело сюда, именно сюда – с самого детства и до этой секунды.

Она вздрогнула. Отто вышел из библиотеки в сопровождении ее отца. Никто не заметил, что она сидит на стуле в углу. Ее отец хохотал, как мальчишка. Нет, ничего не случится, входную дверь уже починили, а благодаря разбитым стеклам по квартире гуляет свежий ветерок. В холле Отто повернулся к Жану.

– Пожалуйста, передавайте привет дочери.

Жан смущенно засмеялся.

Уже стемнело. Отто шел быстрым шагом, а в голове у него звучало ее имя. Сала... Сала... Сала... Он сразу узнал ее, как только из-за двери показалось ее тонкое лицо. Внезапный испуг. И она не выдала его уже во второй раз. Возможно, она делает это сейчас? Он отмахнулся от этой мысли, словно лошадь от надоедливой мухи. И перед ним снова возникло ее лицо. Любовь не интересовала Отто. Конечно, у него уже бывали девушки, но любовь, сильные чувства он считал глупостью. Ему нравились девушки с большой грудью и красивой задницей и не такие тощие, как его сестра Эрна. Но теперь? Он мог вспомнить только глаза Салы. Глаза и темные волосы. Густые волосы, заплетенные в толстую косу. Пульс ускорился, хотя теперь он шел медленнее. Она так по-особенному смотрела на него этими глазами. Синими или карими? Синими. Лицо у нее миндалевидной формы. Кожа сияет белизной. Массивный нос с чуть опущенным кончиком. Когда она слегка улыбнулась ему на прощание, он заметил

выемку между передними зубами. Люди с большими щербинами между зубами много путешествуют, так говорила его мать. Посреди ночи он лежал в постели с широко открытыми глазами. Он видел длинную белую шею Салы. Вскоре после этого он заснул.

Сала не сказала об Отто ни слова. Она не стала расспрашивать отца о посетителе и молчала об их первой встрече. После школы она вернулась в свою комнату и сидела там до шести, а потом, как всегда, отправилась готовить ужин. Жан заметил, что она почти ничего не ела. На попытки отца растормошить ее девочка реагировала с элегантно сдержанностью, словно он был навязчивым незнакомцем. Потом она заболела и слегла с температурой в кровать. Еще никогда болезнь не была столь желанной. Одна в комнате, она чувствовала себя вольготно и свободно и могла снова вспоминать каждую секунду их встреч.

Почти каждое воскресенье Отто наслаждался открытым обществом в доме Ноль. Пока исчезали последние гости, он продолжал сидеть с Жаном, углубившись в беседу. Салу он, казалось, избегал. Отто чувствовал, как в нем растет перемена, от которой ему было не по себе. В часы посещений он думал только о ней, но, когда она наконец оказывалась перед ним, он стеснялся. Теперь он часто проходил мимо турника во дворе, не чувствуя потребности установить очередной рекорд по подтягиваниям. Он думал о книгах, впервые увиденных вместе с Салой, и о ее отце. Видел его руки с тонкими длинными пальцами, которыми он постукивал при беседе, задавая ритм своим мыслям. «Как дирижер», – подумал Отто, хотя еще ни разу не был на концерте. У него перед глазами возникали ряды драгоценных кожаных томов на полках. Они таили потоки мыслей, историй, проектов. На письменном столе стоял портрет женщины. Она казалась прекрасной и преступной. Это мать Салы?

Когда Сала впервые пригласила его к себе в комнату, он благоговейно замер на пороге. Все в комнате дышало простотой беззаботной жизни, но чувствовалось и что-то темное, чему он не мог подобрать названия. Сала с улыбкой взяла его за руку. Они впервые прикоснулись друг к другу. Оба испугались. На подоконнике таял снег. Вечернее солнце пока не грело. Была еще не весна, но уже конец долгой зимы.

На выходных они вместе отправились в городские бани на Гартенштрассе.

– Мы часто ходим сюда мыться, – сказал Отто. – Хотя, некоторые не особо часто.

Они рассмеялись. Сала еще ни разу не бывала в городских банях. Они с отцом плавали летом в озерах Шлахтен или Крумме Ланке. Жан всегда запрыгивал в воду без одежды, поэтому последние два года Сала не сопровождала его на эти прогулки. Не из-за чопорности, а потому, что осознавала – излишняя откровенность отца в половых вопросах может навредить их отношениям. «Свобода человека никогда не должна ограничивать свободу других людей» – так он ее учил. Сала восхищенно остановилась перед клинкерным фасадом большого здания.

– Здесь?

Отто гордо кивнул, словно он собственными руками построил эту роскошь. Уверенными шагами он повел ее внутрь, мимо облицованных плиткой стен, и поднялся по ступенькам к кассе. Там он заплатил за обоих и оставил неуверенно улыбающуюся Салу на произвол судьбы.

– До скорого.

Ее немного рассердила его ухмылка, но, возможно, она ошибалась, и он тоже был очень взволнован. Ведь вообще-то она утаила от него, что впервые оказалась в подобном месте. Не хотела показаться избалованной бургерской дочкой. «Просто смешно, – подумала Сала, натягивая в кабинке купальный костюм, – какие же они неудобные». Купаться голышом значительно удобнее, надо отдать должное отцу. И как рассматривали друг друга женщины. Ужас. Упорно уставившись на конкуренток, они искали изъяны, словно в зеркале, беспощадно разглядывали их и с улыбкой отворачивались, обернув полотенцем располневшие бедра и расправив мягкие плечи. «Только бы не поскользнуться», – думала Сала. В целом она уже достаточно насмотрелась. И предпочла бы немедленно отправиться домой. Но там, внутри, ждал Отто.

Когда она вышла в главный зал, то оказалась возле пятидесятиметрового бассейна, немного оторопев от льющегося из многочисленных окон света и пропитанного хлоркой воздуха. Сала остановилась возле двери. На противоположной стороне она увидела Отто. Он направился к ней. Он был в плавках. Уверенная походка,

крепкое тело. Краем глаза она заметила, как какой-то тип грубо швырнул девушку в воду под громкое улюлюканье приятелей. «Только не это», – подумала она, представив, что в следующую секунду Отто схватит ее за запястье. Он остановился перед ней с мячом в руках.

– Поиграем?

Он с вопросительным взглядом перекачивал круглый предмет из одной руки в другую. Описав широкую дугу, мяч упал в центр бассейна. Выпрямив руки, она последовала за ним, запыхавшись, всплыла возле Отто, потянулась за мячом, рассмеялась, ухватила его, чувствуя себя дельфином или – как подумал Отто – сияющим существом, получеловеком-полуживотным, морской девой. Сильными толчками она последовала за ним на дно, откуда они вместе взмыли вверх, жадно хватая воздух, чтобы снова нырнуть. Не прекращая игры, они перемещались от одной стороны бассейна к другой. Их ладони встречались, чтобы оттолкнуться, и они уже не знали, следуют ли они друг за другом или охотятся.

В школе или в разговорах с подругами Сала ничего не рассказывала об Отто.

Ее чувство накатывало волнами. Треск соснового леса, солнце, посылающее лучи сквозь густые ветви, болтовня зябликов и синиц. Отто был повсюду. Он был тишиной и шумом. Она чувствовала себя одиноко в обществе, и жадно наслаждалась болью ожидания, когда Отто не было рядом. Подле него она страшилась разлуки, обретение сулило утрату. Иногда она гневно распахивала дверь и тихо ругалась, его не обнаружив, или просила его уйти, хотя он только пришел.

Однажды в воскресенье Отто смотрел в кабинете Жана пьесу странствующего театра теней. В осеннем свете комната с зелеными книжными полками напоминала угрожающий лес. Сквозь открытое окно дул ветер, гоня по полу разбросанные страницы. Голоса темных силуэтов звучали, словно во сне. Они бродили по комнате, рассказывая об эльзасском почтовом гонце Андреасе Эгглиспергере, который проскакал по замерзшему озеру до Юберлингена. Всадник спешно искал лодку, которая должна была перевезти его на другой берег, но не заметил в глубоком снегу берегов и безбоязненно пересек замерзшее озеро, приняв его за равнину. На другом берегу к нему бросились люди, дивясь его удаче, и пригласили его отпраздновать столь

отважное путешествие по тонкому льду, но бездыханный всадник упал на землю.

Зайдя в кабинет, Сала увидела, как взгляд ее отца скользит по телу Отто. Ей было знакомо восхищение в глазах юноши – самоотверженность, с которой ее отцу отдавались все, когда тот, с книгой в руках, зачаровывал их своим голосом, словно сирена. Он стоял, как рыбак, спокойными движениями расправляющий сеть. Она подошла к Отто и взяла его за руку ровно за миг до падения. А потом молча вывела его из комнаты, не оборачиваясь на отца.

Уже когда она легла спать, в дверь постучали. Вошел Жан.

– Ты его так сильно любишь?

Станный вопрос. Она любит Отто, и отцу это известно. Что значит «так сильно»? Разве можно любить сильно или слабо?

– Да.

Она пристально посмотрела на отца. Что он хочет узнать?

– Я тоже.

У Салы в голове раздался пронзительный звон. Гомосексуальность отца ей никогда не мешала. Возможно, благодаря его самозабвенной любви. «Некоторые люди рождаются блондинами, другие брюнетами», – сказал он, когда она впервые столкнулась с его особенностью. Тогда он отправил ее за талонами на еду со своим удостоверением. Она терпеливо стояла в очереди к окошку, где сидел маленький толстый человек, у которого текло из носа. Он периодически отхаркивал слизь, задумчиво гонял ее во рту и с довольным видом проглатывал. Оказавшись перед ним, она положила на стол удостоверение отца. Чиновник открыл его и ухмыльнулся.

– У твоего отца параграф 175. Ничего тебе не дам! Гомики и прочие трусы пусть приходят за талонами сами.

В очереди у нее за спиной пронесся шепот. Все повторяли это слово. Гомик. Тогда она услышала его впервые. Теперь оно пронзает ее слух во всевозможных вариациях. Гомик, гомосек, педрила, пидорас, педик, извращенец, хуесос, глиномес, петух. Но Сала протянула руку и ждала так долго, что смех чиновника превратился в приглушенный кашель, и он наконец нехотя выдал ей талоны на глазах у шепчущихся людей. Потом она гордо пошла домой и спросила у отца, что такое параграф 175. «По этому параграфу преследуются и караются законом мужчины, которые любят других мужчин», – прозвучал ответ.

Больше они об этом не говорили. Больше она не хотела ничего знать. К ним часто приходили мужчины, с которыми ее отец, улыбаясь, исчезал в библиотеке. Она никогда не сталкивалась с чем-то безнравственным, никогда не чувствовала себя брошенной, не испытывала недостатка во внимании отца. Просто некоторые рождаются блондинами, а другие брюнетами.

Сала заметила на ковре у себя под ногами пятно. Она показала на маленький изъян.

– Ошибка в полотне, из уважения к Великому Аллаху. Если бы ковер был безупречным, ткачиха бы согрешила.

Голос отца звучал словно издалека. Она слышала его, но не могла повернуться.

– Он тебя тоже любит? – спросила она.

– Нет. Он любит тебя, – ответил он. – Прости.

Она изумленно подняла взгляд. Прежде отец никогда не просил у нее прощения.

– Я больше никогда так не поступлю.

Это случилось на маленьком мостике в задней части дворцового парка Шарлоттенбурга. Отто впервые неуклюже схватил ее. Она отвернулась, почувствовала, как скользит по спине его рука. Полуиспуганно их губы встретились. Они молча убежали в самый дальний уголок парка, мимо загородного дворца, словно могли вместе спрятаться от этой любви. «На край света», – думала Сала, когда Отто притягивал ее к себе, упав в траву.

Перед зимой пролетела осень, и не успели Сала и Отто обернуться, как сквозь лед показались первые предвестники весны. Они провели лето с Жаном в Бранденбурге, а осенью и зимой ходили по музеям и выставкам. Они обошли каждый уголок своего города, камень за камнем изучили миры друг друга, при первой возможности бежали в театр и не замечали перемен, все плотнее сжимавших вокруг них кольцо.

– Кем ты хочешь стать?

Они брели по Фридрихштрассе под Вайдендамским мостом, мимо прусского икара, начинавшего свой полет над Шпрее^[5]. Слева от них возвышался театр Шифбауердамм, который теперь заняли примитивные противники постановок Макса Рейнхардта.

– Врачом, – ответил Отто так, словно это очевидно и он уже пошел учиться профессии.

– Почему?

– Ради людей.

Он положил руку ей на талию. Сначала он пытался обнимать ее за плечи. Но она была выше него примерно на полголовы, и вскоре он начинал чувствовать себя глупо, к тому же им быстро становилось неудобно. Он предпочитал держать Салу за бедра. Так он лучше ее чувствовал.

– А ты? Актрисой?

– Ты уже знаешь?

– Знал с самого начала.

Отто сдал экзамены на аттестат зрелости, и оценки портила только тройка по математике. В 1934-м, примерно через год после того, как еврейских врачей отстранили от работы, он начал изучать медицину. Чтобы снимать себе комнату, в свободное время он подрабатывал в университетской клинике Шарите: доставлял отправления, таскал ящики, помогал на кухне – делал все, что попросят.

Заразившись его усердием, Сала тоже сосредоточилась на работе – учила наизусть самые знаменитые монологи из драматических произведений, мечтала о главных женских ролях, была леди Мильфорд и Луизой Миллер, Пентесилеей, Гретхен и Мартой Швердтлейн, наблюдала за богинями немого кино и бегала на их первые звуковые фильмы. Она восхищалась Марлен Дитрих и Хенни Портен, Сарой Леандер и Лидой Бааровой.

По выходным они с Отто ходили на непопулярные и дешевые дневные представления, жадно поглощали все от любовных фильмов до ревю и оперетт; они мечтали об огромных белых экранах, на которых волшебные машины создавали с помощью света и тени незнакомые миры, куда они возвращались во сне – ночь за ночью.

Сала не замечала изменений в обществе. Она была молодой немецкой девушкой, воспитанной католическими монахинями в вере в Иисуса Христа. Она хотела выйти замуж за будущего немецкого врача, когда станет достаточно взрослой, и хотела стать актрисой. Ее мать была еврейкой. И что? Ее родители развелись в 1927-м.

Теперь Отто почти каждые выходные приходил по утрам в квартиру Нолей, тонул в объятиях Салы, вдыхал аромат ее кожи, еще мягкой и теплой после сна. Их ноги и руки переплетались, и они срастались телами, а потом изумленно разделялись вновь. Один короткий взгляд, потерянный и уставший, и возвращение ко все более тягостному одиночеству.

Позднее, когда в окна светили согревающие лучи полуденного солнца, они уютно устраивались в уголке и мечтали – иногда с книгой в руках или на коленях, иногда бездумно направив друг на друга взгляды.

Они видели темноту, но не узнавали ее.

Было уже поздно. Выключая в коридоре свет, Жан услышал в комнате Салы какие-то звуки. Он на цыпочках подкрался к двери. В тишине дочь что-то взволнованно шептала. Он задержал дыхание. Она одна? Казалось, она тихо декламирует какой-то диалог. Жан прижал ухо к двери. Текста он не узнал. Возможно, какая-то салонная пьеса, они сейчас популярны. Можно было бы просто постучаться и попросить разрешения посмотреть, но тогда он не только помешает этим первым, еще робким попыткам дочери, но и лишит себя очарования тайны. «Но почему я не могла поехать с тобой?» – спрашивал голос Салы. «Смесь разочарования и упрека, очень неплохо, – подумал он. – Прямые, откровенные интонации». Что молодой человек – по его предположению, беседа велась с возлюбленным – мог сказать, как ответить на этот вопрос? «У меня возникли срочные, неотложные дела...» – мог ответить спесивец, как обычно бывает в подобных пьесках. «Просто смешно», – прошипела Сала. Возможно, предыдущие реплики были еще резче. «Точно XIX век», – подумал Жан. Юная девушка или, скорее, молодая женщина, возможно, кокетка, хотела куда-то последовать за возлюбленным – возможно, в путешествие или на званый обед? «Я не заслужил твоих сомнений», – вероятно, отпирается молодой человек или уклоняется от дальнейших расспросов. «Ты моя мать», – услышал Жан, и кровь застыла у него в жилах. Она не играет. «Почему этот мужчина для тебя важнее моего отца?» Последовала долгая пауза, словно ожидание ответа собеседника. «Так было бы и на самом деле», – подумал Жан. Иза никогда не объясняла своих поступков. Она просто делала, что

хотела, не нуждаясь в причинах и оправданиях, отвечая на все претензии холодным молчанием. «Почему он для тебя важнее, чем я? Какое у тебя было право так уходить? На этот вопрос ты мне не ответишь, как и на все остальные, потому что избегаешь споров, потому что считаешь, что предназначена для более высоких задач, чем заботиться о счастье мужа и дочери. Ты – самовлюбленная лгунья. И мне ничего не остается, кроме как дальше писать письма, которые останутся без ответа. А раз так, отправлять я их не стану. К счастью для тебя». Жан услышал, как Сала встала и принялась рассерженно шагать по комнате. Он осторожно выпрямился. Ему следует немедленно уйти. Он не должен шпионить за собственной дочерью, словно третьесортный детектив. «Ты хочешь быть метеором? Это даже не смешно». Жан замер. «Да, глыбой, которая падает со своей орбиты на этот мир и уничтожает все вокруг, но не дарит никому ни капельки света. Просто огненный шар, который оставляет за собой лишь выжженную землю, – голос Салы зазвучал громче. – Что ты мне дала, кроме своего еврейства? Думаешь, я не чувствую, как все втайне тычут в меня пальцами? Немцам я больше не нужна, а к евреям отношения не имею. Ты никогда меня этому не учила». Жан, как околдованный, пялился на дверь. Он должен зайти, должен обнять свою дочь. Но он не смог: ему было стыдно.

На следующий день, когда Сала и Отто шли по улицам, теплый ветер поднимал в воздух цветочную пыльцу. Сала прижималась к Отто, представляя первую встречу с его семьей. Опьянев от красок, Кройцберг преждевременно встречал лето. Возле пивных берлинцы подставляли солнцу побледневшие за зиму лица. Оживленное движение, совсем иное, чем в ее квартале. И люди – грубее, но лучше знают жизнь. В радостном возбуждении Сала пыталась впитать все, что видит. Отто гордо игнорировал восхищенный свист, когда они проходили мимо столиков на узких боковых улицах. На Сале было светлое платье до колен с зеленым поясом на тонкой талии. На каблуках она была на голову выше Отто, но его это, казалось, не беспокоило. Он долго не решался познакомить Салу с семьей. Из-за сестры он не волновался, хотя его будущий зять – возлюбленный Инге, Гюнтер – был активным членом партии, и поэтому Отто старался его избегать. Ингеборга уже не подросток, ей исполнилось восемнадцать. «Она заслуживает большего и могла бы найти кого-то получше», – считал он. Какого черта ей попался именно этот крикливый нацист, который угрожающе раздался в ширину уже к двадцати трем годам? По булыжной улице с визгом пробежали дети.

– Ты еще ни разу не показывал мне своих детских фотографий, – вызывающе посмотрела на него Сала.

– Есть всего одна. Я в младенчестве лежу на шкуре белого медведя. Каждый раз, когда мама мне ее с гордостью демонстрирует, она часами рассказывает, как тяжело пришлось фотографу, потому что я постоянно дрыгал ногами, и как дорого ей это обошлось. Мошенник запросил дополнительную плату.

Они со смехом пересекли улицу. Отто показал на вход во двор.

– Здесь.

Первые два двора выглядели вполне прилично. Третий оказался запущенным. Штукатурка облетела, снизу карабкалась сырость. Тяжелая, сладковатая вонь вынудила Салу задержать дыхание. Из нескольких окон слышалось рычание, сверху – стоны и крики. Отто крепко сжал руку Салы.

Узкая дверь вела в пахнувший сыростью боковой вход. Отто ненадолго остановился. Внутри резкие мужские голоса фальшиво и похабно распевали уличную песенку. Он достал ключ и, немного помедлив, позвонил. На мгновение крики за дверью смолкли, потом послышались быстрые шаги и сдавленные приказы. Дверь распахнулась. Им открыла Эрна. Хотя Отто и надеялся увидеть мать, это показалось бы ему странным. Наверное, она, как королева, восседает в единственном кресле в гостиной. Шикарно, с довольным видом усмехнулся Отто, оценивающе осмотрев старшую сестру – похоже, они последовали его указанию и подготовились к важному визиту. Остается надеяться, манеры окажутся под стать нарядной одежде. Эрна взволнованно сделала книксен.

– Я Эрна, очень рада, что ты решила к нам зайти, Сала. Отто уже несколько месяцев обещал привести тебя в гости.

Сияя от гордости за свои изысканные манеры, она протянула Сале руку и рассмеялась.

– Все там, в комнате. Надеюсь, вы принесли веселящий газ, а то Гюнтер там напугал, ой, простите, испортил воздух.

Улыбаясь, Эрна сделала шаг назад, освобождая место. Отто повел Салу по узкому коридору.

– Заходи, старина, – послышалось из глубины.

Однажды за дерзость придется ответить, но не сейчас. Отто твердо решил, что сегодня он великодушно закроет глаза на слабости своей семьи.

– Девчонка с тобой?

Отто появился в дверях первым и украдкой показал угрожающий жест. Гюнтер извинительно прикрыл рот рукой, когда Отто сделал шаг в сторону, чтобы пропустить Салу.

– Ну что ты встал, будто оловянный солдатик, приятель. Мой будущий шурин – тот еще пройдоха, но это ты и сама знаешь. Я Гюнтер.

Не вставая, он протянул ей мясистую ладонь.

– Левая рука идет от сердца, и прошу прощения, что сижу, – вывихнул средний палец, и защемило позвоночник. Видно, какая-то ведьма порчу наслала.

Он бросил на Инге укоризненный взгляд:

– Гюнтер, веди себя прилично.

Анна по-девичьи бодро поднялась с кресла, стоящего в полутьме, и подошла к Сале. Она со строгой улыбкой протянула девушке руку.

– Мама, это Сала, – отстраненно поклонился Отто.

– Добро пожаловать.

Потом Анна искоса глянула на Гюнтера и добавила:

– Не принимайте его всерьез, он по-другому не умеет. Они в партии все так общаются.

Ее появление впечатлило Салу. Гордая красота, непреклонность в каждом взгляде, в каждом движении. Она представила, как теперь может выглядеть ее мать.

– Спасибо за приглашение.

Отто жестом подозвал к себе сестру. Сала никак не могла понять, как эта красивая молодая женщина, старше нее максимум года на два, могла выбрать такого грубого мужчину, как Гюнтер. В отличие от худой Эрны, ее фигура благоухала женственностью.

– А это Инге.

Хлопнула дверь. Отто узнал по приглушенным ругательствам отчима, который, покачиваясь, вошел в гостиную.

Несмотря на рассеянные движения, выглядел он импозантно. Сала увидела, как Инге сияющим взглядом посмотрела на отца, а Эрна нервно переступила с ноги на ногу. Анна сразу поникла – или в уголках ее рта проступили горечь и разочарование? Сала заметила, что при появлении одного человека в комнате совершенно изменилось общее настроение. Несмотря на то что его сила и стать померкли, как выцветший рисунок углем, он оставался центром этой семьи. Отто казался в этом мире чужаком, точно таким же, как и – в ином смысле – в ее мире. «Словно он потерял свою родину», – подумала Сала, прижимаясь к нему.

– Гунни! – Карл поднял руку. Гюнтер удивительно проворно поднял грузное тело с кресла – хотя секунду назад казалось, что он в него врос. Тоже слегка покачиваясь, он подошел к Карлу и повел его к дивану. Мужчины обнялись, и Сала уже не могла разобрать, кто кого поддерживает. Они напоминали отца с сыном или боевых товарищей, и шептались как закадычные друзья. Товарищи по несчастью, объединенные глубоким взаимопониманием, но без истинного интереса друг к другу. На нее пахнуло пивом, водкой и потом. Сала

попыталась нащупать Отто и вдруг почувствовала его руку у себя на спине. Она закрыла глаза.

Карл снова встал. Все напряженно смотрели на него.

– Отто. Что за прекрасный цветок ты привел в мою хижину?

Все просияли, и даже Отто оценил поразительно галантное приветствие.

– Простите, фрейлейн, я только вернулся с работы и так упахался сегодня, что туго соображаю и не сразу вас заметил. Родня, оказывается, я всех вас толком не рассмотрел. А благодаря этой юной даме в доме так светло, что сегодня мы можем сэкономить на электричестве. Мое почтение.

Сала улыбнулась. Она увидела, что мать Отто смеется, качая головой. Это семья Отто. Бывает и хуже. Эти люди не пытаются казаться лучше, чем они есть. Наверное, у них просто не остается на это сил. Возможно, у них слишком тяжелые будни, чтобы изображать что-то по вечерам.

– Мать, дай что-нибудь поесть. Я умираю с голоду.

Он качнулся в сторону Анны и так сильно ущипнул проходящую мимо Эрну за бедро, что та вскрикнула. Он замер и вопросительно на нее посмотрел. Она улыбнулась.

– Иди сюда, моя жердочка. Поцелуй папу.

Он показал на щеку. Когда она послушно потянулась, мужчина быстро повернул голову, и ей пришлось целовать его губы. Он грубо рассмеялся.

– Ха-ха. Всегда попадается на этот трюк, дуреха.

После этого он принялся обнимать всех подряд, пока наконец не оказался перед Салой.

– Такая красotka. Настоящая красавица. Теперь понимаю, почему он тебя прятал. Таких надо беречь.

Потом он повернулся к Анне.

– Пива и водки. И поскорее, пожалуйста.

Вежливое слово он поспешно добавил в последний момент, встретив твердый взгляд Анны. И только сейчас Сала заметила: его изуродованное алкоголем лицо напоминает карикатуру. Такие лица она встретила по дороге сюда. Теперь ей снова вспомнились картины. Она столкнулась в реальной жизни с тем, что раньше видела лишь в музеях, на полотнах Цилле, Гросса или Дикса. Они изображали

подобные типажи, похожих персонажей. Как и жирные богачи, такие лица были преувеличением. Рай или ад. Тем не менее, в маленькой темной квартирке было меньше лжи, чем во всей ее жизни. Возможно, семья своеобразная, но все-таки семья. Здесь есть отец и мать.

– Сегодня у нас айнтопф, любимое блюдо Отто. Надеюсь, тебе тоже понравится. Пойдем, покажу тебе, как его готовить. Ты должна научиться, если хочешь стать его женой, а если я правильно поняла – ты хочешь.

Прежде чем Отто успел что-то сказать, она взяла Салу за руку и увела на кухню. Уходя, девушка услышала щебетание Инге.

– Будем есть айнтопф, чтобы сэкономить для фюрера^[6].

– Иди сюда, малышка, у тебя золотое сердце.

Гюнтер громко рыгнул.

Анна выставила на стол суповые тарелки и дала Сале большой половник.

– Разливай аккуратно и положи Отто двойную порцию мяса. Ему сейчас нужно, он ведь учится в университете. И когда готовишь такой айнтопф, в супе всегда должно плавать достаточно жира, а то будет невкусно. Что тебе нужно от моего сына?

Сала посмотрела на нее с недоумением. Она не поняла вопроса.

– Почему ты его любишь?

Сале в нос ударил запах старого жира. Она заметила, что от стены отклеиваются обои, рассматривала убогую обстановку, слышала, как в соседней комнате снова шумит пьяный отец.

– Я не знаю, – сказала она чуть тверже, чем собиралась.

– Ну, хотя бы честно, – заметила Анна и молча посмотрела на девушку. – Подумай хорошенько. Брак – дело непростое. Чтобы его выдержать, нужно иметь много общего, а вы... Вы из очень разных миров. Не пойми меня неправильно. Я против тебя ничего не имею. Но у меня всего один сын. Другого не будет. Он – единственное, что я сделала хорошего в жизни. Чем я горжусь. Чего я не отпущу.

Сала не привыкла к такой прямоте. Это объявление войны или Анна просто обозначала границы?

– Мне подавать на стол? – спросила она и ужаснулась неуверенности и упрямству в собственном голосе.

– В тебе нет ничего плохого, Сала. Но, как я сказала, он мой единственный сын.

– Да.

Взгляд Анны смягчился.

– И не рассказывай о своем происхождении в присутствии Гюнтера. Он состоит в партии и хочет сделать там карьеру. Поняла меня?

– Да. Спасибо, но я немка, как и вы.

– Конечно, я на всякий случай. И при Инге, она под его влиянием. Она подала заявление на место секретарши в гестапо и ждет ответа.

– Почему вы мне все это говорите?

Анна протянула ей тарелку с нарезанным хлебом.

– Отто сказал, твоя мать – еврейка.

Сала кивнула.

– А отец?

– Протестант.

– Ну, как и большинство из нас. Тогда получается, ты еврейка только наполовину.

Сала снова молча кивнула.

– И что об этом сказали твои дедушка с бабушкой?

– О чем?

– Ну, о женитьбе твоих родителей.

Сала прекрасно знала, о чем спрашивает Анна, но предпочла сделать вид, будто не поняла вопроса.

– Не знаю, – уклончиво ответила она.

– Ну, такой союз не совсем нормален.

Анна улыбнулась. «Совершенно дружелюбной улыбкой», – подумала Сала.

Мать Салы, Иза Пруссак, была родом из Лодзи, из старой еврейской семьи. Ее отец, Лейб Пруссак, владелец суконной фабрики, отправил трех своих дочерей учиться за границу. Лола стала успешным модельером в Париже, Цеся уехала в Буэнос-Айрес, а Иза, самая старшая, изучала медицину в Берне, где позднее выбрала специализацию – дерматология и психиатрия. Она была сторонницей неомальтузианства, поддерживала реформы, предлагавшие бороться с бедностью посредством ограничения рождаемости с помощью предохранения. Иза считала, что контроль рождаемости возвращает женщинам свободу над собственным телом. Свободное время она проводила у подруги, Маргареты Хардеггер, которая вела дискуссионный клуб, своеобразный литературно-поэтический салон. Помимо литературы обсуждалось образование, свободная любовь, роль женщины, упразднение брака, внутренние конфликты рабочих организаций, вопросы теософии и социальной этики. Она постоянно слышала рассказы про гору в Асконе, на Лаго-Маджоре, которую выкупил молодой сын голландского магната, чтобы жить там с единомышленниками. Они питались исключительно вегетарианской пищей. В теплую погоду ходили голыми, если становилось прохладно – надевали собственноручно сшитые белые хлопковые одежды. Летом 1907 года Иза поехала в Аскону. Поднялась по многочисленным ступеням на гору. Обитатели нарекли ее Монте Верита – Гора Истины. Прогуливаясь на закате между маленькими деревянными хижинами, Иза увидела в траве двух голых молодых людей, ведущих оживленную беседу. Она хотела отвернуться, когда один из них вскочил и поспешил к ней. Он вежливо поклонился.

– Иоганн Ноль, а там, сзади – мой приятель, Эрих Мюзам^[7]. Хотите с нами поужинать?

– Голыми?

Они рассмеялись.

– Здесь все называют меня Жан.

– Я Иза, – она протянула ему руку.

– Сегодня вечером мы хотим спуститься в деревню. Эрих не переносит вегетарианской жратвы. Как насчет пасты болоньезе и бутылочки красного вина?

– Я бы предпочла кусок мяса с кровью и ведро красного вина.

– Сию минуту, только приоденемся.

– Буду ждать вас в главном доме, у господина Оденковена.

– Осторожнее, не попадайтесь на глаза его подружке.

Улыбнувшись ей светлой, мальчишеской улыбкой, он повернулся и пошел обратно к другу, который недоверчиво наблюдал за беседой издали. Иза без стеснения смотрела ему вслед. Казалось, его красивое, рослое тело слегка парит в воздухе. Пахло травой.

Я пытался побольше разузнать об этой Горе Истины. Нашел в интернете цветущие пейзажи, записал названия разных книг и вспомнил, как в детстве ездил вдвоем с мамой на каникулы куда-то во Французскую Швейцарию. Кажется, местечко называлось Л'Оберсон. Больше нигде мама не бывала такой расслабленной. И там она не носила парики.

Я нашел в книжном маленькую книжечку про Аскону под авторством Эриха Мюзам. Многие из написанного я уже знал по рассказам матери. Я подумал, возможно, она захочет посетить со мной место своего рождения. Надеюсь, пейзаж пробудит эмоциональные воспоминания, детали или истории, угасшие в ее сознании. Я приманил ее старыми фотографиями ее отца, Эриха Мюзам и других обитателей Монте Верита возле водопада.

– Да они же все голые! Заба-а-авно.

Она долго смотрела на фотографию отца.

– Ты узнаешь кого-нибудь?

– Конечно.

– Кого?

– Всех.

– А имена помнишь?

Она провела рукой по лицу.

– Ну, это же Мюзам. А там, сзади, кажется Фанни цу Ревентлов^[8]. Господи, какой же она была красоткой. Красивая женщина.

Мне казалось, в то время Франциска цу Ревентлов еще не бывала на Монте Верита, но я не хотел сбивать маму с толку. В любом случае,

своего отца и Эриха Мюзама она узнала. Возможно, надежда еще есть.

– Как думаешь, может, съездим туда?

– А это для меня не слишком утомительно? Целое путешествие.

– А оно тебя порадует?

– Думаю-ю-ю, да.

Я пообещал как можно скорее отправиться в путь.

Мы долетели из Берлина в Лугано, над Цюрихом. Полчаса спустя наш таксист уже петлял по серпантину, ведущему к главному зданию Фонда Монте Верита. Посреди природы стоял прекрасный ансамбль.

Аахенский архитектор Эмиль Фаренкампф, творивший в стиле баухаус, расширил оба шестигранника главных зданий, стоящих вокруг швейцарского грота. Над ним расположился ресторан с панорамными окнами, соединенный с четырьмя этажами нового отеля. Комплекс был перестроен в 1927 году по заказу нового владельца – банкира, коллекционера и мецената Эдуарда фон дер Хейдта.

Мои бабушка и дедушка вернулись в Берлин в 1921-м или 1922 году, когда моей матери было два или три года. Дедушка очень беспокоился, потому что она не говорила ни слова. Сейчас она молча, как и тогда, поднималась по лестнице. И пыталась скрывать, как тяжело ей это дается.

Закончив с формальностями и загрузив в комнату вещи, мы отправились на небольшую прогулку. Узкая ухоженная тропинка вела нас мимо чайного павильона к последним сохранившимся хижинам из ее детства. Осталось три или четыре, и каждая вмещала двоих, максимум четырех человек. Они были построены из темного дерева, с маленькими верандами.

Я помог маме подняться на две ступеньки. Дверь была открыта. «Как тогда», казалось, говорил ее взгляд. Мы остановились посреди комнаты. «Какая маленькая», – подумал я. В углу стоял простой деревянный стул. Она села. В окно светило полуденное солнце, деревянные стены вздыхали – звук из утраченного времени. Здесь познакомились ее родители, здесь она родилась, здесь начала свой бег ее судьба.

Рожденные при исчезающей романтике, в стремительно растущем индустриальном мире, которому они не могли и не хотели покориться, они приезжали со всех концов света – со своей тоской, своей надеждой, своим желанием создать нечто новое. Новый порядок. Рай.

Иной мир для тех, кто не мог вытерпеть происходящего и грядущего. Утопию для творцов и изгоев, новую культуру, которая тычет голым задом в лицо патриархату, презирая все авторитеты, все государственные институты и быстро растущий капитализм.

Я искал на лице матери отпечатки того времени.

– Кроватей здесь не было.

Ее голос звучал словно издалека. Могла ли она помнить детали раннего детства? Вряд ли, но, возможно, она узнала об этом от отца.

– Здесь мы спали на полу. Все было по-спартански. Обuvi не носили. Когда мы собирали в лесу грибы или ходили с отцом за ботаническими образцами, то всегда возвращались с израненными в кровь ногами.

Каково было ребенку жить среди этих людей, увлеченных исключительно собой, своей индивидуацией, без которой для них не существовало жизни? Немного Гете, немного Руссо, природа, культура, наука, щедрая щепотка Фрейда – и все перемешать? И плюс ко всему – «Материнское право» Бахофена, который меняет местами матриархат и патриархат на основе древнегреческих и римских мифов. Не самый легкий коктейль.

– Хочу к водопаду, – раздался в тишине ее голос.

В 1900 году вышло в свет «Толкование сновидений» Фрейда.

По дороге к водопаду она рассказала, что мой дед с жадностью читал его труды.

– Здесь, на Монте Верита, он выучился на аналитика-любителя, – сообщила она, когда мы ненадолго остановились перевести дух.

Из дневников Эриха Мюзама я знал, что мой дед и молодой австрийский психиатр и психоаналитик Отто Гросс собрали настоящую динамическую группу. Гросс приехал с женой, чтобы вылечиться от кокаиновой зависимости. Каждое утро все заинтересованные собирались на большой поляне. Абсолютно голые, они садились в круг и анализировали сны друг друга.

– Для отца это были первые подопытные кролики. Они все его боготворили. Особенно женщины, хотя они интересовали его лишь платонически. Он любил общаться, и неважно – с женщинами или с мужчинами:

– Но ведь тогда он жил с Изой. И уже родилась ты. Он не мог быть исключительно гомосексуалом...

– Да, но предпочитал мужчин.

– Он был бисексуалом?

– Ну, как скажешь.

– В смысле?

– Он просто не вписывался в рамки, понимаешь? Потом у нас дома был непрерывный поток мальчиков по вызову. Они просто шли один за другим, понимаешь? – Она уставилась в одну точку. – За-ба-а-авно.

– Тебе, как его дочери, наверное, приходилось нелегко?

– А бывает легко? В юности моего отца вышвырнул из дома его отец. Возможно, он так и не смог от этого оправиться, во всяком случае, он не терпел вмешательств – понимаешь, он предоставлял каждому человеку полную свободу и требовал ее для себя. Я так и не решилась с ним об этом поговорить.

Она глубоко вздохнула.

– Когда мой дедушка вернулся со своей второй, молодой, женой в Берлин из образовательной поездки по Италии, кое-что произошло.

– Что именно?

– Ну, с особым нетерпением их ждали незваные гости, – она улыбнулась. – А потом, на следующее утро, их тела покрылись темно-красными волдырями. Клопы! – воскликнула она и радостно продолжила: – Длинные ряды клоповых укусов – так сказать, зудящий контраст флорентийскому ренессансу. Это не пошло его сыну на пользу.

Она сделала паузу, а потом продолжила уже серьезным тоном.

– Смерть матери наложила на моего отца неизгладимый отпечаток, и дед это знал. Он стал мечтателем, меланхоличным фантастом, и дед часто не мог понять его поведения. Ему оставалось лишь терпеть, что в школе, которой он руководил, его сын оставался на второй год в первом и третьем классах, он даже смирился с тягой сына к собственному полу как с заблуждением молодости, – она возвысила голос, полностью войдя в роль собственного деда, – но не с мужчинами из нижних сословий и не в его собственной постели. Он увидел в этом угрозу для своей молодой супруги и оскорбление своего мужского достоинства.

Я молча смотрел на нее. За последние годы она рассказывала мне все новые варианты этой истории. Но конец всегда был один и тот же.

– Он написал ему короткое письмо с приказанием покинуть дом и добавил постскрипtum: «Когда ты путался с молодыми людьми равного положения, это было еще простительно, но теперь ты связался с отбросами общества».

Вскоре после этого ее отец бросил изучение истории искусств. Он отправился с другом Эрихом Мюзамом в Мюнхен. Оттуда они без гроша добрались через Италию в Швейцарию. Они примкнули к небольшой группе творческих людей и эскапистов. Ида Хофман и Генри Оденковен, молодая пара, состоящая в неформальном браке, основали вместе с друзьями-художниками Карлом и Густавом Грезерами вегетарианское поселение на горе возле Асконы.

Они зашли в маленькую тратторию в переулке около променада вдоль гавани Асконы, и им в лицо ударил дым трубок, сигар и сигарет.

Послышались громкие приветствия. По игривым, оценивающим взглядам Иза почувствовала, что Жан и Эрих редко появляются здесь с девушками или не появляются вовсе. Хозяин обнял их и протянул Изе пухлую ладонь.

– Лука. Честь для меня. Заходите, у меня есть для вас лучшие места, заходите скорее.

Он подал знак молодому темноволосому официанту, и тот принялся готовить столик возле окна. При этом Жан с невозмутимым видом нежно погладил его по заду и прошептал что-то на ухо. Официант залился краской и захихикал, Жан игриво ущипнул его между ног. Эрих сердито опустил взгляд. Иза молчала. Похоже, этот Жан – тот еще пройдоха. Но выглядит он потрясающе: высокий, овальное лицо с тонкими чертами, длинные темно-русые волосы, чувственный рот, мечтательные глаза – то синие, то зеленые, в зависимости от освещения. Но сильнее всего Изу впечатлили его руки, она еще не видела у мужчины таких любопытных, знающих рук. Он носил брюки и рубашку из белой ткани. Из-за широкой шляпы и накидки он напоминал Гете в годы, когда тот жил в Риме под именем художника Мёллера. Иза заметила, как на нее смотрит Эрих. Прежде она ни разу не сталкивалась с гомосексуальными мужчинами. Она не видела в этом ничего предосудительного, они казались свободными – особенно Жан, излучавший изысканную и уверенную элегантность,

эротическую ауру, мужскую и женскую одновременно. Внезапно он посадил молодого официанта себе на колени, достал из нагрудного кармана маленькую книжечку, пролистал ее одной рукой – другой он продолжал гладить парня – и принялся читать, слегка нараспев. В середине стихотворения он прижался губами к уху юноши и перешел на шепот, но достаточно громкий, что Эрих и Иза могли услышать:

– Явись, о отрок! Мир убереги от тщетной
Гибели! Единственный спаситель!
С твоей защитой век наш расцветет,
Очистится от прежних преступлений...
Вернется столь давно желанный мир,
И узы братские соединит любовь!
О том поет поэт, пророк гласит:
Излечит только новая любовь.

На последних строчках он повернулся к Изе и положил голову ей на грудь.

– Стефан Георге, – с сияющим взглядом прошептал он. Потом неожиданно подпрыгнул, продекламировал последние строфы, сделал пируэт и комично поклонился окружающим. Несколько гостей с соседних столиков захлопали в ладоши. Он не обращал внимания на оживление окружающих, на шепот, на любопытные взгляды – ну, или делал вид, что не обращает, подумала Иза и улыбнулась.

Наконец принесли еду. Жан заказал второй графин вина. Лука лично принес им мясо. Симпатичного официанта он оставил за прилавком, заметив ревнивые взгляды Эриха – это могло плохо сказаться на торговле.

Таких мужчин Иза не встречала ни в Лодзе, ни в Берне. Всезнайки из медицинского университета оказались скучными и безжизненными обывателями. Коммунисты у ее подруги Маргарет были ненамного лучше, а порой и вовсе невыносимо авторитарны. Эти же двое – совсем из другого теста. Что бы подумал отец, если бы увидел ее сейчас? Ее, дочь ортодоксального еврея, с двумя гомосексуалистами? У иудеев гомосексуальность строго запрещена.

– Я спросил его, – рассерженно рассказывал Эрих, – а если я подохну от всей это вегетарианской дребедени? И знаете, что ответил этот самонадеянный глупец? Он смерил меня взглядом с головы до ног и прогнусавил своим всепонимающим, всепрощающим фальцетом: «Это стало бы для нас неизбежной утратой». А теперь скажите мне, господа, это вегетарианство вызывает импотенцию или нужно быть импотентом, чтобы стать вегетарианцем?

К кофе с водкой все трое уже сжимали друг друга в объятиях. Через несколько дней Иза переехала в хижину на горе.

День начинался с толкования сновидений. Жан, Иза, Отто Гросс, Эрих Мюзам и еще несколько молодых девушек и парней молча уселись в круг. Все были без одежды. Дул легкий ветерок. Над поляной гудели пчелы.

– Кто хочет начать?

Мужчины опустили взгляд, женщины испуганно посмотрели на Жана. Отто Гросс с наслаждением почесал мошонку. Его член немного набух. Йоханна, высокая и очень худая девушка с белоснежной кожей, усыпанной веснушками, это заметила и тактично отвела взгляд.

– Тебя раздражает вид моего члена, Йоханна?

Йоханна посмотрела Отто Гроссу в глаза.

– Нет.

– Тебя возбуждает мое возбуждение?

– Возможно...

Хихикая, она обхватила руками свои бесконечно длинные ноги.

– Я вижу, ты намокла, пока мы говорили. Тебя возбуждают слова?

– Иногда...

Гросс обратился к остальным.

– Как считаете? Женщины сильнее реагируют на слова, а мужчины – на первичные сексуальные стимулы?

– Мы сейчас будем говорить о притеснении? – сказала Иза. Она холодно посмотрела на Гросса.

– Между мужчинами и женщинами всегда будет притеснение, Иза.

– Мы начинаем сопротивляться.

– Да? И как же? Как ты собираешься сопротивляться двухтысячелетней христианско-иудейской истории? Даже если вы

захотите, мужчины все равно сильнее. Ваше предназначение – давать и доставлять удовольствие. Возможно, вы можете думать иначе, но не чувствовать.

– Вы забрали у нас право голоса, но мы отвоюем его.

– У патриархата? Я бы на это посмотрел. Эмансипация бесполезна и изначально обречена на провал, пока мужчины остаются теми, кто они есть.

– Но они изменятся. Или исчезнут, если не поймут – их поработила та же система, что и нас.

Жан напряженно ждал, какое направление примет беседа. Его рука блуждала по колену Изы. Та решительно отодвинулась. Другие девушки нервно теребили волосы или потягивались на солнце.

– Я думала, мы будем толковать сновидения, – разочарованно пробормотала одна из них.

– Йоханна, ты тоже считаешь, что при сопротивлении женщины теряют эротическую привлекательность?

– Иногда...

– Ты хочешь переспать со мной? – он вызывающе посмотрел на нее.

– А твоя жена?

– У нас свободные отношения.

– Нет, – стройная девушка с широкими плечами откровенно расхохоталась.

– Но отношения? – уточнила Иза, не удостоив ее взглядом.

– Ты ведь тоже делишь своего Жана с Эрихом, – сказал Гросс.

– Он был до меня, и я ни у кого ничего не отнимаю.

– Это действительно другое, – рассмеялся Гросс.

– К тому же, Жан и Эрих – лучший пример мужской эмансипации.

– Иза, глубоко внутри у нас бушует конфликт, угрожающий нашей духовной цельности, – тихо и вкрадчиво начал Отто. – Это внутреннее противоречие грозит всем, каждому человеку на планете. И потому, – его глаза нервно заблестели, конечности задергались, он говорил все быстрее и громче, – потому каждый из нас верит, будто его личная трагедия неминуема и так жить нормально. Все начинается в материнской утробе. Еще не рожденный ребенок приспособляется к семье, в которой появится на свет, и узнаёт – его способ любить должен соответствовать кодексу той самой семьи. Как только он

учится осознавать, он чувствует, что его воля сталкивается с волей других, как и любовные желания: он учится их переиначивать и, в случае девочек, подчинять ожиданиям отца. На мечты об освобождении, на мольбы о позволении следовать своим чувствам существует лишь один ответ: осознание собственной незащищенности и одиночества. Следствие безграничного детского страха перед этим всеобъемлющим одиночеством – классическая семья, знакомая каждому из нас, с простым и ясным требованием: будь одинок или стань таким, как мы.

Все смущенно опустили взгляд. Ладонь Жана искала Эриха, другой рукой он обнимал Изу. Гросс часто спорил с ее критическими высказываниями. Невысокая полная девушка рядом с Эрихом засмеялась. Остальные вторили ее пронзительному хохоту, принялись хихикать, ползая по земле, когда бледная Йоханна вдруг безудержно зарыдала. Ее тело свело судорогой. Она в панике хватала ртом воздух. Жан и Иза попытались осторожно ее обнять, но она неожиданно оттолкнула их с дикими криками.

– Свиньи, угнетатели и свиньи. Вы свиньи. Жалкие свиньи.

Гросс вскочил и встал перед лежащей на земле, трясущейся Йоханной. Постепенно дрожь прекратилась, ее дыхание выровнялось. Пока Жан ласково поглаживал девушку, Гросс достал из аптечки, которую всегда носил с собой, белый порошок. Он насыпал немного в широко раскрытый рот Йоханны. Она скривилась от горького вкуса.

– Да, Йоханна, горько осознавать, что мы состоим из чужой воли, мы пленники чужого «я».

Морфий поступил в кровь. Лицо девушки смягчилось, руки принялись блуждать по собственной коже и по другим телам, она пыталась притянуть их к себе, положить на себя, втолкнуть внутрь себя. Ее тело изогнулось, из груди раздался глухой стон, звук ликования, который восторженно поддержали остальные.

– Настоящая истеричка, – прошептал Жану Гросс, – в будущем нам не следует отвлекаться от толкования сновидений, она та еще штучка... Как по учебнику, – хихикнув, добавил он. Иза рассерженно вскочила. Она побежала вниз, к водопаду. Жан и Эрих последовали за ней.

Они молча ступали друг рядом с другом. Под кронами деревьев было относительно прохладно, одинокие солнечные лучи проникали сквозь листву. Вдалеке слышался рев водопада. Жан бросился вперед. Быстрее. Еще быстрее. Иза с Эрихом попытались его догнать. Он мчался сквозь подлесок, перепрыгивая через стволы деревьев, спотыкался, снова вставал и бежал вдоль ручья, пока, тяжело дыша, не остановился перед водопадом. Там они опустились на покрытую мхом землю, наклонились к потоку и принялись жадно пить. В воде были видны их отражения. Жан повалился на спину. Он закричал, протестуя против воды, против леса, против Отто Гросса, против своего безжалостного отца, против смерти матери, против разрушения и насилия. Его крик перерос в долгий, напевный звук.

Далеко-далеко от Горы Истины, в растущем ткацком городе Лодзи, мать Изы Алта нерешительно приблизилась к кабинету мужа. Первую свечу Хануки пока не зажгли, и ему еще можно было работать. Дела шли хорошо. Когда Лейб поднял взгляд, в дверях стояла Алта.

– Представляешь, дочь Зелика вышла замуж за гоя.

– И что?

– Ну, все в отчаянии.

– Но он же любит Эстер.

– Очень.

– Ну тогда пусть.

– Ты считаешь?

– Это его дочь, – ответил Лейб.

– Значит, я могу тебе сказать.

– Что? – Лейб снова вернулся к работе.

– Наша Иза сделала то же самое.

– Что именно?

– Вышла замуж за гоя, – сказала Алта.

– Когда?

– Две недели назад.

– Где?

– В Швейцарии, в Асконе.

– На этой Горе Истины?

– Да.

Лейб уставился в пустоту. Резко дунул. Алта вздрогнула. Свеча погасла. Тяжелый силуэт Лейба исчез в соседней комнате. Жалобные

ноты превратились в поминальную песню. Алта осталась стоять в дверях. Она наблюдала, как Лейб опустился на колени перед маленьким алтарем. Он зажег две поминальные свечи.

– Зачем ты поешь поминальную песню? Иза не умерла. Она носит в себе новую жизнь. Она твоя дочь.

Лейб закрыл глаза и опустил на лицо белое покрывало, которым по иудейской традиции накрывают умерших.

– У меня больше нет дочери.

Перед нами показался водопад.

– Как ты можешь так подробно помнить свою жизнь здесь? Ты же была совсем маленькая.

– Да, заба-а-авно, правда?

Мы сели на круглый камень. Вода падала в ручей с высоты четырех или пяти метров. Я удивился, какой у нее все еще хороший слух. Казалось, шум ей почти не мешает.

– Тебе нравилось здесь жить?

– Да.

Моя мать молча дернула губами. Или она что-то прошептала? Я наклонился. Она молчала. Уставилась на воду, слегка покачивая головой. Потом соскользнула на землю. Провела руками по траве.

– Раньше я знала здесь каждое растение.

Казалось, даже вода начала падать осторожнее.

На ужин мы пришли в просторный ресторан отеля. После краха первых реформаторов жизни Эдуард фон дер Хейдт создал свою архитектурную фантазию с нисходящими окнами и длинными коридорами – экстравагантную самоинсценировку для более поздних посетителей Лаго-Маджоре и инвесторов, получивших свою выгоду.

Наблюдая через стекло за заходящим солнцем, я почувствовал силу притяжения, десятилетиями собиравшую в Монте Верита искателей истины. Итальянский климат, озеро на фоне швейцарских гор. Слишком прекрасно, чтобы погружаться в себя? Не пустыня – скорее, хорошо продуманный Эдемский сад. Здесь, в маленьких хижинах, наполненных воздухом и светом, скрывались мои бабушка и дедушка, пока самая жестокая на тот момент война четыре долгих года создавала новый мировой порядок. Как растения, что роняют перед гибелью последние семена, люди в последний раз противились своими идеями окружившему их разрушению.

– Твой отец рассказывал, почему они вернулись отсюда в Берлин?

– В этом меню ничего путного не найдешь.

Она либо не услышала моего вопроса, либо не пожелала на него отвечать.

– Он купил здесь виноградник, – она громко втянула сквозь зубы воздух. – Целое состояние, скажу тебе, целое сос-то-я-ние.

– И?

– Ну, потом ему пришлось продать его. Он снова оказался на мели. Как обычно. Сегодня богат, как Людовик XIV, а завтра все проиграл.

– Он тоже любил играть?

Я предположил, что она перепутала деда с моим отцом – после войны тот на несколько лет пристрастился к азартным играм.

– Да. А потом моя мать приставила к его груди пистолет. Либо ты берешь себя в руки и обеспечиваешь семью, либо я уйду.

Она сама поставила моего отца перед таким выбором в конце пятидесятых, когда он рисковал проиграть все, до последней нитки.

– Легко пришло, легко ушло, – сказала она. – Я никогда не придавала деньгам большого значения. Пустяки. Потерянного не вернешь. Как и фабрику твоего деда, он был крупным суконщиком в Лодзи – все кануло в Лету.

Проводив ее в номер, я решил еще немного прогуляться по территории. И снова вернулся к хижине, наполненной воздухом и светом. «Хорошо бы сейчас здесь поспать», – подумал я. Огляделся вокруг. Никого. Замка нет, как и в прошлый раз. Я зашел внутрь. Из-за влажности мне в нос ударил аромат древесины. Иначе, чем днем. Я лег на пол и вдохнул прошлое. Я чувствовал себя будто в поисках утраченного времени. Не хватало только чашки чая с липовым цветом и печенья «Мадлен»^[9]. Но я искал не свои воспоминания. Или свои? Ведь я выслеживал чувства родных дедушки и бабушки, которых помнил. В маленьком окошке показался месяц. Под его светом на полу крохотной комнатки легла крестом черная тень оконной рамы. Далекий шум ручья смешался со стуком ярко раскрашенных деревянных башмаков на променаде Асконы. Передо мной появился маленький белый парусник с двумя синими полосками. Или полоска была одна? Он стоял на подставке из светлого дерева в витрине магазина игрушек в Веймаре. А мальчиком, который прижался носом к стеклу, был я.

– Он?

В моих воспоминаниях голос дедушки звучал спокойно и терпеливо.

Перед уходом мама отвела меня в сторонку. Дедушка очень устал, я должен помнить про его болезнь. Сейчас это важнее поиска подарка для меня, от которого она, к сожалению, его отговорить не смогла. Он все равно никого не слушает, если вбил что-нибудь себе в голову. Мне все понятно? Я должен выбрать первую же лодку в первом же магазине и сказать, что она мне нравится. Дома, в Берлине, она купит мне другую, игрушки в ГДР все равно делать толком не умеют. Я еще очень маленький и не слишком понимаю, о чем она говорит, но дедушка очень болен и изнурен. Смертельно болен. Она повторила это несколько раз и с особым акцентом и внушительно на меня посмотрела. Я кивнул. Мама погладила меня по голове. Но мне было не по себе. Если она сказала правду, а причин сомневаться не было – в конце концов, она моя мать, – тогда прогулка может оказаться крайне опасной. Ведь он в любой момент может упасть замертво. И как я тогда найду дорогу домой? Я здесь ничего не знаю. Мы вышли на улицу, держась за руки. И молча пошли по улицам Веймара. Там было гораздо меньше машин, чем в Берлине, и совсем другие. В машинах я разбирался. У меня была большая коллекция моделей фирмы «Матчбокс». Те, что ездили по здешним улицам, напоминали наши большие лимузины, но казались какими-то сплюснутыми. Это были большие маленькие машины, а дома маленькие машины были маленькими и другой формы. Теперь я чувствовал себя совсем неплохо. С моим дедушкой оказалось здорово молчать. Он не задавал глупых вопросов, ответ на которые неизвестен. У него были теплые руки. Я был твердо уверен – мы оба чувствуем себя хорошо. Очень хорошо.

Первый магазин нас не впечатлил. Дедушка спросил, чего я хочу.

– Парусник.

– У нас такого нет, – продавец ответил быстро, хотя говорил медленно. – Есть лодка без паруса, – добавил он немного угрюмо.

Я вспомнил напутствие матери.

– Мне подойдет.

– Но ведь тогда это не парусник, – спокойно заметил дедушка.

– Мне подойдет, – тихо сказал я.

– Нет.

Он взял меня за руку, и мы вышли из магазина. Через несколько шагов он остановился. И наклонился ко мне.

– Слушай. Не следует покупать что-то только ради любезности. Это глупость. Тогда мы оба останемся в дураках. Ты не получишь лодку, которую хочешь, а я не смогу сделать подарок, который тебя действительно порадует. Понимаешь?

Я кивнул, и мы пошли дальше. Дедушке было не тяжело. Я видел это по его глазам и походке. У него было прекрасное настроение. Ему нравилось гулять со мной по своему городу. Если с ним кто-то здоровался, он дружелюбно кивал в ответ, поднимал в знак приветствия свою трость с серебряным набалдашником, и мы бодро шли дальше.

Второй магазин оказался ненамного лучше первого. Продавец говорил еще медленнее и почти ничего путного не сказал. Задерживаться мы не стали. Из-за облаков выглянуло солнце. Казалось, Господь разлил по улицам Веймара ведро золота. Дедушка то и дело показывал тростью на здания и что-то о них рассказывал. Но звучало это не как пояснения, а как увлекательные истории. Он рассказывал о людях, живших в этих домах в другие времена. Описывал их одежду, их прически, говорил о каретах и лошадях, о поэтах и герцогах, об очень знатных, умных женщинах и об Италии, где он однажды бывал. А потом мы оказались возле витрины третьего магазина. И там был он. Самый красивый парусник, что я видел.

– Он?

Я почувствовал руку деда на своем плече. Да, я искал именно такую лодку. По белому корпусу бежали две тонкие синие полоски – внутри дерево оставили нетронутым, – а в середине возвышалась стройная темная мачта с подвижным сияющим белым парусом. Это был мой парусник.

Когда мы вернулись домой, мама хотела на меня наругаться, но увидела наши лица и лишь рассмеялась. Таким прекрасным и заразительным смехом, что в итоге захохотали все.

– Я так испугалась, дети, так испугалась.

Она давно так не смеялась. В последнее время мама часто грустила. Она обняла своего отца за шею. Он гладил ее по волосам. В дверях стоял мой папа и улыбался. Дедушка протянул к нему руку. Они обнялись втроем. Я крался со своей лодкой вверх по лестнице.

Это была наша последняя встреча. Через несколько недель мой дедушка умер.

– Почему же твои родители разошлись?

Моя мать молча сражалась с утренним яйцом. Открывалкой она пользоваться не собиралась и осторожно стучала по нему ложкой. Зрение у нее ослабло. Яйцо постоянно выскальзывало из рук. Но она упрямо стучала по скорлупе, пока не добилась своего.

Она расправила скатерть.

– Как продолжалась дружба с Мюзамом?

– Она закончилась. Он был как-то связан со взрывом в Мюнхене. Хотел переговоров. Для моего отца это было слишком.

– А почему твоя мать уехала в Мадрид? Из-за Гитлера?

– Нет, это случилось гораздо раньше, Гитлер тогда устроил путч и попал в тюрьму^[10].

– В 1923-м.

– Да или годом позже. Уже не помню. Все случилось из-за Малони.

– Малони?

– Томаса Малони, венгерского художника, тоже еврея. Отец считал, это сыграло основную роль.

– Что он был евреем?

– Да. Мою мать это ужасно злило. Брак может развалиться по многим причинам. Еврейство тут ни при чем. Моя мать была атеисткой. Отец тоже. Томас был на двадцать лет моложе нее. Возможно, это тоже причина, – она рассмеялась. – Вообще-то, отец сам привел его в дом. Он же вечно был в поиске... – она улыбнулась. – Никогда не знакомь жену с другом. Старая пословица, – снова улыбнулась она. – В общем, мама в него влюбилась. Так всегда и бывает. Они с отцом не слишком подходили друг другу. Для нее он был недостаточно тщеславен. Богемный бездельник и денди, начитанный, как никто другой, но в душе – ребенок, не созданный для этого мира и уж тем более для того, что надвигалось впереди.

– На что вы жили?

– Ну, иногда отец писал что-нибудь для газеты «Нойе цюрхер цайтунг». Он постоянно пытался опубликовать свои мысли на тему психоанализа, но ему не хватало самоуверенности и наглости. Как-то

он открыл небольшую практику в Берне. Даже консультировал Гессе. Тоже без особого успеха.

– Германа Гессе?

– Да-да. В то время тот довольно долго жил в Берне из-за алкогольной зависимости. Его брак был отдельной катастрофой. Когда он плелся после сеансов отца домой к жене, та устраивала ему разносы. «Ноль, эта свинья, – причитала она, – а ты просто жалкий болван». Потом он переехал в лес с Густавом Грезером. Они жили там на скале и постоянно молчали.

– Кто?

– Ну, Гессе. А потом он написал «Демиана». Такой забавный юношеский роман. На мой взгляд, немного невнятный. А ведь ему тогда было уже за сорок. Ха! Ну да. Думаю, у отца набралось не слишком много пациентов, все шли в основном к Гроссу или к Юнгу. Гессе тоже переметнулся. Возможно, мы переехали в Берлин еще и поэтому. Здесь жизнь была очень уединенной. Может, родители устали друг от друга и надеялись освежить отношения. Но в Берлине отец вернулся к старым привычкам. Он каждый день ходил в зоопарк «на охоту».

– В зоопарк?

– Ну, сам знаешь.

Я действительно знал – во всяком случае, догадывался. Разве не в зоопарке дед познакомился с моим отцом?

– Денег тоже не было. Мы питались в основном воздухом и чтением. Иногда ему присылал деньги брат. Он был профессором в Университете Гумбольдта и неплохо зарабатывал. К тому же, активно публиковался. При этом он постоянно использовал идеи моего отца, которые тот по своей наивности послушно излагал ему в письмах. Хотел доказать, что он не бездельник. Но мой дед все равно отказывался его видеть. Брак с женщиной «иудейской веры» и внучка от такого союза стали последней каплей. Ха!

Она громко расхохоталась.

– Он был антисемитом?

– Да, как и полагается праведным немецким протестантам.

– Но ведь не все немецкие протестанты – антисемиты.

– Нет, не все, – она снова улыбнулась. – Как вообще можно быть гуманистом и антисемитом одновременно? Объяснишь мне? К тому

же, при чем здесь я? Я еврейка лишь наполовину.

– Ты еврейка.

– Ой, только не начинай опять, ладно? Я полукровка, уж я-то знаю.

– Да, в нюрнбергских расовых законах говорилось о евреях наполовину, одну четверть и одну восьмую, но до Гитлера такого не было.

– Я полукровка – и баста! Уж я-то получше тебя знаю, за что меня преследовали, мой любезный друг!

Мы гневно уставились друг на друга.

– Ты еврейка. Твоя мать была еврейкой. А по еврейским законам это значит, что ты еврейка. Точка.

Я хлопнул ладонью по столу. Мать вздрогнула, словно я вынес ей окончательный приговор. Но я хотел восстановить мир.

– Почему для тебя это такая проблема?

Попытка полностью провалилась. Она затряслась.

– У меня нет проблем. Проблема у тебя. И похоже, большая. Но я не позволю тебе использовать меня для ее решения. Другие уже пытались. Решайте свои проблемы сами и оставьте меня в покое.

Она резким движением сбросила со стола тарелки и чашки. Нетвердо встала. Я хотел помочь, взял ее за руку, но она гневно вырвала ее, смерила меня презрительным взглядом и ушла.

К столику поспешил молодой официант. Густо покраснев, он принялся собирать осколки. Желая ли я чего-нибудь еще? Я сел и заказал себе кофе. С Лаго-Маджоре слетел утренний туман. В солнечном свете проступили четкие очертания горного пейзажа. Мой взгляд задержался на просторных лугах. Я прислушивался к звону ложек и посуды. Слышались тихие разговоры. Потом вступил детский голос. Передо мной вдруг возникла яблоневое дерево. Как и тогда, в нашем саду, я не мог сдержать слезы. Как и тогда, не знал, что делать. Как и тогда, я пытался отвести взгляд, но все плыло перед глазами.

Я сидел в шортах под яблоней с родителями. К нам приехали дядя Вальтер и тетя Клара. Вальтер и Клара Блохер. Они не были нам родственниками, но в те времена, в шестидесятые, всех взрослых называли дядями и тетями. В тот летний день ярко светило солнце. Когда они зашли в калитку, я подбежал к ним, взял за руки и повел к яблоневому дереву. Я всегда так делал по воскресеньям, когда

приходили гости. У подножия дерева уже ждали стулья. Я залез на самую высокую ветку, поклонился публике, поднял руки, описал ими большой круг и прокричал во всю глотку: «У всех американцев огромные задницы...»

Ничего другого в тот день мне в голову не пришло. Сделав головокружительное сальто, я приземлился между зрителями, поспешно поклонился и быстро убежал прочь.

Чуть позже я сидел за столом напротив американца. Дядя Вальтер чуть слышно постанывал от удовольствия, старательно запихивая себе в рот пирог с посыпкой. Мой взгляд блуждал по его светло-серым летним брюкам, белой рубашке с короткими рукавами. «Как у папы, – подумал я, – и галстук тоже в красно-синюю полоску. И у них обоих почти нет волос. Так выглядят в Германии все мужчины». Но дядя Вальтер оказался американцем. Так мне сказали.

– Почему дядя Вальтер говорит по-немецки, как мы, если он американец?

Все замолчали. Мама наклонилась ко мне. Мягко положила руку мне на колено. Было приятно.

– Понимаешь, Вальтер – немец, как и мы, но ему пришлось покинуть свою страну, потому что он еврей.

Я понял сразу. Хотя на слове «еврей» голос мамы звучал особенно равнодушно. И я не глядя мог сказать, какие у нее сейчас глаза. Этот тусклый взгляд был мне знаком. Он пугал меня. Почему все так странно на меня посмотрели? Так неискренне. Глаза моей мамы должны загореться снова. И немедленно.

– Но ведь он принадлежит к избранному народу, – сказал я.

Он вернулся. Свет в глазах моей матери. Теперь ее глаза загорелись. Всё хорошо. Мое позорное выступление на яблоне забыто. Все снова смеются. В голосе мамы слышится мягкое веселье.

– Ты тоже немного еврей.

Все снова посмотрели на меня. Я покачивался на стуле.

– Немного?

– Да.

– Не целиком?

– Нет. Не целиком.

У меня по ногам побежали мурашки. Не целиком?

– Значит, я целиком немец?

Все снова засмеялись. Еще громче, чем прежде. И горячее.

– Не-е-ет, не целиком...

Мамин голос немного срывался, словно она выпила. Внезапно я почувствовал, как во мне закипает бессильная ярость. Не целиком. Я прекрасно знал, что она имеет в виду. Если что-то не целое, то оно сломано. Как игрушка. Оно уже никому не нужно.

– Но я хочу быть целикомым немцем!

Слова вырвались неожиданно для меня самого. Почему целикомым немцем, а не целикомым евреем? Ведь я мог сказать и это. Но не сказал. Я сам не знал почему. Все уставились на меня. Дядя Вальтер побледнел. У него задрожала нижняя губа.

– Это в крови... Они никогда не научатся... Это в крови... – твердил он.

– Вальтер, – вмешалась моя мать. – Он всего лишь ребенок.

Ее голос звучал отчужденно. Похолодев от шока, я слышал, как он тихо потрескивает – словно лед.

Дни тянулись медленно. После школы я быстро бежал в свою комнату, бормотал что-то про домашнее задание и запирался. Чаще всего я паялся в окно. Я узнал нечто, перевернувшее мой мир.

Вскоре меня перевели во французскую школу. Гонимый смутной тоской, пытаясь спрятаться от самого себя, я сбросил немецкую рубашку. Я начал осторожно расспрашивать родителей об истории нашей семьи. Отец молчал, мать рассказывала. Полученные ответы отличались от ответов на любые другие вопросы. Кое-что не сходилось. Кое-где зияли пробелы. Сначала я не понимал их, потом переставал замечать. Порой нити истории запутывались, порой не хватало перехода или что-то казалось неправдоподобным. Словно картинка на телевизоре, состоящая из точек, выстроенных в определенном порядке. Если некоторых точек не хватало, мозг додумывал их сам. Это относилось и ко всем остальным сферам жизни. Моя новая реальность была лоскутным ковром из темных и светлых отрезков. И я был твердо уверен, что так у всех. Если я чего-то не понимал, чувствовал пробел, спрашивал о недостающем фрагменте, моя мать проваливалась в забытие. Как и большинство детей того времени, меня вырастили люди, чьи воспоминания на определенные темы казались разрушенными, словно у больных Альцгеймером.

Строгая логика утратила ценность, на смену ей пришла казуальность, но должны же были быть хоть какие-то убедительные объяснения. Их не было.

Если что-то звучало особенно неубедительно, мать начинала смеяться, словно рассказала удачный анекдот, нечто совершенно неправдоподобное и абсурдное – едва ли это могло произойти, если могло вообще.

Однажды она рассказала про лагерь.

– Летний лагерь? – переспросил я.

– Не-е-ет, – расхохоталась мама. Снова этот взрослый смех – после него история всегда становилась жуткой. Тогда мне хотелось закрыть глаза и уши или спрятаться в темном подвале – но еще хотелось узнать продолжение.

Официант осторожно поставил кофе на столик и снова исчез.

Моя мать воспринимала слово «еврейка» как приговор. Она не любила говорить о своем еврейском происхождении. Впрочем, разве у нее был выбор? Кофе оказался горьким и слишком горячим. Для меня, ребенка, который взбирался на яблоню в собственном мире, слово «наполовину» значило «не целый», поломанный, а моей матери, возможно, это слово давало шанс избежать уничтожения, предоставляло половинчатое право на жизнь, на принадлежность – пусть и неполную.

Сейчас, когда она вставала, у нее был такой же взгляд, как тогда в Берлине – когда я выбежал из комнаты и спустился вниз по ступенькам. Моя мать стояла внизу и смотрела в одну точку. Отец держал ее за обе руки, словно она могла упасть. Он предупреждающе протянул ко мне ладонь. Я не стал мешать. Подходить к ней было нельзя. Я смотрел на нее. Там, внизу, стояла моя мать, но я не узнавал ее. Отец отвернулся и начал ждать. Ее глаза были пусты. Она ничего не слышала. Ничего не видела. Ее там не было. Она была мертва.

Я уставился в пустоту, словно пытаюсь ей подражать. Почему? Потому что она меня не видела? Я боялся, что она меня забудет? Я повторял за ней, пытаюсь лучше ее понять? Не знаю. Я не знаю, почему так отреагировал, помню только, что мир остановился. И в этом оцепенении я начал думать. Медленно, словно при плохом водоснабжении, в мозгу побежали мысли. Закапали мне в сознание.

«Так и выглядит ад, – подумал я, – белый и абсолютно тихий». В глубоком ужасе я испытал острую потребность жить.

Жан и Отто сидели на кухне. Дверь квартиры распахнулась. Что-то прошуршало по стене в коридоре. Голос Салы тихо напевал песню Хорста Весселя^[11]. В окно светило полуденное солнце.

– Знамена ввысь! Ряды смыкая плотно,
Походкой твердою идут штурмовики.
Товарищи, убитые Ротфронтом,
В наших рядах, незримы и легки.
Коричневым дорогу батальонам!
Освободите путь штурмовикам!
И свастика – надежда миллионов,
Она подарит хлеб и волю нам.
Сигнал последний наше сердце греет,
К борьбе уже готовы мы давно.
Повсюду знамя Гитлера пусть реет,
Недолго рабству длиться суждено!

Сала прошла по длинному коридору и появилась перед ними. Жан спокойно на нее смотрел.

– Что произошло?

– В смысле? Эту песню сейчас поют повсюду. Почему я не могу ее петь?

– Сала.

Жан опустил плечи. Что он должен сказать? Это отвратительно? Тебе там не место? Ты там лишняя? Он и сам был лишним. С каждым днем его жизнь все более подвергалась опасности, но иначе он не умел и со временем привык. Лучшее, что он смог выдумать, – держать дочь на расстоянии от этого мира, ходить с ней на концерты, в театры и в музеи. Он всегда думал, что боль и утрату можно излечить красотой, что можно уберечь дочь от серой мещанской «нормальности» и варварства, если вырастить ее вне этой реальности. Он посмотрел в ее упрямое лицо.

– Коричневым дорогу батальонам! Освободите путь штурмовикам!

– Прекрати петь эту чушь! – вскочил Отто и схватил Салу за плечи. Сала вырвалась и с горящим взглядом запела дальше:

– И свастика – надежда миллионов, Она подарит хлеб и волю нам.

Отто умоляюще посмотрел на Жана. Голос Салы торжествующе поднялся на октаву выше.

– Сигнал последний наше сердце греет,

К борьбе уже готовы мы давно.

Повсюду знамя Гитлера пусть реет,

Недолго рабству длиться суждено!

Все замерли. Было слышно лишь растерянное дыхание. На лице Жана медленно расплылась улыбка, и его сдавленный смех прервал тишину.

– Эта песня... Похоже, никто не обращает на нее особого внимания.

Сала недоверчиво уставилась на отца. Тот принялся негромко напевать первые такты песни. Отто ударил кулаком по столу.

– Ты тоже будешь петь этот бред?

– Знамена ввысь... та-та-та-та.

Жан поднял воображаемое знамя ввысь и повторил первые ноты.

– Та-та-та-та! Вы не замечаете? Знамена нужно поднять ввысь, но ноты идут вниз. Та-та-та-та.

Он пропел мелодию снова и показал левой рукой, как опускаются ноты, а правой продолжал размахивать воображаемым знаменем. Руки летали вверх и вниз, вниз и вверх, Жан согнулся от смеха, по его щекам побежали слезы.

Они молча сидели за столом. Отто зажал голову руками, будто боялся, что она лопнет. По радио Comedian Harmonists пели песню «Выходные, солнце».

– Проклятая морось.

Отто посмотрел в окно. На столе лежало письмо. Жан осторожно подвинул его к Сале.

– От твоей матери.

Она сразу взяла конверт, покрутила его в руках, понюхала и положила обратно на стол. Последнее письмо от Изы пришло после захвата власти Гитлером. С тех пор Сала не получала от матери никаких вестей. Тогда Иза еще жила в Толедо, а это письмо пришло из Мадрида.

– Ну, теперь я должна быть даже благодарна, что она меня бросила.

Казалось, мрачное лицо Отто ее забавляет.

– Да, если бы она жила с нами и обратила меня в иуде-е-ейскую веру, – она впервые в жизни иронично растянула слово, – тогда сейчас я считалась бы полной еврейкой. Полная еврейка – звучит неплохо. Почти как полная идиотка, да? Полукровка здесь немного проигрывает, не считаете?

Она взяла конверт, ненадолго замерла, потом разорвала его и достала письмо. Отстраненно пробежала глазами по строчкам, запихнула две короткие страницы обратно в конверт и бросила на кухонный стол.

– Как мило, она о нас заботится, особенно обо мне. Спрашивает, не желаю ли я отправиться к ней в Мадрид. – Она прикусила губу. – Думаю, я бы предпочла трудовой лагерь.

Жан взглянул на письмо.

– Читай спокойно.

Жан потянулся, достал из конверта тонкие листы бумаги и осторожно расправил. Иза спокойно и серьезно предупреждала их о том, что может произойти. Она рассуждало здраво и деловито. В конце – приглашение и привет Жану, вместе с призывом к благоразумию. Добавить, как обычно, было нечего.

Сала гневно расхаживала вокруг, подбоченившись, а потом наконец не выдержала и сорвалась:

– Я не еврейка. Я не хочу быть еврейкой. И не буду. Я – не – хочу. Ни наполовину, ни полностью, вообще никак, – она тяжело дышала, густо покраснев. – Зачем она мне нужна? Я ее ненавижу. Ненавижу ее и весь ее сброд. Мне все равно, что с ними будет. Они должны оставить меня в покое. Они должны исчезнуть!

Ее голос сорвался. Теперь она стояла у окна. Снаружи сияли фонари уходящего дня. Не для нее. Улицы, скамейки, аллеи деревьев,

где шли по делам или искали покоя люди, – все это с отвращением от нее отвернулось. Словно она не человек. Нечто. Предмет.

– Я здесь выросла. Я говорю на том же языке. Я думаю, как они. Я чувствую, как они. Это моя страна. Я немка. Я не еврейка.

Ее голос звучал отчужденно. Она не узнавала собственных интонаций. Немцы так говорят? Может, в нее незаметно прокралось что-то еврейское?

– Во мне есть что-то затравленное? В движениях? В речи? Сестра Агата обратила вчера на это мое внимание. Она сказала, что желает мне добра. После урока биологии она отвела меня в сторону. Расология. И что? Я все знаю. Лучше, чем остальные. Но она все равно на меня пялилась. Я всегда была ее любимой ученицей, и вдруг она пялится на меня, словно я за одну ночь превратилась в кого-то другого. «Ты перестала быть собой, дитя мое», – передразнила она сестру Агату. – Да? Кем же я стала? Слоном? – Сала повернулась к отцу: – Ты немец, ты произвел меня на свет. Здесь и моя родина. Я не позволю так просто выгнать меня со двора. Я имею право здесь находиться.

Внезапно она умолкла. Встала прямо, как струна, и смотрела на них. Почему они молчат? Они тоже так думают? Им она тоже больше не нужна?

– Они переписали правду, Сала, – спокойно и сухо сказал Жан.

– Какую правду? Разве ее можно выбирать?

– Уже нельзя.

– Но... ведь... правда... это – правда... – промямлила она.

– Нет. Такого не бывало никогда.

Сала опустила голову.

– Что же мне делать?

Жан внимательно смотрел на дочь.

– А экзамены? Мне даже школу нельзя закончить? – голос Салы дрожал. Она умоляюще глянула на отца. – Может, они еще передумают. Ведь я такая, как они. Я не другая. Я такая же.

– Как ты можешь заканчивать здесь школу, если тебе нельзя учиться? Евреев забирают почти каждый день. Кто знает, когда дойдет и до полукровок. Когда они узнают о твоей любви к Отто, тебя публично унижат и упрячут. Вам обоим грозит каторга.

Отто слушал молча. Он знал от своей сестры Инге, что дело нечисто, хотя открыто она с ним больше не разговаривала, осуждая его

отношения с Салой.

– Значит, мне теперь не позволено любить, кого я хочу.

– Нет.

Жана охватила дурнота. А кому позволено? Кто может? Виски сдавила боль. В Испании бушевала гражданская война. Иза просто была другой, не такой, как он, не такой, как Сала, не такой, как все они. Она возьмется за оружие, если еще этого не сделала. Она не боится ни черта, ни дьявола. Он всегда втайне этим восхищался. Почему он сейчас подумал об Изе? Жан перевел взгляд на Отто. Возможно, Отто похож на нее больше других. Он тоже не знает страха.

Солнце давно зашло. Сала открыла окно. Пахнуло ночью и цветами. Дождь прекратился. Она сошла с ума? Чего она ждет? Слез. Никто не получит над ней власть, никто.

Она почувствовала руку отца.

– Что такое?

Сала не знала ответа.

На следующий день с ней серьезно заговорил Отто.

– Мы должны быть осторожнее.

– Что случилось?

– Вчера кто-то положил мне на кровать «Фелькишер беобахтер». Возможно, Инге или Гюнтер, проклятый нацист. Газета была открыта на статье «Врожденная склонность к гибридизации у евреев».

Сала изумленно посмотрела на Отто. И громко расхохоталась.

– Что еще за склонность?

Отто взял ее за руку, отвел в сторону и взволнованно зашептал:

– Сала, это не шутки, они серьезно. В некоторых городах мужчинам и женщинам, вступившим в межрасовые отношения, повесили на шеи таблички и провели их по улицам, словно скот.

– Что за таблички?

– «Я здесь главная свинья, только евреи привлекают меня», – он молча посмотрел на нее. – Это женщине. А рядом с ней стоял мужчина, на табличке у которого было написано: «Я еврей, и потому лишь немок я веду домой».

Сала снова рассмеялась.

– Да уж, мы народ поэтов и мыслителей.

– Сала, их осудили на смертную казнь.

Она вырвалась от него.

– Никто не заставляет тебя держать мою руку.

– Сала.

Он взял девушку за плечи и долго смотрел в ее серьезные глаза.

Всего несколько минут до Мадрида. Она ждет на вокзале? Как она теперь выглядит? Сможет ли Сала ее узнать? А Томас? Что он за человек? Если верить описанию отца – невысокий и изящный. Темные густые волосы, крупный нос, проворный и беспокойный взгляд, элегантная, экстравагантная, в основном светлая одежда, слишком широкие брюки, из-за которых он напоминает клоуна, паяца, и сильный австро-венгерский акцент. Такие подробности замечает лишь обиженный взгляд, подумала Сала. Она знала о Томасе больше, чем о собственной матери.

Издав гудок, поезд подъехал к вокзалу. Сала сердечно распрощалась с попутчиками. С гулко стучащим сердцем она потащила тяжелый чемодан по узкому проходу на выход. Поезд выдохнул и немного подался назад.

Дернув тяжелую ручку, Сала выпрыгнула на платформу. Куда подевались все нехорошие предчувствия? Еще вчера она не могла представить ничего хуже поездки в Мадрид. А теперь? Кондуктор-испанец спустил ее чемодан. Вокруг спешили к выходу пассажиры, бушующее море голов. Сала поднялась на цыпочки, высматривая невысокую, стройную женщину, возможно, уже немного седую. «Мама, мама», – громко и взволнованно кричала она внутри себя. В какой-то момент девушке показалось, что она слышит из громкоговорителя собственный голос. Толпа медленно рассеялась. Через несколько минут она уже стояла на платформе одна. Возможно, мама ждет ее возле выхода. Сала сжала ручку большого чемодана.

Вокзал оказался больше, чем она думала. Продолжая поиски матери, она слышала обрывки разговоров. Хватит ли слабого испанского, с которым она приехала, чтобы найти дорогу? Ее матери нигде не было. Возможно, произошло что-то серьезное. По дороге Сала пыталась побольше разузнать о гражданской войне, но, поскольку она немка, испанцы реагировали сдержанно. Хочется надеяться, ничего страшного не случилось.

– Ты, наверное, Сала, – звонкий голос за спиной заставил ее обернуться. Перед ней, несомненно, стоял Томас, отец описал его

метко.

– Ты очень похожа на мать, только красивее – но не вздумай ей это сказать!

Его голос напоминал о кофейнях, о Будапеште и Вене.

– Я Томас. Добро пожаловать, мое прекрасное дитя.

Мужчине, который столь очаровательно и нахально назвал ее «дитя», не было и тридцати, а ей уже почти исполнилось восемнадцать, но Сале понравились его манеры. Она изумленно уставилась на Томаса. Он был на двадцать лет моложе ее матери и весьма хорош собой.

– Мы сядем на третью ветку, сделаем всего одну пересадку и проедем весь участок под землей, так сейчас надежнее. – Он предложил Сале руку и повел ее к выходу.

– Здесь опасно? – взволнованно спросила Сала.

– Со мной ты в безопасности. Я знаю все убежища в этом городе. С тех пор, как мы с Изой сюда переехали, мы ведем борьбу за революцию вместе с рабочими и крестьянами. Годы в Толедо были настоящим праздником, но в конце концов обстановка слишком накалилась. Мы тебе все расскажем. Ты будешь в восторге, красивое дитя. Мы живем в великое время. То, что сейчас происходит, изменит мир. Берлин хорош, но коричневая шайка его погубит. А здесь, в Испании, грядут большие перемены. Здесь анархисты сильны, как нигде. Мы поможем государству избавиться от самого себя. К тому же мы ведем здесь свободную, вольную жизнь с любимыми друзьями. Знаешь, красивое дитя, – здесь совсем другая жизнь. Теплая, как солнце, что светится в сердце и в душе каждого испанца. Это тебе не немецкое уныние – медлительное, серое существование с сосисками, картошкой, кислой капустой и пивом. Теперь, когда они начали изгонять евреев, все пропало окончательно. Можешь забыть эту страну, где теперь даже посмеяться нельзя, если шутка не одобрена самим фюрером.

Сала удивлялась, почему Томас не боится так открыто обо всем говорить. Но потом вспомнила, что она уже не в Германии и окружающие их пассажиры скорее всего не понимают ни единого слова. Поезд мчался сквозь темный тоннель, скрывающий Мадрид от ее любопытных глаз. Она еще не совсем приехала.

Когда они поднялись по ступеням, ей в лицо ударили первые лучи солнца. Перед ними лежала Гран-Виа. У Салы перехватило дыхание.

– Там впереди площадь Пласа-де-Кальяо. Видишь большое здание? Это отель «Флорида». Пойдем, выпьем кортадо и съедим тапас.

– А моя мама?

– Женщины всегда должны заставлять себя ждать. Это повышает напряжение. Правда, твоя мать во многом напоминает мужчину. Когда что-то идет не так, как она ожидала, она меняет ситуацию или забывает об этом. Кроме того, у нее много дел, возможно, мы будем только мешать.

Сала озадаченно на него посмотрела.

– Что скажешь: я покажу тебе город. В этот прекрасный день мы прогуляемся по большим проспектам и встретимся с твоей мамой за ужином. Тогда уже точно все соберутся. Будет весело. Ты не захочешь возвращаться в Берлин.

В этом Сала сомневалась, но прогулка по городу казалась соблазнительной.

– А чемодан?

Томас рассмеялся. Звонким, почти мальчишеским беззаботным смехом.

В отеле «Флорида» портье уважительно забрал у них тяжелый багаж.

– Он прибудет домой раньше нас, – довольно ухмыльнулся Томас.

Эта беспечность была знакома Сале по отцу. Хотя бы в этом они были похожи. Еще у них совпадали политические взгляды. Томас был художником, а значит, тоже понимал кое-что в искусстве. Он определенно был столь же непунктуален, как и ее отец, и, судя по беспечно сделанному заказу, мало заботился о деньгах. Но главное, возник совершенно новый образ ее матери, которую Сала помнила сильной холодной женщиной. Человеком с четкими принципами. Она не могла вспомнить ни единой улыбки. Как она могла делить жизнь с таким веселым парнем?

Официант постоянно приносил тарелки с новыми и новыми деликатесами. Сала воодушевленно принялась за тортилью.

– Еда для бедных, – хихикая, заверил ее Томас, – но сегодня нашпигована морепродуктами.

Во время поездки Сала почти не спала, но усталость уступила место бурному веселью. Ей передалось настроение Томаса. Она подумала об Отто. «В эйфории и при грозящей опасности выделяются эндорфины, притупляющие страх», – рассказывал он. Она боялась встречи с матерью? Вдруг официант поставил перед ними два тонких бокала с шампанским. Сала растерянно рассмеялась.

– Шипучка.

– Да, – захихикал Томас, – твой отец ненавидел шампанское.

Сала опустошила бокал одним глотком.

– И ненавидит до сих пор.

– Иногда мы устраиваем собрания в этом отеле, а иногда встречаемся с товарищами в баре «Чикоте». Туда мы тоже потом зайдем. Там куда веселее, но мы не смогли бы отдать твой чемодан.

То, что сначала выглядело запланированным, оказалось экспромтом – как у ее отца. Почувствовав приятную легкость в голове, Сала принялась мечтать о волнительном будущем. Перед ней впервые открылся мир, свободный от немецкой серьезности. Когда они снова вышли на улицу, то услышали звон гитар и жизнерадостный смех. Значит, вот в каком городе жила ее мать.

– А чем вообще занимается моя мать? Работает в больнице или у нее своя практика?

Томас изумленно посмотрел на Салу.

– В Испании она никогда не работала врачом. Ее диплом здесь не признают. Она не писала тебе об этом?

– Нет.

– Твоя мать – востребованный антиквар. Специализируется на XVIII и XIX веках. Еще периодически находит работы эпохи Ренессанса или испанского барокко. Сегодня у нее много важных встреч. Планируется выставка античного искусства. Ее старый друг недавно обнаружил одно сокровище и хочет ей его показать, – он таинственно улыбнулся.

– А магазин, то есть галерея, у нее есть?

– Иза ненавидит любое расточительство, – рассмеялся он. – В отличие от меня. Она делает все в нашей квартире – принимает клиентов, организует выставки, а по вечерам... – Он ненадолго замешкался: – Увидишь.

Томас остановился перед маленьким баром. Сала прочитала над огромными окнами и вращающейся дверью надпись, сделанную большими простыми буквами: *баркихот*. Она заглянула в длинный зал, оформленный в стиле ар-деко.

– Педро Кихот – наш хороший друг, и скоро мы навестим его. Он просто лучший бармен в мире и обладает легендарной коллекцией из двадцати с лишним тысяч бутылок, среди которых есть старая чача, подаренная ему однажды вечером бразильским послом, когда Педро еще смешивал коктейли в отеле «Ритц». Но еще обширнее его собрание больших и маленьких историй. Никто столь искусно не рассказывает о ночных гостях, не проявляя ни малейшей бестактности. На самом деле он – сказитель историй, он дистиллирует свои миниатюры из сырья долгих ночей, светлых и темных личностей, его посещающих, – мечтателей, преступников и мошенников, анархистов, актеров и королей. У него есть лишь один недостаток. Еще сильнее этих историй он любит деньги, и, возможно, поэтому он не поэт. Пойдем, покажу тебе Пласа де лос Торос, там устраивают крупнейшие бои быков. Или сначала ты хочешь в Прадо, о прекрасное дитя немецкой культуры?

Он снова засмеялся своим звонким смехом. Вообще-то, Сала терпеть не могла высокие голоса, но глубокий тембр Томасу бы категорически не подошел. Эта своеобразная высокая напевность даже придавала ему какую-то мужественность. Про бои быков Сала и слышать не желала. Она не признавала убийство животных на потеху публике.

– Не понимаю такой жажды смерти. Это как раньше, когда проводили публичные казни. Отвратительно. Я слышала, слоны оставляют свои стада, когда приходит время умирать. Никто не хочет, чтобы окружающие видели его смерть, разве нет? Разве только, чтобы рядом был любимый человек или дети. Или ты хотел бы умереть на публике?

– Зависит от того, какое значение я придаю своей жизни.

Сала не поняла, что он имеет в виду, и быстро сменила тему.

Прохладный воздух в больших залах Прадо был ей куда милее. Она вдохнула хорошо знакомый затхлый запах старых картин. Ей вспомнились воскресные дни детства, когда она терпеливо стояла

возле отца, пытаясь прочесть по его лицу, что он видит в картине. Сегодня она, кажется, поняла, почему он опасался комментировать увиденное. Возможно, он боялся утратить чувство единения с картиной – так люди подробно рассказывают о возлюбленных, лишь когда грядет утрата или после их смерти, чтобы подарить им вторую жизнь в воспоминаниях. Сала подумала об Отто и почувствовала боль. Здесь, в тихих комнатах, среди организованной жизни, она вдруг почувствовала его близость. Она изумленно повернулась к Томасу, который стоял у нее за спиной. И увидела, как он увлеченно водит карандашом по блокноту. Теперь он выглядел совершенно иначе – Сала его едва узнала. Весь лоск пропал. Он твердо стоял на ногах, слегка расставив их в стороны. И посмотрел на нее, словно она застигла его врасплох. Это были первые наброски ее портрета, быстро нанесенные на бумагу. Когда она подошла ближе, он убрал блокнот.

На улице мимо них проехал загруженный мешками с песком грузовик. Томас внимательно посмотрел ему вслед.

– Они строят баррикады, чтобы защитить Мадрид от франкистов.

Вдалеке послышались выстрелы. Сала вздрогнула. Томас взял ее за руку.

– Пошли!

Когда они поднялись по лестнице старого дома, Салу охватила смертельная усталость. Ей отчаянно хотелось отложить встречу, которую она столько раз представляла за последние годы. Что ей делать, когда они окажутся друг напротив друга? Как отреагирует ее мать, кто заговорит первым? Или они будут молчать? Они должны обняться? Возможно, все получится ужасно неловко. Сала уже думала повернуть назад, когда дверь тихо открылась. Перед ней стояла Иза.

– Почему вы так долго? Заходите.

Она с улыбкой взяла Салу за руку и ввела в огромную, пустую прихожую. Позднее Сала заметила, что ее взгляд упал сначала на голые лампочки, свисающие с желто-коричневого потолка. Она неуверенно отвела глаза от испытующего взгляда матери, контрастирующего с сердечностью в ее голосе.

– Вы уже поели? У меня были кое-какие дела, на готовку не осталось времени, к тому же Томас делает это гораздо лучше меня. Как прошла поездка? Что вы сегодня видели? Но прежде всего расскажи

мне, что нового? Твой отец плохо пишет письма, когда речь идет о повседневном.

Сала снова ощутила этот спокойный, пронизывающий взгляд. Она словно оказалась на экзамене. Томас накрывал на стол. В столовой тоже свисали с потолка лампочки в патронах. Скатерти, как она привыкла дома, не было – посуду и приборы раскладывали прямо на длинном старом деревянном столе, во главе которого заняла место Иза. Она была миниатюрнее и изящнее дочери, и сразу с аппетитом принялась за еду. Краем глаза она наблюдала за Салой, которая поспешно проглотила несколько кусочков.

– Каждый кусок нужно пережевывать тридцать восемь раз. Так ты останешься молодой даже в старости. – Иза сделала глоток белого вина. – Это для кровообращения. Низкое давление хорошо для сердца, но плохо для чердака, – она показала на голову.

Когда Сала рассказывала о впечатлениях прошедшего дня под пристальным взглядом матери, ей казалось, что ее фразы произносит кто-то другой. Держи себя в руках, приказывала себе она, но слова сами слетали с губ. Сала подумала, что не узнала бы мать, если бы встретила ее на улице, и чуть не запнулась на следующем предложении.

Продолжая болтать, она чувствовала, что все сильнее отдаляется от матери. На противоположной стороне стола сидел чужой человек, красивая женщина. Ее мать. Несколько раз Сале показалось, что она видит орла, который постоянно отрывает от нее своим клювом маленькие кусочки и добросовестно жует. Каждый кусочек – тридцать восемь раз.

– Кажется, мне нехорошо, – пробормотала Сала. У нее закружилась голова.

Уже почти стемнело, когда она увидела сквозь полуприкрытые веки очертания матери, ускользнувшей за дверь. Немного позже послышался гул голосов. По старому паркету затопали ноги, из-под двери заполз тяжелый запах еды. Кто-то захлопал в ладоши. Сала слышала мягкий, странно вкрадчивый голос.

– Гитлер поддержит Франко вооружением, это мы давно узнали от наших посредников. Возможно, Муссолини поступит так же, тогда у нас будет фашистский фронт из трех разных государств. Против них

выступают большевики Сталина, которые, возможно, поддержат республику, только чтобы насолить Гитлеру и Муссолини, и тогда все перейдет в войну между фашизмом и коммунизмом. И черт его знает, чем это кончится. Но уж точно не синдикалистскими профсоюзами, как планировала НКТ^[12]. Это не избавление от государственной власти, за которое мы, бригадисты, хотели бороться вместе с НКТ. Так мы будем следовать не словам Бакунина, а сталинскому карманному марксизму, который – в этом нет никаких сомнений – станет лишь новой формой эксплуатации рабочих. Власть останется у государства, а государством в данном случае является Сталин, и снова один человек или небольшая привилегированная группа подчинят государство своей воле и используют свою монополию власти для подавления любого сопротивления.

После речи началась безумная неразбериха. Сала попыталась представить оратора. В ее воображении возник маленький, круглый человечек лет тридцати. Она представила, как сейчас, после долгой речи, вернувшей его в славное боевое прошлое, он вытирает пот со лба и падает в свое кресло. Он родом из крестьянской семьи, которая, как он постоянно подчеркивал, уже со второй половины XIX века инстинктивно придерживалась анархистских идеалов деревенского самоуправления.

– Уже тогда мои прадеды боролись против знатных землевладельцев, не позволяя себя эксплуатировать. Они защищали коллективизм и равенство, сражались с приватизацией участка земли, которая грозила всей деревне.

Сала услышала, как он вдруг снова вскочил. «Интересно, какие у него руки, – размышляла она. – Возможно, маленькие и пухлые». Он подскочил, чтобы снова добиться внимания. Она закрыла глаза, прислушиваясь к его голосу, который начал дрожать от пафоса.

– Дорогие друзья! Дорогие бойцы! Не забывайте, что анархизм в нашей стране успешно практиковался еще нашими предками. Введение капиталистического землевладения подорвало наши деревни изнутри. Мы собственными глазами видим, как человека лишают власти и выбрасывают прочь. Капиталисты заменяют человека машинами, которые делают работу быстрее и эффективнее. Они делят его на части, потому что целиком он им больше не нужен, им нужны только его руки, его пальцы или то, что еще взбредет им в голову. В

конце концов – а это их цель, даже не сомневайтесь, – они избавятся от него целиком, от работающего человека, так же как убили все человеческое в себе самих.

В уединении комнаты Сала с любопытством представляла созданный ею же образ этого человека. «Он не особо привлекателен, – думала она. – И вряд ли интеллигентен, судя по не слишком изысканным интонациям его болтовни». Но в его голосе слышалось воодушевление, он явно верил в правоту своего дела. Речь звучала совершенно иначе, чем в Германии выступления нацистов, азарт которых начал ее захватывать, выжигать жизнь холодным огнем.

– Антонио, мой друг, ты восхитителен, но сентиментальный урок истории, который ты провел нам с таким волнением, ничего не меняет. Твои республиканские дружки, чье одобрение ты пытался завоевать столь банальной речью, плевать хотели на маленького, толстого деревенщину, которым ты всегда для них останешься.

«Ха, – подумала Сала, – маленький и толстый, так и знала».

– Нам не нужны мастера самовосхваления, нам нужно лучшее оружие, а не ржавые ружья. Нам не нужны твои пылкие речи. Мы, интернациональная бригада, отважны – куда отважнее проклятых отрядов Франко. Мы боремся не за какое-нибудь красивое прошлое, мы боремся за будущее. У нас бывает лишь один сбой – сбой наших винтовок, которым давно пора на свалку. Если у тебя есть решение проблемы, говори, если есть винтовка – давай, а свои плаксивые речи побереги для какого-нибудь другого места.

Сала выпрямилась в кровати. Голос, такой решительный и мужественный, принадлежал ее маленькой упорной матери. Эта решительная женщина была ей незнакома. Стало тихо. Сала услышала треск кресел. Кто-то встал.

– Глубокоуважаемая товарищ донья Изабелла, – снова заговорил маленький толстяк, которого ее мать называла именем Антонио.

– Донья Изабелла... – на этом он запнулся.

– Избавьте меня от этого жеманства.

– Что вы себе позволяете, донья Изабелла!

– Что ты себе позволяешь, изолгавшаяся деревенщина! – По рядам пробежал шепот. – Что тебе вообще здесь нужно? Кто тебя пригласил? Тебе не стыдно за битву под Толедо? Как ты вообще смеешь сидеть с нами за одним столом и болтать об общих целях?

Наши друзья потерпели в Толедо унижительное поражение, потому что ты поставил им оружие, которое, видимо, достал из-под козбих задниц в хлеву своей любимой деревни. Радуйся, что мы сохранили тебе жизнь. Из-за тебя жены лишились мужей, а дети стали сиротами, и ты смеешь являться сюда и нести чушь про Бакунина или Маркса, хотя не читал ни строчки их трудов. Как и весь твой сброд.

– Вы ошибаетесь, уважаемая, очень ошибаетесь. Ха! Очередное доказательство вашей еврейской враждебности, вашей лживости, – его голос снова задрожал. – Ха, да я целиком прочитал все ранние работы Маркса и его новаторский труд, да, «Капитал», вот так, мои друзья! Я наполнил ими свой мозг, как тугое вымя козы.

– Но ничего не понял, ничего не понял! Можешь даже не стараться, разум не имеет ничего общего с титьками твоей козы!

– Мои друзья, мои друзья... Э... э...

– Мээээ, мээээ, мээээ, мээээ, – Иза изобразила козу под звонкий хохот гостей.

На следующее утро, когда Сала проснулась, было еще темно. Она осторожно потянула ноющие конечности. Во рту ощущался неприятный привкус. В сгибе локтя Сала обнаружила синяк. Похоже, кто-то сделал ей укол. Она в Мадриде, в квартире своей матери. Пахло лекарствами. На прикроватном столике стоял стакан воды, рядом с ним – открытый пузырек таблеток. В висках стучало. Сала больше не помнила, как она здесь оказалась. Осторожно сдвинув одеяло, она опустила ноги на деревянный пол.

Приподняв занавески, Сала увидела залитую солнцем улицу, по которой деловито сновали люди. Был день. Она открыла французское окно и вдохнула воздух раннего лета. В отдалении послышался грохот трамвая, запахло дегтем и асфальтом. В дверь постучали.

– Как ты? – подошла к ней мать.

Она казалась не такой сильной, как вчера. Страх Салы улетучился. Вместо этого она просияла. Она кинулась к Изе с распростертыми объятиями и больше не отпускала.

– Что случилось? – неуверенно спросила она, заметив, как бледна ее мать.

– Ты неожиданно упала без чувств со стула.

Сала заметила под глазами матери следы бессонной ночи.

– Часто у тебя такое бывает? – Они вместе сели на кровать.

– Нет. В первый раз. Я...

Сала почувствовала неуверенность, но не могла понять почему.

– Сначала ты вдруг утратила дар речи. При этом... – Иза осеклась, словно сомневалась, что сейчас подходящее время для подобного разговора. – Все было как тогда, в Берлине. Ты смотрела на меня большими глазами, словно хотела что-то сказать, но твой рот, ты...

Сала с изумлением поняла, насколько тяжело ее матери давался разговор о времени, когда она не могла говорить в детстве.

В голове снова завертелись мысли. Мать посмотрела на нее. Снова он, этот немой упрек, этот недовольный взгляд, это требование объясниться. Что она должна объяснять? Почему всем постоянно от нее что-то нужно? Что она может знать? Ничего. Вообще ничего. Сейчас произошло нечто нехорошее, она это чувствовала – всё неправильно. Она видела гнев – матери и ее собственный. Только что им обоим было грустно, но сейчас они злились, и Сала задавалась вопросами: кто закричит первым? Куда ей деваться? Она в чужой стране. Здесь она не знает ни дорог, ни улиц и площадей и едва владеет языком. Это ей нужна помощь. Ей. Внезапно Сала схватила мать за руку. И сжала так сильно, как только могла. Ее руки побелели, дыхание участилось. Мать неподвижно сидела перед ней.

– Что будем делать сегодня?

Голос Салы прозвучал громко и четко. Иза осторожно высвободилась из хватки дочери.

– Детка, ты немного перенапряглась. Возможно, все произошло слишком быстро. Твое письмо. Поездка. Слишком много всего, спустя столько лет. Это было ошибкой. Несмотря на благие намерения.

Сала снова схватила мать.

– Кто вчера приходил?

– Никто, – отодвинулась Иза.

– Но я же слышала голоса. Вы говорили о политике.

– Видимо, тебе приснилось. Возможно, это все отзвуки Германии.

– Нет-нет, вы говорили о Франко и анархистах, я точно слышала.

Голос Изы вновь обрел привычную твердость. Она поднялась и разгладила руками светлую юбку.

– Наверное, завтрак уже остыл. Но тортилья хороша и холодной. Мне пора, увидимся позже.

В ванной Сала уставилась на собственное отражение. Какое впечатление она производила на окружающих? Отто никогда не рассказывал ей. Отец тоже. Сала обхватила руками раковину, словно хотела разбить фарфоровое блюдо. Она снова всмотрелась в свое лицо. Опухшее и покрасневшее, но чувств никаких не заметно. Кто она? Дочь польской еврейки, которая бросила мужа – ее богемного отца, анархиста и атеиста, – хотя тот, похоже, до сих пор ее любит, но еще он любит мужчин и, возможно, был влюблен в Томаса? Она, Сала, дочь образованного протестанта, смеющегося над всем церковным, которую отправили в католическую школу для девочек и которая влюбилась в сына рабочего из самых мрачных дворов Кройцберга; которая – она почувствовала это с первого мгновения – испытывала постыдную тягу к возлюбленному своей матери, будапештскому еврею – он на двадцать лет моложе ее мамы и годится ей в братья, хотя официально является ее дядей; которая считается в родной стране человеком лишь наполовину, и никому не интересна история ее еврейства; и которая всего несколько месяцев назад страстно желала стать национал-социалисткой и была разочарована, что Союз немецких девушек не принимает таких, как она. Сала в гневе ударила кулаком по своему отражению и уставилась в разбитое стекло. Кровь с ее руки закапала на белую плитку. Торжествуя, что наконец почувствовала боль, она с облегчением опустилась на пол и зарыдала. В соседней комнате тихо открылась дверь. Кто-то вошел.

– Сала?

Она узнала звонкий голос Томаса. Вскочила и поспешно смыла с руки кровь. Бесполезно – кровотечение не останавливалось. Она хотела крикнуть, но отражение Томаса появилось в разбитом зеркале у нее за спиной. Сала быстро повернулась, пряча руку.

– Я... Я хотела... На зеркале был таракан... Я хотела убить его и... Куда же подевалась эта мерзкая тварь?

Она опустилась на колени и с преувеличенным рвением принялась искать под раковиной.

– Да, тараканы здесь бывают. Выползают из канализации через трубы. Неприятные и крайне проворные сожители. Я вызову морильщика.

Он вызывающе посмотрел на нее. Она смущенно улыбнулась. И вдруг почувствовала, как вокруг непривычно жарко.

– Я хочу нарисовать тебя, – его взгляд упал на ее кровоточащую руку.

Она посмотрела на него с восхищением. Он по-прежнему стоял в дверях ванной. Потом сделал шаг в ее сторону. Она не двигалась. На нем были темные широкие брюки и наполовину расстегнутая белая рубашка. Сала видела его кожу. Его руки казались слишком крупными для худого тела.

– Где моя мать?

– Уехала, – он наклонился к ней. – Пошли.

Томас взял ее за руку и молча провел по пустой квартире. Ее взгляд снова упал на голые лампочки. Он открыл дверь в длинную пустую комнату.

– Моя студия.

Он пропустил ее вперед. Она двигалась по комнате, как по танцевальному залу. Вдыхала запах красок и скипидара. Вдоль стены стояло несколько начатых картин, мольберт был пуст. Томас закрыл дверь.

Копыта могучего быка прогрохотали к коню. Всадник отчаянно попытался вонзить копьё в мускулистую шею животного. Послышался резкий свист. Все увиденное казалось Сале отвратительным, но она наслаждалась происходящим. Ей нравился этот спектакль, куда ее уговорили пойти мать с Томасом.

– Пикадор пытается попасть быку в мышцы, чтобы потом он не мог атаковать матадора, подняв голову, – объяснила Иза. Она была любительницей этого представления. Внезапно она схватила Салу за раненую руку.

– Что такое?

Прежде чем Сала успела ответить, люди вокруг них вскочили с мест. Отдельные крики, громкий шепот, свист и смех.

Сала тоже вскочила. Внизу, на арене, бык проткнул своими огромными рогами живот коня. Животное упало под всадником. Пикадор спасся, выпрыгнув из седла на деревянную балюстраду, пока подскочившие бандерильеро пытались отвлечь разъяренного быка от раненого коня криками и своими накидками. Захрипев, бык

повернулся и, немного поколебавшись, галопом понесся на ловко увернувшихся бандерильеро. Они воткнули свои бандерильи с острыми наконечниками ему в шею. Сала увлеченно переводила взгляд то на быка, то на раненого коня. Тот плелся по деревянному полу, и у него подкашивались то передние, то задние ноги. Из распоротого живота вывалились кишки, и животное тащило их за собой, словно огромный послед. Окружающее пространство раздирали лишь протестующие крики толпы, суматоха, которую Сала объяснить не могла.

Через несколько минут все успокоилось. Лошадь исчезла, бандерильеро выполнили свою работу, и все напряженно ждали последнего акта – появления матадора. Сначала Сала почувствовала разочарование. Он оказался невысоким и коренастым, его простые движения безучастными. Сала не понимала, что происходит. Казалось, бык тоже изменился. Повисла абсолютная тишина.

Сала наблюдала, как бык замер на некотором расстоянии от матадора. Оба стояли спокойно. Потом животное помчалось на человека. У Салы внутри все сжалось. Матадор не двинулся с места, словно прирос ногами к земле. Он спокойно снял с себя плащ и в последний момент плавно и мягко повернулся в сторону. Огромный бык пронесся совсем рядом с его телом, врезавшись в ткань.

– На такое способен только Энрике, смотри, его ноги не двигаются.

Иза схватила и крепко сжала раненую руку дочери.

– Это движение называется вероника, в честь нерукотворного образа Иисуса на платке. Он подпускает быка как можно ближе к своему телу. Если техника идеальна, на его белой рубашке должна остаться кровь животного. Смотри, еще и еще. Так он показывает, что контролирует быка. И вот полувероника напоследок. Да. Идеальная элегантность.

От последних слов Сала вздрогнула. Финальным движением матадор заставил быка остановиться и повернулся к зрителям. На его рубашке виднелась кровь.

Сала слегка повернула голову.

– Кажется, мне нехорошо, – прошептала она.

– Не сейчас, – сказала Иза.

Ее голос заставил Салу взять себя в руки. Томас наблюдал за ними со стороны.

Бык снова приготовился к атаке. Иза посмотрела на дочь.

– Лишь то, что мы можем потерять, заслуживает нашу полную любовь. Все остальное – изысканная скука.

Энрике провел еще серию вероник, заставляя быка описывать узкие круги, пока тот не покорился. Зверь отошел в сторону. Толпа воодушевленно забушевала.

– Я видела твой портрет, нарисованный Томасом.

– И что?

– Очень красиво, – она с улыбкой повернулась к Томасу.

– Расскажи мне о своем друге из Берлина, как там его зовут?

– Отто.

– Точно, Отто.

– Он бы тебе понравился.

– А должен?

– Я думала, это тебя обрадует.

– Ты такой же фрукт, как и твой отец.

– Бывают и менее лестные сравнения.

– Если бы я хотела тебе польстить, вспомнила бы о его лучших качествах.

– Почему ты так меня ненавидишь, что я тебе сделала?

– Есть две вещи, которые я не выношу. Вранье и жалость к себе.

– Ну, твоей жалости я не дождусь.

– Жалость раздается задаром на каждом углу, а вот зависть нужно заслужить.

– Кажется, это мне удалось.

Иза гневно на нее посмотрела.

«Воздуха, – думала Сала. – Воздуха».

Опустив голову, бык понесся на Энрике. Тот остановил его одним движением алой мулеты. Они посмотрели друг другу в глаза.левой рукой Энрике держал перед собой красный край мулеты, а правой достал шпагу. Иза сжала руку Салы. Бык бросился вперед. Энрике ускользнул от его рогов, чуть подался назад и до рукояти вонзил шпагу быку между лопаток.

– Прямо в сердце, – сухо сказала Иза. И выдохнула.

Энрике почтительно отвернулся. Бык содрогнулся, завалился на бок и перевернулся на спину, его ноги задергались в воздухе. «Словно ручки и ножки беспомощного младенца», – подумала Сала. Она искоса взглянула на лицо матери. Иза плакала.

– Хотя все причины рыдать были у *меня*. М-да. Ничего. Что было, то прошло.

Солнце едва вошло, как снова начало темнеть. Снежинки плясали за окном на декабрьском ветру. Украдкой бросив на меня взгляд, мама схватила печенье, которое выложила для меня на тарелку. Звездочка с корицей, пряник в шоколадной глазури и шоколадное сердце исчезли у нее во рту. Короткий смешок, пожимание плечами – никто не умел предаваться веселому безумию так, как она. Еще одна пригоршня орехов с сухофруктами, и можно наконец приниматься за чизкейк, спрятанный на самой дальней полке перед посещением медсестры. Последнюю дозу инсулина мама получила полчаса назад, а в шесть часов сестра Барбара заглянет проверить, все ли в порядке, и уколоть третий укол. «Учись страдать без жалоб». Из уст моей матери даже изречения из календаря звучат как упрек судьбе.

Мне вспомнилась моя первая поездка в Мадрид. Мне тогда было, наверное, года четыре. Большая пустая квартира. Голые стены без обоев, на которых висели одинокие темные картины маслом: мертвые животные на грубом столе, католический вельможа, средневековый неф, Иисус на кресте в божественном сиянии, воин в сверкающих доспехах, всадник, втыкающий копье в шею быка, автопортрет Веласкеса, маленькая собачка. После смерти моей бабушки Изалии – как я ее называл, – большинство этих картин сопровождали меня все детство и юность. Из традиционных иудейских предметов остались только два простых ханукальных подсвечника, которые стоят у меня по сей день. На потолке висели лампочки. На паркете и на диване лежали старые ковры. Сегодня интерьер описали бы как минималистский, богемный или просто крутой. Тогда мои родители, поджав губы, называли его «очень спартанским».

У окна столовой размещался стол с многочисленными стульями разных эпох – а во главе, в полутьме, было постоянное место моей бабушки. Я помню: каждый день ровно в четыре часа она молча садилась туда, чтобы пообедать, с идеальной прической и в утреннем халате.

– Каждый кусок нужно пережевывать тридцать восемь раз – и только потом глотать.

Предостерегающий голос матери вернул меня обратно в Берлин.

– Тогда человек доживет до ста. Это был ее девиз, – добавила она. – Сколько ей на самом деле было лет, не знает никто. Она ведь регулярно подделывала паспорт. Когда она лежала на смертном одре, главврач спросил ее, сколько ей на самом деле лет. Она возмущенно посмотрела на него и пробормотала: «Около девяноста, но кому нужно это знать?»

– Зачем ты тогда к ней поехала?

– Заба-а-авно, да, – моя мать умолкла и отодвинула от себя тарелку, словно воспоминания испортили ей аппетит. – Сама не знаю, – она рассеянно теребила в руках блузку. – Не знаю, зачем я полетела в Мадрид, когда она лежала при смерти. Может, она позвонила? Не помню. М-да. В любом случае, последние четыре недели я жила у нее и сказала медсестре, что та может спокойно пойти погулять или заняться другими пациентами. У меня ведь было образование, я знала, что делать.

– Вы говорили о прошлом?

– Сомневаюсь. Нет. Хотя, знаешь, точно не помню. Бо-о-оже, – она коротко усмехнулась. – После маминой смерти я нашла ее алмазы и бриллианты в старых пузырьках из-под пенициллина, ну знаешь, стеклянных. Умо-о-ора. Она была такой жадной. Совсем другой, чем мой отец. – Она снова принялась теребить блузку. – Она всегда обращалась со мной как с чужой. Когда я приехала к ней в Мадрид, незадолго до отъезда во Францию, она представляла меня друзьям как свою племянницу. Племянницу! Да, ты не ослышался. Это сильно. Племянницу, – неожиданно моя мать встала. – Болезнь Крона дает о себе знать, до скорого.

Она исчезла в туалете.

Мой взгляд бродил по фотографиям бабушки, шпалерной развеской размещенным вплотную друг с другом, и прошлое стало ближе. Вот я еду на синем слоненке по парку королевского дворца в Мадриде. На груди золотые латы, в левой руке пластиковый меч, и голова гордо несет шлем. Позднее сестра утверждала, что у меня никогда не было слоненка, и уж тем более синего, и что это она каталась на огромном слоне по манежу цирка, пока я сидел дома. Мама

смеялась над нашими историями: слон действительно был, но не в цирке и не в парке Каса Реал, нет, они с нашим отцом и Изой шли на корриду, бой быков, на которой впервые выступал матадором и должен был убить быка молодой Эль Кордобес, и наткнулись на одиноко бредущего по улице слона, который устроил настоящий хаос, но остался незамеченным как нашим отцом, так и бабкой – они были увлечены спором из-за какого-то пустяка.

Я перевел взгляд на автопортрет Веласкеса. Он терял свое величие рядом со старинным немецким деревенским шкафом моего деда. В нижнем правом углу светились на коричневом фоне цифры 23. На предполагаемом оригинале в Музее изящных искусств Валенсии, написанном в точно таком же формате, в том же самом месте указан инвентарный номер 28, что указывает на собрание Каса Реал, испанского королевского дворца. Моя мать вновь и вновь указывала на маленькие дефекты – возможно, льняной холст повредила жара. Тогда она слегка приглушенным голосом добавляла, что в XVIII веке в одном крыле королевского дворца вспыхнул пожар и многие картины королевского придворного живописца Веласкеса оказались безнадежно испорчены, но не все. И это магическое *не все* легло в основу нашего семейного романа. Неважно, что происходит, – на крайний случай у нас есть Веласкес. На старости лет моя мать периодически говорила отцу, что на худой конец они всегда могут «съесть» дом – его архитектура напоминала пряничный домик ведьмы. «А если этого не хватит...» – «Да-да, Веласкес», – нервно ворчал отец.

Всю свою жизнь моя мать готовилась, что в определенный момент может потерять все. Людей, отечество, имущество, идентичность. В некотором смысле это стало ее второй природой. Кризисов она не боялась, страх рос лишь в повседневности, и иногда она без видимой причины впадала в оцепенение. Ее кожа бледнела, взгляд становился пустым, тело цепенело в ожидании новой катастрофы, следующего краха. Мама знала лишь три состояния – замереть, атаковать или бежать, и среднего настроения у нее тоже не бывало.

– Итак, – она вышла из туалета, плюхнулась в свое любимое зеленое кресло и жестом предложила мне сесть на диван. Надо мной висели две части Благовещения Девы Марии – третья часть триптиха куда-то запропастилась. Традиционное, выполненное сдержанными цветами изображение с бесформенным ангелом преклонного возраста

перед Марией и двумя коровами, безучастно взирающими на жирного голубя, сидящего у Девы на плече.

– Да. Мадрид оказался провалом, настоящей Марианской впадиной. Вечером, после боя быков, она попыталась поговорить со мной еще раз – вернее сказать, засыпать меня дикими обвинениями, – и я сказала: «Сомнения у тебя хоть отбавляй», отвернулась и хотела просто уйти. Она схватила меня, повернула к себе и ударила рукой с кольцами по лицу. Тыльной стороной ладони. Да-а-а... Мы стояли друг перед другом, словно две боевые лошади. Та-а-ак-то, друг мой сердечный. Потом я отправилась в свою комнату и собрала чемодан. Короткое интермеццо. И ничего больше. Возможно, лишнее. Да, – она сделала паузу. – В Берлине все показалось мне чужим. Слово ускользнуло сквозь пальцы. Ничего не удержать. Нигде. Даже твоего отца. Он изо всех сил старался меня развеселить, доставал билеты в театр, приглашал меня на концерты, хотя его не слишком интересовала музыка, под которую нельзя танцевать. Танцором он был великолепным. Великолепным, говорю тебе. Но чем сильнее он старался, тем больше казался мне чужим. Я сама не знала почему.

Она устало откинулась на спинку кресла. Печенье на столе ее больше не интересовало. Она молча погрузилась в другой мир. И казалось, увиденное там ее сильно волнует. Ее зрачки расширились, брови и плечи приподнялись. Потом дыхание участилось, брови и плечи опустились, глаза прищурились, словно она пыталась разглядеть, что происходит у нее внутри, голова откинулась назад, будто она неожиданно кого-то или что-то увидела.

– Хо, хо, хо.

– Что такое? – спросил я.

Казалось, она меня не слышит. Я встал, принялся беспокойно ходить туда-сюда. Думать о собственных чувствах было тяжело. В тот момент я вообще сомневался, что что-то чувствую. Я посмотрел на Веласкеса. Снег за окном прекратился. Я слышал за спиной дыхание матери. Ритмичные хрипы, шорохи и скрежет. Я замер, словно окаменев. А вдруг она умрет прямо сейчас, у меня за спиной? Мысль поразила меня, словно молния. Хрипы усиливались. И вдруг прекратились. У меня перехватило дыхание. Я начал медленно поворачиваться. Хрипы продолжились. Сейчас я ее увижу, она не умерла, она еще жива, моя мать, которая родила меня в муках, которая

покидала меня так часто, что я не могу об этом думать, покидала, бессильно стоя передо мной или прячась за своими париками, покидала во все те моменты, когда ее взгляд становился пустым и тихим, как смерть, покидала, когда в ее поисках я становился столь же одинок, как и она сама. Наконец я повернулся к ней. Она мне улыбалась. На улице мужчина убирал большой лопатой снег. Она глубоко вздохнула, за окном ритмично скребла лопата.

– Что ты так смотришь? Прямо жуть берет, – она рассмеялась. – Язык проглотил?

Она права. Мы пугаем друг друга, когда рискуем погрузиться в прошлое. Чего я ждал? Что мешало просто забыть, зачем я пытался встретиться с ним с помощью путешествий, вопросов и образов былого, зачем пытался его растолковать? Я сопротивлялся, не мог смириться – вернее, не мог вынести. Но мы постоянно все забываем, разве это плохо? Забываем то, чего не хотим или не можем знать. Наше забвение – оконная замазка, раствор между камнями, из которых мы складываем несущие стены. Мы забываем боль – воспоминания о ранах слишком опасны.

– Хочешь послушать музыку? – спросил я.

– Да, было бы здорово.

– Какую?

– Можно «Песни об умерших детях» Малера, мой отец их очень любил.

Я нашел у нее в шкафу пластинку. Старую запись Фишера-Дискау. В детстве я терпеть не мог его холеный баритон. Игла царапала по сотни раз проигранной дорожке, добавляя слишком правильному голосу немного жизни. Мать слушала с закрытыми глазами.

Вскоре она произнесла:

– Красота.

Дома я взял собак и побежал на озеро. Свежий снег скрипел под ногами. Я приблизился к берегу. За несколько дней слой льда стал еще толще. Снегопад прекратился. В ясном небе сверкали звезды. Периодически слышался треск, словно разрывались канаты. Собаки побежали на лед, утопая в снегу, и я осторожно двинулся за ними. Наст стонал подо мной, словно уставший осел, целыми днями кружащий вокруг колодца с водой. Я подумал о животных, которые, застигнутые

врасплах морозом, оказались в плену и застыли под толстым слоем снега. И поспешил от этих мыслей обратно, в маленькую двухкомнатную квартиру своей матери, словно «Песни об умерших детях» еще звучали, и она начала рассказывать, как поселилась в комнате, где умирала ее мать, как мыла ее каждое утро, каждый вечер и каждый раз, когда та пачкалась. Она следила за капельницами, меняла канюли, переставляла сосуды, таскала ее в туалет, мыла пол, пыталась ее кормить, гладила ее по голове, когда та гневно выплевывала еду, которая ей не нравилась. Она привыкла курить, чтобы бороться с усталостью, не обращала внимания на кашель и спазмы внизу живота и глотала таблетки, чтобы преодолеть многодневный, все более болезненный запор. Она терпела зловоние угасающей жизни, безмолвие, равнодушие, ненависть. Хотела ли она наказать Изу своим присутствием? Вскрыть перед ней бездну многолетней материнской вины, чтобы она содрогнулась и опустила взгляд перед лицом смерти, прежде чем тьма поглотит ее навсегда? Насколько тонка граница между любовью и ненавистью?

Мать рассказала, что стоял необыкновенно жаркий и душный мадридский день. Свет озарял крошечную комнатку, волосы Изы сливались с белизной простыни, подушки, пола и стен, и лишь огромные глаза оживляли ее ускользающий облик, когда она повернулась к дочери. Она с поразительной силой схватила мою мать за руку, вонзила ногти ей в предплечье, сделала глубокий вдох и заговорила.

– Не знаю, сколько еще это продлится, но я почему-то не умираю.

Сала спокойно на нее посмотрела.

– Ты меня не отпускаешь.

– Ты против?

Иза бросила на дочь испытующий взгляд. На ее лице промелькнула нежная ирония. Потом она отвернулась к стене и умерла.

Я стоял посреди озера, словно заледенев. Когда я вышел из оцепенения, меня окружила тьма. Тени деревьев обступили меня под светом луны. Я со всех ног побежал назад.

Сначала возник запах. Она стояла на платформе Лионского вокзала. Париж пах не так элегантно, как представляла Сала, он пах трудом и асфальтом. Она подумала об Отто. Он так старался ради нее, но все тщетно. В Берлине ей больше не место. А он заканчивал учебу в медицинском. И не мог поехать с ней. Действительно ли не мог? Или не хотел? Сала почувствовала, как кто-то слегка коснулся ее левого плеча.

– Привет, детка, как добралась?

– Лола?

Ла Прусак, как называли ее тетю в Париже, была одета в элегантный бледно-желтый костюм из тонкой материи с филигранными золотыми нитями. Вертикальные складки юбки по колено, расширенные кверху лацканы и приталенный двубортный пиджак с легкой иронией намекали на мужской деловой костюм и указывали на уверенную в себе женщину, которая не теряет серьезности даже в игре. На верхнем левом лацкане красовалась изумрудная брошь, под пиджаком виднелся синих оттенков свитер из тончайшего кашемира. На голове у нее был боннет, своеобразная шапка с помпоном, из-под которой виднелись черные волосы длиной до подбородка. Уже больше десяти лет Лола работала лично на Эмиля-Мориса Эрмеса, начав в непривычной для тех времен роли «адвоката цвета». Позднее, став «модельером», она создала в 1929-м первую для модного дома женскую коллекцию, вскоре после этого – первые женские шелковые шарфы, а в начале тридцатых – женские сумки с геометрическими вставками, вдохновленные нидерландским художником Питером Мондрианом. Два года спустя, в 1936-м, когда родился Ив Сен-Лоран, будущий создатель платьев с рисунками Мондриана, она открыла собственный модный бутик на улице Фобур-Сент-Оноре.

– Есть хочешь? Давай заедем сначала в «Дё маго»^[13], чтобы подкрепиться. Ты не... *épuisée*^[14]? Господи, как же сказать, мой немецкий стал просто кошмарен, *je cherche mes mots* – я подыскиваю

слова, *c'est pas possible* – просто невозможно. Как у тебя с французским? Ну ничего, научишься.

Сале хотелось скакать от радости. Эта женщина ей нравилась. Как мало она напоминала ее мать! У нее внутри все бурило, словно шампанское.

– Вижу, смеяться ты можешь, значит, скоро и заговоришь. Ты ведь можешь теперь разговаривать, верно? *Mon Dieu* – боже мой – в каком ужасе была твоя мать, когда в детстве ты не произносила ни слова. Ничего, даже «мама», она была очень взволнована, когда писала мне из Швейцарии. Как у нее дела? Я целую вечность ничего не слышала от нее.

– Думаю, все хорошо, – ответила Сала. Ей не хотелось рассказывать об их ссоре в Мадриде – она была рада, что этот этап позади. Теперь она здесь. В Париже.

– Ты разговариваешь точно, как она. Умора. Так ведь говорят в Берлине, верно? Умо-о-ора.

Сала внутренне содрогнулась от такого сравнения и чуть не ударила по пальцам мужчину в ливрее, который осторожно взял у нее чемодан, чтобы положить его в багажник помпезного автомобиля.

– *Merci*, Чарльз, – поблагодарила Лола, проскользнув сквозь открытую дверь на бордовую кожу сидений. В Берлине Сала не знала ни одного человека с собственным автомобилем, и уж тем более с шофером.

– Это твоя машина?

– Да, – ответила Лола.

– Я еще никогда не сидела в такой машине. Безумно красиво, – сказала Сала и вскрикнула от радости при мысли, насколько декадентским сочла бы происходящее ее мать.

– Детка, в Париже ты испытаешь и не такое, это я тебе обещаю. Мы сделаем из тебя истинную француженку.

Даже поездка до «Дё маго» оставила глубокие впечатления. Сала приклеилась к окну машины и жадно рассматривала спешащих по улицам людей и дома разных архитектурных стилей – от Средневековья и Ренессанса до зданий на широких бульварах Османа середины XIX века. Это был не город, а целый мир. Все двигались совсем иначе, чем в Германии, люди на улицах целовались и смеялись,

они обладали какой-то естественной элегантностью, были менее театральны, чем испанцы, игривы и вместе с тем серьезны – *sérieux*. Даже в этом слове пряталась улыбка – она магическим образом рождалась на губах благодаря диакритическому знаку над французской «е».

Лола зашла в кафе на площади Сен-Жермен, не замечая торопящегося к ним гарсона, который хотел забрать их одежду, но успел лишь пробормотать: «Мадам, желаете?» Подыскивая свободный столик, она махнула рукой нескольким знакомым – те почтительно с ней поздоровались. Они заняли место у окна. Напротив них под потолком размещались две тщательно вырезанные деревянные фигуры почти человеческого размера. Лола проследила за изумленным взглядом племянницы.

– Патроны, – спокойно пояснила она.

Сала удивленно на нее посмотрела.

– Это хозяева? Правда?

Лола тихо рассмеялась.

– Запомни, *ma chère*^[15], наивность приветствуется здесь, лишь когда она искренняя, и нет – это два китайских торговца, в честь которых названо кафе, раньше здесь была лавка дальневосточных, в основном китайских, товаров, и обе фигуры сохранились еще с того времени.

Официант, которого проигнорировала на входе Лола, принес устрицы. Сала восхищенно ойкнула.

– Мы же ничего не заказывали.

Похоже, официант понял ее удивление.

– Мадам всегда начинает с устриц, – пояснил он, откупоривая бутылку «Сансера».

– Человек ко всему привыкает, а бокал «Сансера» поднимает дух. Остальное – смесь греха и отговорок.

Она подняла бокал, глядя на Салу, сделала большой глоток и с элегантным аппетитом начала есть устрицы.

– Чистейший афродизиак, *ma p'tite*^[16], и с каждым куском Роберт предается все более непристойным аналогиям.

Сала вопросительно на нее посмотрела.

– Объяснить поточнее или тебе нужен экскурс в женскую анатомию?

Покраснев, Сала опустила взгляд на свой бокал с вином и молча принялась за устрицы.

После *casse-croéte*^[17] (как Лола высокопарно назвала обед – они заказали дорадо на овощной подушке и выпили еще полбутылки «Сансера») Лола направилась напрямик на Фобур-Сент-Оноре, 93, в свой магазин.

– Заскочим ненадолго, я покажу тебе новую коллекцию. Через полчаса придет Уоллис, потом Чарльз отвезет тебя домой, и Селестина покажет тебе твою комнату.

– Кто это Уоллис? – спросила Сала.

Звук ее голоса заглушил дверной звонок или тетя просто проигнорировала бестактный вопрос?

Зайдя внутрь, Сала не смогла скрыть разочарования. Она ожидала увидеть что угодно, но только не эту маленькую грязно-белую комнатку. Похоже, сухая деловитость была их семейной чертой – здесь тоже свисали с потолка голые лампочки. Лола вызывающе на нее посмотрела.

– Тот, у кого стоящие товары, может себе позволить не демонстрировать все в витрине, *ma p'tite*.

Из задней части бутика, где, вероятно, находились кабинки для переодевания, к ним спешно подскочили две сдержанно одетые ассистентки, чтобы встретить начальницу и ее гостью.

Сала последовала за тетей в узкий проход, который вел в чуть более просторную заднюю комнату. У одной стены стояло простое зеркало на металлическом каркасе с колесами, другие были встроены в дверцы шкафов, в углу разместились бархатная кушетка цвета бутылочного стекла, рядом с ней – круглый столик из светлого дерева. Сала заметила, как мягко выделялся на этом фоне ее силуэт. Только она хотела что-то сказать, как двери вдруг открылись, и у Салы перехватило дыхание. Перед ее недоверчивым взором возник незнакомый мир – таких цветов она еще не видела. Желтый, зеленый, красный, синий – но не те желтый, синий, зеленый и красный, что знакомы людям в повседневности: каждый оттенок был уникален, словно заново родился или обрел индивидуальность в руках Лолы. Эта свежесть манила, притягивала, ткань словно кричала: посмотри на меня, прежде чем трогать! По спине у Салы пробежала слабая дрожь.

– Уоллис.

– Привет, дорогая.

Голоса вырвали Салу из созерцательных размышлений. Она обернулась. Она осталась в маленькой комнатке одна. Шкафы были снова закрыты. Сквозь приоткрытую дверь она заметила в коридоре Лолу с прямой, энергичной женщиной, красота которой заставила Салу изумленно отшатнуться. Дверь распахнулась, и стройная брюнетка непринужденно протянула ей руку.

– Доброе утро, детка, – прозвучало с явным американским акцентом. Сала пролепетала свое имя и впервые в жизни сделала книксен. У нее в ушах прозвучали сдержанные слова тети.

– Герцогиня Виндзорская.

Роберт был очарователен. Сала представляла профессора биологии совсем иначе. Селестина провела Салу через внушительную прихожую, мимо столовой, салона и библиотеки, по прямому бесконечному коридору, вдоль спален с собственными ванными до огромной гостевой комнаты – ее нового жилища. Сала предвкушала первый совместный ужин, когда ее восхищенный взгляд упал на четырехугольный платок – Селестина со сдержанной вежливостью сообщила, что Лола приготовила его специально для племянницы. Сала накрыла им шею и плечи, чтобы покрасоваться перед зеркалом, когда в ее дверь деликатно постучали.

– Сала?

Мягкий, приглушенный голос произнес ее имя с явным французским «с», прямо как *le sang* – кровь. Прозвучало изысканнее, чем в Германии. Размышляя, почему немецкий язык считается столь неблагозвучным и не тверже ли звучит ее имя по-французски, Сала открыла дверь и изумленно уставилась в узкое лицо невысокого, стройного мужчины лет пятидесяти, возможно, моложе. На нем были серые фланелевые брюки и лиловая рубашка под темно-синим жилетом, все из кашемировой шерсти двойной вязки, на ногах – тапочки из красного бархата, а на носу – круглые очки в роговой оправе, за стертыми от постоянной чистки стеклами которых сверкали любознательные глаза.

– Роберт, – он протянул ей свою большую руку, которая казалась такой сильной, словно он валил ею деревья, а не вставлял в микроскоп тонкие пластинки. – Как прошла поездка?

Сала бросилась ему на шею. Все произошедшее с момента приезда казалось ей знакомым, словно пейзажи из раннего детства, увиденные вновь после долгого отсутствия. Неужели она действительно приехала в этот чудесный город впервые? Поверить невозможно.

– Впечатляюще.

– Ваш французский почти идеален, *ma chère*, должно быть, способность к языкам у прусаков в крови – мы, французы, до сих пор

удивляемся, что на нашем языке говорит не весь мир. Даже евреи, которые всегда говорят на нескольких языках, изъясняются здесь в лучшем случае на посредственном английском. Ужасно.

Он звонко рассмеялся. Его голос оказался гораздо глубже, чем могла ожидать от его сублильной фигуры Сала.

– Мой немецкий отвратителен, *si vous avez besoin de quoique ce soit*, – но если вам что-нибудь понадобится – я буду в библиотеке. – Он мягко опустил большую руку Сале на плечо и расцеловал ее в обе щеки. Прежде еще никто не обходился с ней с таким почтением, а смесь немецкого и французского звучала просто очаровательно – словно оба мира объединили все лучшее, порождая новое звучание.

– Роберт, не могли бы вы передать мне масло?

Сала попыталась скрыть удивление. Она не ослышалась, ее тетя действительно обратилась к своему мужу на «вы»?

– Держи, *ma chère*. Надеюсь, ты не совсем выдохлась из-за клиенток?

Действительно. Доверительное «ты» не используется из-за ее присутствия или вообще не принято в знатных семьях?

– Я провела весь день с Уолли. Она все требовательнее и взыскательнее. С другой стороны, два дня в месяц, проведенных с ней, позволяют отказаться от всех прочих клиенток.

– Ваш друг Шарлю оставил вам сообщение...

– Дорогой друг, прошу, не надо его так называть.

– Вечно в поисках этот барон.

– Роберт, ревность вам не к лицу.

Они обменялись мимолетными улыбками. «Какая близость», – подумала Сала. Даже в ревности Роберт оставлял жене столько свободы, что это постыдное чувство казалось скорее ироничной цитатой, чем собственническим жестом. Но кто такой этот Шарлю? И почему Роберту не следует называть его этим именем?

После скромной трапезы Селестина вынесла роскошную фруктовую тарелку.

Сала не наелась – немного фуа-гра и несколько ломтиков копченой рыбы показались ей легкой закуской и лишь разожгли аппетит. Жизнь с французской Прусак оказалась столь же спартанской, как и с ее матерью в Мадриде – конечно, элегантнее, но явно не

сытнее. Сала потянулась за вторым яблоком, но Лола ее мягко остановила.

– Нет-нет, можешь есть фрукты, сколько захочешь, но никогда не бери один и тот же дважды, *ma petite*, а то люди могут подумать, что ты жадничаешь.

Сала испуганно опустила яблоко обратно на блюдо.

В следующие дни она бесцельно бродила по своей новой родине. Сознательно и думая об отце, каждое утро она проводила по два часа в музее Лувра, гуляла по берегу Сены вдоль букинистических лотков, обыскивала блошинный рынок и с благоговением записалась в Сорбонну вольнослушательницей курсов по французскому и истории искусств.

– Почему вы с Робертом обращаетесь друг к другу на «вы»?

Сала и Лола сидели под полуденным солнцем на террасе бистро «Шез Лорен». Пребывая в прекрасном настроении, они наслаждались первым бокалом «Сансера». Взгляд Салы с жадностью пробежал по меню. Похоже, здесь не ведали, что такое продуктовая норма. Сала выбрала морские гребешки в анисовом соусе, Лола заказала тарелку крудите.

– Его родители бы не поняли, если бы мы говорили на «ты», Роберт родом из очень старой французской семьи. Сначала это давалось мне непросто, но потом я привыкла. Это защита от вульгарности, которой заканчивается большинство браков. К тому же у людей постоянно сохраняется ощущение, что они только познакомились. Весьма ценное преимущество, увидишь сама. В наши дни люди часто расстаются, думая, будто знают друг друга слишком хорошо. Однажды ты поймешь и вспомнишь меня.

Во время еды Сала набралась храбрости и спросила про Шарлю, мужчину, о котором Роберт довольно колко отзывался во время первого ужина.

– Иза тоже всегда была любопытной, – рассмеялась Лола, подняв указательный палец.

– Он действительно барон?

Лола отмахнулась.

– Нет, Роберт так дразнится. Барон де Шарлю – персонаж Марселя Пруста, в котором тот изобразил свои порочные и похотливые

стороны. У него получилось настолько хорошо, что с тех пор во Франции так называют всех, кто вступает в беспорядочные связи с мужчинами. Твой отец ведь тоже Шарлю?

Сала покраснела.

– Почитай Пруста, *ma p'tite*, и поймешь гораздо лучше. Ален – скульптор, он работает для монетного двора. Несколько лет назад я устроила его в Эрмес, чтобы видеться постоянно. И я до сих пор с ним. Два мужчины, разные, как огонь и вода.

– И кто Роберт?

– Вода.

Обе расхохотались.

– А Роберт не ревнует?

– Прежде всего, он великодушен и, возможно, совсем немного ревнив. – Лола вновь рассмеялась. – Но что за жизнь без щепотки ревности? В любви без боли не обойтись, иначе она станет на вкус привычной, как жареная картошка.

Что сейчас делает Отто? Почему она не задавалась этим вопросом прежде? Он привлекателен внешне, хотя и небольшого роста. К тому же, может рассмешить любую женщину. В его руках можно взлететь под любую музыку на любом танцполе, и в постели он ничем не хуже. Женщины сразу такое чувствуют.

– Я бы так долго не выдержала.

Лола насмешливо на нее посмотрела.

– Я тоже.

Первые три месяца пролетели незаметно. «Уже ноябрь», – думала Сала, очнувшись от короткого сна. Она отодвинула в сторону занавеску. За окном испарялась утренняя роса, словно лето хотело вернуться и в последний раз выманить на улицу элегантных дам в одежде новых расцветок, придуманных Лолой.

Немного позже, тем же утром седьмого ноября, когда семнадцатилетний Гершель Гриншпан пронесся мимо неторопливо гуляющего посла Иоганна фон Вельчека, взбежал по ступеням посольства Германии в Пале-Богарне и взволнованно потребовал разговора с секретарем, после чего его без дальнейших формальностей проводили прямо в кабинет к Эрнсту фом Рату, которого Гриншпан обозвал «грязным бошем» и застрелил пятью выстрелами из купленного днем ранее за 235 франков револьвера, заявив, что действует от имени двенадцати тысяч преследуемых евреев, Сала накинула на плечи подаренный Лолой шелковый платок Эрмес, нацепила на нос восхитительно экстравагантные, по ее мнению, темные очки и отправилась на восток от французского парламента, мимо резиденции посла, к Гар д'Орсе, знаменитому вокзалу, построенному в 1900 году ко Всемирной выставке. Пока она предавалась воспоминаниям, наблюдая за проходящими и уходящими поездами, Гершеля Гриншпана схватили. В кармане пальто у него была открытка от сестры, которая с ужасом сообщала о принудительной депортации из рейха нескольких тысяч польских евреев, сначала на нейтральную территорию между Германией и Польшей, а через несколько дней – в лагерь под Збоншином, на западе от Познани. Она в панике зачеркнула сроки, в которых умоляла брата прислать им через дядю Авраама хоть немного денег.

Сала любила вокзалы. Скрежет поездов навевал воспоминания о Монте Верита, Берлине и Мадриде. Иза, Отто, Сала, Жан. Странные люди, подумала она. Прогнанные отцами, брошенная матерью, с погибшим до рождения отцом. Интересно, как выглядят ее бабушка и дедушка из Лодзи? Сала решила тем же вечером попросить у Лолы фотографии.

В музыку железной дороги вмешался вой полицейских сирен. Несовершеннолетнего Гершеля Гриншпана поместили в тюрьму для подростков Фрэн под Парижем. Следователь Теснье в тот же день предъявил ему обвинение в покушении на убийство, а два дня спустя, после смерти Рата, оно было переквалифицировано на умышленное убийство. Перед этим Гитлер отправил в Париж своего личного врача Карла Брандта и хирурга Георга Магнуса. Они полностью взяли на себя лечение и заботу о пациенте, который скончался удивительно быстро.

Вечером 10 ноября Селестина подавала в библиотеку Лоле и ее мужу Роберту ежедневный сухой martini – по указанию Лолы она всегда делала его из 5 сантлитров лучшего лондонского сухого джина и ½ сантлитра вермута, когда вбежала раскрасневшаяся Сала.

– Мяты для мадемуазель?

Сала кивнула. Она заметила всеобщую растерянность. Опустив голову, Селестина исчезла. И только тогда Сала заметила разбросанные по полу газеты. В заголовках то и дело мелькали имя Гриншпана, Хрустальная ночь и Гитлер, а еще Геббельс, Геринг и Гиммлер.

Сала опустилась на колени рядом с тетей и начала читать. Уже 8 ноября Йозеф Геббельс отправил в Париж юриста Фридриха Гримма, который должен был представлять на суде интересы Германской империи. Вместе с французскими адвокатами Гримм подал дополнительный иск от родителей и брата фом Рата. Таким образом, предполагал комментатор, Геббельс хотел доказать, что за убийством стоит всемирный еврейский заговор, и развязать из-за покушения войну. Начались разорения и осквернения синагог и еврейских молелен, залов заседаний, магазинов, квартир и кладбищ, которые достигли своего пика в ночь погрома с 9-го на 10 ноября, хотя начались еще 7-го числа в Кургессене и Магдебурге и пронеслись по всей Германии. Сала потянулась за следующей газетой. Журналист возмущенно описывал подлость штурмовиков СА, СС, членов гестапо и гитлерюгенда, которые вышли на улицы в штатском и, изображая обычных горожан, быстро разожгли пожар народного гнева. В другой газете цитировали чиновника из министерства пропаганды: «Стрельба в немецком посольстве в Париже не только положит начало новому

немецкому отношению к еврейскому вопросу, но также, хочется надеяться, станет сигналом для тех иностранцев, которые до этого момента не признавали, что взаимопониманию народов препятствует лишь международный еврей». В нескольких местах было написано: «Сотни евреев были убиты или вынуждены совершить суицид». Буквы расплывались у Салы в глазах. Она понимала, что должна плакать, но ничего не чувствовала. И сидела, тупо уставившись на узор ковра в стиле ар-деко. Чуть позднее они сели за стол. На ужин подавали морской язык.

– Bravo, Селестина, на вкус, как море, – сказал Роберт. – Восхитительный вкус, – буднично добавил он. Его голос одиноко затих в элегантной столовой, а потом слышался лишь стук приборов о тарелки. Сала не съела ни кусочка. После еды она молча отправилась спать.

Сала лежала без сна. Как долго она пялилась в потолок? Она не знала. В левой руке она сжимала письмо от Отто. Он писал из Берлина – рассказывал о последних событиях и говорил, как скучает. О чем она думала, читая его строки? Неважно, что могло из этого выйти: оно исчезло, будто никогда не было. Она периодически размышляла о возвращении. Но теперь все. С утра начнется ее новая жизнь здесь, в Париже. Она потеряла родину за одну ночь.

Сала изучала в Сорбонне французский и испанский. Она овладела обоими языками и стала говорить без акцента, и вскоре в ней невозможно стало распознать как немку, так и еврейку. Париж стал ее новым отечеством. Она ходила с Лолой во Франсез, Театр Мольера, как называли здесь Комеди Франсез. Она посещала выставки и концерты, периодически помогала в магазине, познакомилась с богемными друзьями Лолы – Колетт, Кокто и Жаном Маре.

Прошло два года. Мир трещал по швам, но солнце продолжало светить, как прежде. Немецкие войска вошли в Париж под звуки марша «Эдельвейс». Правительство приняло режим Виши, маршал Петен подписал перемирие. Во Франции тоже появились продуктовые карточки и исчезла свобода.

«Немецкий попутчик – куда податься в Париже?» – прочла Сала заголовок брошюры, которую оставил на соседнем столике солдат. Она принялась с любопытством листать ее. «Для большинства из нас Париж – незнакомая земля. Мы приходим сюда со смешанными чувствами – превосходства, любопытства и лихорадочного ожидания. Даже название пробуждает особые ассоциации. Париж – наши деды видели его во время войны, подарившей немецкому королю императорскую корону. Париж – это слово всегда звучало загадочно и необыкновенно. Теперь мы проводим здесь свободные часы. Рю Рояль проглатывает и снова выплевывает бесконечный поток пешеходов и автомобилистов. Елисейские поля, Триумфальная арка, площадь Согласия, район Мадлен, широкие бульвары и грандиозные витрины роскошных магазинов, парк Монсо, площадь Республики, кладбище Пер-Лашез. Мы, солдаты, можем пойти куда угодно – в оперу, в театр на бульваре или в Фоли-Бержер. Нам не нужен путеводитель, мы познаем красоты города без посторонней помощи. И среди простой и нежной жизни этого города огней наше немецкое естество следует лишь одному девизу: не впадать в сентиментальность. Пришла эпоха стали. Направь свой взгляд на четкую, ясную цель. И будь готов к борьбе». Пока Сала сердито качала головой над банальностями, дверь распахнулась. Ввалились два подвыпивших немецких солдата и,

широко расставив ноги, принялись по-хозяйски осматривать заведение. Взгляд парней остановился на двух молодых девушках. Солдаты направились к столику и, ухмыляясь, над ними нависли.

– *La place ici... c'est libre... chez vous, Madame?* – выдавил один из них, слегка поклонившись и изо всех сил стараясь вести себя вежливо, а потом объяснил товарищу, что спросил, свободно ли место рядом с дамами. Француженки ничего не ответили. Младшая пялилась в тарелку, а старшая внезапно посмотрела немцу в глаза, и толстяк принял это за приглашение.

– *Merci.*

Он жестом подозвал официанта и взмахнул рукой, как истинный светский лев.

– *Champagne, s'il vous plait*^[18], – при этом он с довольным видом рассматривал обеих девушек.

Через несколько минут его долговязый белокурый товарищ решил, что пора приступать к действиям. Он с невозмутимым видом постучал по столу. Короткий удар, длинный, длинный – короткий, длинный – короткий, короткий, короткий – ...

– Азбука Морзе, – прошептал Сале в ухо незнакомый голос. Она удивленно повернулась. За соседним столиком сидел симпатичный молодой человек. В элегантном светло-зеленом двубортном пиджаке он напоминал Кэри Гранта. И тоже укладывал густые волосы назад, используя немного помады. Он широко улыбнулся ей, сверкнув безупречно белыми зубами. И принялся переводить, прежде чем она успела попросить.

– «Что скажешь об этих шлюшках? Стоят наступления?»

Сала не знала, возмущаться или хохотать.

Короткий, короткий, короткий – длинный, короткий, длинный, короткий – длинный, длинный, короткий – длинный...

– И что? – прошептала Сала.

– «Неплохие девки, а?»

Девушка бросила на них такой взгляд, что Сала едва сдержала смех. Долговязый застучал еще – Кэри Грант перевел: «Приступим к делу», а толстяк решил снова попытать счастья с французским и спросить, желают ли дамы чего-нибудь поесть.

– *Voulez-vous quelque chose manger?* – судя по акценту, он был родом из Баварии. Очевидно, парень не слишком доверял школьному

французскому и потому дополнял сказанное активной жестикуляцией.

– Как-то не слишком похоже на державу-победительницу, – прошептал Кэри Грант.

Сала беспокойно ерзала на месте. Ей вдруг понадобилось в туалет, но она не хотела пропускать спектакль. Поскольку обе красотики не реагировали на предложение, дылда прочистил горло и наполнил воздухом узкую грудь, готовясь перейти в наступление, но вдруг с огромным изумлением услышал, как рука младшей девушки, которая казалась такой застенчивой, застучала по столу: длинный, короткий, короткий, короткий – короткий, длинный, короткий, короткий – длинный, длинный, длинный, короткий – ...

– «Глупость – дар Божий»^[19], – сухо перевел Кэри Грант, а обе девушки тем временем встали и с каменными лицами прошествовали к выходу мимо покрасневших солдат.

– Глупые девки, – выругался долговязый.

Кэри Грант бесцеремонно расхохотался. Солдаты испуганно обернулись.

– Одни понимают азбуку Морзе, другие – немецкий язык. Вражеская страна полна опасностей, – сказал он.

Солдаты что-то пробормотали и наконец поспешили покинуть место своего позора.

– Простите мое вторжение, я Ханнес Рейнхард, из немецкого информационного агентства. Можно пригласить вас на ужин? – он слегка поклонился.

– А если у меня уже свидание, господин корреспондент?

– То вы бы сейчас не сидели рядом со мной.

– Какое нахальство, – Сала встала, собрала вещи и поспешила к двери. Ханнес догнал ее на улице. Дождь лил как из ведра. Ханнес быстро раскрыл зонт.

– Это «может быть»?

– Это «нет».

– Знаете французскую поговорку?

– Не сомневаюсь, что вы мне ее поведаете.

– «Если женщина говорит „нет“, она имеет в виду „может быть“; если она говорит „может быть“, то имеет в виду „да“»...

– А если она говорит «да»?

– То она шлюха.

Сала посмотрела на него, изумленно приоткрыв рот, а потом звонко рассмеялась.

– Мы могли бы сходить в театр, а потом где-нибудь перекусить. Вы уже видели Жуве в «Школе жен»? Должно быть, он очарователен.

– Люблю Жуве.

– У меня есть доступ в ложу прессы.

Он протянул ей руку. Они неторопливо шли под дождем, словно под солнечными лучами, и Ханнес продолжал весело болтать.

– Позавчера я встретил своего хорошего друга, Пьера Ренуара, который терпеть не может Жуве, и он рассказал мне такую историю: Жуве регулярно дает уроки актерского мастерства в Консерватории. И все ужасно боятся его едкой критики. Недавно, во время выступления одного из воспитанников, он выкрикнул в микрофон: «Бога ради, прекратите, бедняга Мольер перевернулся бы в гробу, если бы услышал, что вы творите с его текстами».

Сала изумленно прикрыла рот рукой.

– О нет, бедолага.

– Бедолага тоже оказался не промах, он забрался на рампу и ответил: «Ну, если бы он увидел вас вчера в „Школе жен“, то перевернулся еще раз».

Смеясь, они пошли дальше, пока не свернули на Рю Бордо к Театру Л'Атене.

Ханнес повернулся к Сале:

– И что, вы согласны?

– Да, но боюсь, теперь вы назовете меня шлюхой.

После представления они отправились в маленькое бистро неподалеку от площади Пляс Пигаль – «Ле Гард Тамп». Официант сразу принес им два бокала «Кир Рояля», после этого – тарты с луковым вареньем, потом жареное филе трески с тарелкой *carottes oubliés* и печеным картофелем с хрустящей корочкой и вино «Пюлиньи-Монраше». Сала не рискнула спросить, что такое «забытая морковь», но на вкус блюдо напоминало потерянный рай и забытое детство. Ужин увенчался карамелью с кремом «Шантильи» и бокалом насыщенно-золотого «Сотерна». Уже за это Сала была готова простить Ханнесу долгую прогулку, во время которой тот живо изображал как мучительное начало карьеры Жуве во французской провинции, так и провальные трагические роли комедианта XVII века, известного по сей

день. Периодически Ханнес останавливался, чтобы продемонстрировать, как бедолага пытался прочесть стихи Корнеля или Расина, но каждый раз заикался, пока наконец не понял, что рожден дарить людям улыбки.

– Жан Б-б-батист По-по-поклон, – сказал он, а потом низко поклонился и добавил: – Или просто Мольер.

В следующие дни он показал ей новую сторону Парижа. Ресторанчики в рабочих кварталах, где можно было танцевать вальс Мюзетты, места, где в четыре утра можно было заказать свиные ножки с кислой капустой и потягивать белое вино рядом с проститутками и сутенерами, пока Париж медленно просыпался. Они вместе читали стихи Аполлинера, он рассказывал ей о Бретоне, Бунюэле и Сальвадоре Дали – как сюрреалисты в шутку прозвали того *avida dollars* – «жадный до денег». Как и отец Салы, Ханнес мог часами сидеть или стоять возле картины, болтать, смеяться, находить незаурядные и блестящие ассоциации. Он извлекал мысль, выпускал ее наружу и с задумчивым любопытством наблюдал, куда она полетит, или с ловкостью фокусника хватался за нее вновь в ответ на вопросительный взгляд очарованной слушательницы.

Потом он внезапно исчез.

Ни слов прощания, ни объяснений, ни письма. Сала так тосковала, что едва вставала по утрам, начиная день без его звонкого смеха. Казалось, у всех людей на улицах города были одинаковые равнодушные лица. Небесная синь казалась бессильной, солнце – холодным, улицы – опустевшими. Сала видела войну. Но она ее не волновала. Почему он внезапно исчез? Что она сделала не так?

На третьей неделе она робко постучалась в его дверь. Он открыл, выйдя к ней в поношенном халате, с тенями под глазами, с изможденным лицом. Сала едва его узнала. Она молча вошла. Он заварил ей чай. Оба уселись за маленький круглый столик, тщательно отмеряя каждый жест, каждый взгляд. Она посмотрела на него, ужаснулась печали в глазах, его пальцы скользнули в ее волосы, их тела соприкоснулись, опустились на пол, закружились, словно животные, безнадежно увязшие в грязи. Они кричали, плакали, бились, с чужой кровью на все более чужих губах, не могли быть ни вместе, ни врозь, вечно искали и не находили, не останавливались, хотя конец был ясен с самого начала, они смеялись, как смеются лишь

отчаявшиеся. Сала убежала босиком сквозь ночь. Если это любовь, она хотела больше никогда с ней не сталкиваться и никогда с ней не расставаться.

Тремя неделями позже к ней в комнату постучала Селестина.

– В прихожей ждет молодой человек.

– Он не представился?

Что она будет делать, когда через несколько мгновений окажется перед Ханнесом? Они же оба знают: их любовь абсолютно невозможна. Если то, что они пережили, вообще можно так назвать. Можно ли? Она не знала. Сала нерешительно пригладила волосы. Ее вдруг охватило оцепенение, резкая усталость. Больше всего ей захотелось снова лечь в постель. Она почувствовала себя обессиленной.

– Селестина, он назвал свое имя?

Селестина коротко кивнула.

– Отто.

Сала невольно схватилась за грудь. На мгновение ей показалось, что у нее остановилось сердце. Но потом оно вдруг заколотилось так сильно, будто вот-вот выскочит наружу.

– Из Берлина. Ваш знакомый.

Похоже, Селестина не одобряла неожиданных визитов. Сала вскочила.

– Скажите ему, я сейчас приду. Нет, скажите ему... я... подойду через несколько минут. Ой, не говорите ничего.

Селестина неодобрительно покачала головой. Едва она закрыла за собой дверь, Сала бросилась к шкафу. Ее руки пролетели над платьями. Пожалуй, зеленое, зеленое ему понравится. Как он так неожиданно приехал в Париж? Без предупреждения. Она натянула приталенное платье длиной до колена из новой коллекции Лолы. Он мог, нет, должен был хотя бы дать телеграмму. Где он вообще пропадал в последнее время? Она ведь ничего не знает. Вообще ничего. Какая же она глупая корова. Холодно отделалась от него, когда посчитала нужным. В его письмах не было ни упреков, ни вопросов. Как она вообще выглядит? Она ведь не располнела? Проходя мимо, она бросила испытующий взгляд в зеркало. Нет. Или? И изумленно

замерла. Господи, волосы. Когда она последний раз была у парикмахера?

Сала пронеслась по коридору. Что она ответит, когда Отто спросит про ее жизнь? Нет, про Ханнеса ни слова. В любом случае. Да и что говорить? Один раз не считается. К тому же, они с Отто больше не пара. Он все поймет. Всегда понимает. Он такой умный, такой великодушный, такой изобретательный.

За несколько шагов до прихожей Сала остановилась. Она изменилась? Это будет ясно по его взгляду. Она принялась обмахиваться обеими руками. В глазах потемнело, словно она вот-вот упадет в обморок. Спокойно. Нужно просто к нему выйти. Не спешить. Лучше всего – протянуть ему руку. Сразу бросаться на шею неуместно. Дрожа, она сделала первый шаг.

Он сидел на стуле в стиле Людовика XVI возле большой двери, ведущей в гостиную. К счастью, Лолы и Роберта не было дома. Теперь Сала поняла, почему качала головой Селестина. Отто был в униформе вермахта. Немецкий солдат в еврейском доме. Когда Сала зашла, он встал. Она бросилась в его объятия. Она не отпустит его никогда, и плевать, что подумают Бог, Гитлер или Селестина.

– Но нам оставался лишь один день и одна ночь. «За миг единый, прожитый в раю, я с радостью всю жизнь отдам»^[20]. Шиллер, да? В общем, на следующее утро он должен был уже вернуться назад.

– Куда? – спросил я.

– Куда-куда, наверное, на фронт, я уже точно не знаю. К тому моменту он стал врачом немецкого Красного Креста. Не убил на войне ни одного человека. По крайней мере. В общем, он уехал. Я думала, через несколько дней мы увидимся снова. М-да, неправильно думала, – она умолкла. – А потом, да-а-а, потом поступил тот приказ. Все евреи и все немцы, сбежавшие из Германии, должны явиться на велодром д’Ивер. Вель д’Ив. Скажу я тебе... Друг мой сердечный...

На записи повисла долгая, бесконечная по ощущениям пауза.

– Что ты сделала? – прервал тишину мой собственный голос чужим, нарочито деловым тоном. Но мать не давала сбить себя с толку. Она продолжала свой путь в собственном ритме. Десять минут молчания. Я мог распорядиться ими, как мне заблагорассудится.

Ханнес Рейнхард появился вновь. Однажды я с ним встречался. Во Фронау. Мне тогда было лет пять. Я заехал за ним, примчался на велосипеде к маленькому отелю, где он остановился с женой на одну ночь. Я ничего не знал. Только: «Послезавтра приедет Ханнес с женой. Героиней». И все. Ни больше ни меньше. С первого взгляда он показался мне подозрительным. Я чувствовал микросигналы, хотя и не мог их различить. Они вошли. Ханнес раскинул руки. Он громко смеялся над фамилией моей матери. Потом поцеловал ее в губы. Я посмотрел на отца. И не понял выражения его лица. Моя мать смеялась, хотя и воскликнула: «Прекрати!» И теперь ее голос вернул меня в реальность.

– Лола отговорила меня туда идти. Но в Париже оставаться тоже было нельзя. Полный швах. Но-о-о, благодаря связям Лолы я получила адрес в Марселе. Там мне должны были помочь.

– Как?

– Ну, спрашиваешь тоже. Может, сделать бумаги на выезд, откуда мне знать? Визу в Америку. Свобода и приключения. Так что я собрала

вещички и поехала на вокзал. Ах да – еще со мной поехала Арлетт. Вообще-то, она не должна была со мной ехать, она ведь была француженка, но еврейского происхождения, что не слишком приветствовалось. Вообще-то, французы никогда особенно не любили евреев, но все же были толерантны. В общем, Арлетт поехала со мной. И знаешь, что я тебе скажу? На поезд сесть нам не удалось... в общем, тогда мы... мы... тогда мы вышли на шоссе... и нас взял водитель грузовика. Очень мило с его стороны. А я видела и похуже, если ты понимаешь, о чем я.

Я не понимал, но решил больше не перебивать ее вопросами.

– Да. Но в какой-то момент он, видимо, почувал неладное и начал вести себя странно. Нет, нет, нет, парень, подумала я, мужчин я всегда выбираю себе сама, и возле следующего же вокзала вежливо попросила его нас высадить. Это было в... в... ой, я уже не помню. Но там все и случилось.

– Что?

– Что?

Я неосмотрительно задал вопрос?

– Нет, ничего.

– Ничего? О, ты глубоко заблуждаешься. Я расскажу тебе, что произошло. Сначала все шло хорошо, да? Мы чапаем на своих двоих – поезд был лишь отговоркой, – а потом, примерно через час, Арлетт вдруг и говорит – знаешь, что? – что она забыла сумку на вокзале. Как так вообще можно? Просто оставить вещи и уйти? В разгар войны! Ну и конечно, она сразу непременно захотела вернуться – там украшения, деньги, портреты родителей, бог знает что еще. Ну пошли назад, сказала я. Ты меня знаешь. Я никого не брошу в беде. Грех пополам и беду пополам. Да. Так и получилось. Едва мы зашли на вокзал, как нас задержали, разделили и... М-да, и больше я ее не видела. Должно быть, водитель грузовика нас предал.

Я сидел, закопавшись в дальний угол дивана, рядом с большим арочным окном. На улице шел снег. Крупные шестиконечные кристаллы опускались на мерзлую землю. Я попытался мысленно увеличить их в сотню раз, представил, как восходящий поток ветра проносит их сквозь атмосферу Земли и как они тают, чтобы сформировать новые, возможно, менее симметричные или более

сложные формы. У меня на коленях лежал мобильный телефон. Погрузившись в записи, я слушал голос матери в наушнике.

– *Allez, vite, vite*^[21].

Из ее рассказа повеяло дикими оливковыми рощами, утешающей природой, что возвышается над любым горем.

У нее за спиной остался Париж, остались разрушенные надежды, когда ее везли из Ронеталья вместе с другими женщинами в открытом кузове грузовика, словно скот. Мимо полей, лугов и смеющихся домиков в утреннем тумане, в темную безутешность трехкилометрового лагеря – барак на бараче, доска к доске, без единого растения, только дождь, грязь и вопросительные лица голодных женщин за колючей проволокой, которые кричали: «Откуда вы приехали?»

За стеной дождя блестили Пиренеи.

Другие решили все за Салу, новая родина тоже от нее отвернулась. Она снова оказалась не властна над собственной судьбой. Пока над ней и остальными женщинами сгущалась туманная пелена, она чувствовала себя преданной – не французами, а новым государством. *Indésirable*. Нежелательная. По-французски слово *désir* означает «желание». А если тебя никто не желает, значит, ты проклят. Как можно отправлять в преисподнюю человека, не совершившего ничего дурного?

Женщин вырвали из общества близких и беззащитными отправили в открытом кузове навстречу неизвестности. Язык света и свободы звучал здесь так же холодно, как на немецком казарменном дворе.

– *Suivez-moi*^[22].

Все собрали сумки, чемоданы и мешки, чтобы последовать за невысокой крепкой женщиной по размокшей слякоти. Мадам Фреве подгоняла их своими приказами, пока не привела к барачу 17.

Барач находился в окруженном колючей проволокой блоке, участке. В каждом бараче жило по шестьдесят женщин, в каждом участке – тысяча, во всем лагере – около двадцати тысяч. Бараки были примерно двадцать пять метров длиной и пять шириной. Покрытая рубероидом крыша, каждые четыре метра – маленькие люки с откидными деревянными крышками, окон нет.

Дверь оказалась распахнута. Женщины обессиленно зашли внутрь. С каждой стороны лежало по тридцать соломенных тюфяков. Ни одеял, ни стола, ни скамейки, ни стула, ни посуды, ни даже гвоздя, чтобы повесить пожитки.

К ним подошла полная высокая женщина. Она поприветствовала мадам Фреве, и та протянула ей список.

– *Demain matin*^[23].

Слегка покачнувшись, надзирательница повернулась на каблуках и вышла из барака.

– *Soyez les bienvenues*^[24], я Сабина.

Ответственная за барак выглядела вполне любезной. Она распределила между новоприбывшими свободные места, и женщины валились на тюфяки, обрадованные, что можно отдохнуть.

– *Le diner est à six heures*^[25].

Сала закуталась в кашемировое пальто Лолы. Она слышала голос отца. Ее глаза закрылись.

Мухи жадно ползали по лицу Салы. Она с трудом разлепила веки. С первыми лучами солнца в бараке начиналась зловонная жара. К полчищам мух присоединились комары в поисках завтрака. Женщины лежали, вытянув онемевшие конечности. Говорили шепотом, чтобы подарить новичкам еще немного отдыха. Сала впервые посмотрела на лицо своей соседки. Красивое лицо, немного потерянное, но не испорченное.

– *Comment tu t'appelles?*^[26]

– Сала. *Et toi?*^[27]

– Соланж. *Mais tout le monde t'appelle Mimi*^[28].

– Мими? – Сала бросила на нее удивленный взгляд.

– *Nom de guerre*^[29], объясню потом. Есть хочешь?

О, как же Сала хотела есть. Желудок болезненно сжался, хотя она еще раздумывала, что имела в виду Мими под *nom de guerre* и наслаждалась звучанием ее южнофранцузского говора. Мими приехала из Марселя. В Париже она начала зарабатывать на хлеб в кордебалете «Фоли-Бержер».

– Прекрасная карьера, – рассмеявшись, сказала она, – но потом пришла любовь и принесла гибель. Я всегда влюблялась в негодяев. И чем отвратительнее они себя вели, тем сильнее пылали мои чувства.

Она с обезоруживающей откровенностью рассмеялась. Эта девушка казалась ангельски невинной, несмотря на все что Сала с изумлением узнала в ближайшие несколько минут. После «Фоли-Бержер» Мими устроилась через Антуана в ночной клуб. Там она зарабатывала больше, но ей пришлось научиться обслуживать разных клиентов, которых Антуан сначала представлял ей как своих хороших знакомых. Когда она заметила, что в его стойле есть и другие лошадки, то ушла – зашнуровала рюкзак, еще в Марселе подаренный ей старым моряком за красивые глаза, и отправилась искать счастье на улице.

– И тогда я превратилась из танцующего лебедя в ночную бабочку.

Она вышла на панель и этим гордилась. Приличные женщины, о недостатках которых она постоянно слышала, даже не представляют, сколько браков спасли представительницы ее профессии. Мими делила женщин на две категории: одни хотят послушного мужа, который вскоре оказывается скучным и скользким, другие вешают себе на шею пройдоху, пребывая в гордой уверенности, будто они и только они смогут превратить этого законченного мерзавца в верного, честного супруга. И потому они целуют и целуют, но лягушки остаются лягушками, женщины превращаются в жаб, а принцы и принцессы существуют лишь в сказках.

– Мужчины – это катастрофа, – серьезно заявила Мими и хитро добавила: – Всегда.

Но она искренне не могла понять, почему женщины, очевидно, питающие слабость к катастрофам и трагедиям, становятся жертвами собственной двойной морали. Если бы они принимали мужчин со всеми недостатками, их жизнь стала бы значительно лучше.

– Чему быть, того не миновать.

Прочь иллюзии, ими устлана дорога в ад. На этом тема была закрыта. С сухим «давай» Мими взяла смущенную Салу за руку. Да, на свою беду она тоже еврейка, заверила девушка свою новую подругу, пробираясь по пересохшей на солнце корке грязи, под которой чавкала жижа.

«Из огня да в полымя», – подумала Сала, оказавшись перед уборной. Мими предупредила: жизненно важно соблюдать правило «сначала гадить, потом мыться». Позднее, после первого же ливня, Сала поняла почему.

– В грязь! – негодуящим тоном произнесла она, цитируя актера Луи Жуве. Он произнес эту фразу, исполняя роль священника, и сделал ее крылатой. «*Dans la boue!*» Мими очень талантливо изобразила интонацию Жуве и переход по грязи. В дождь приходилось избегать выходов на улицу без особой нужды. Одна пожилая дама, которая всегда ходила мыться первой из стыда обнажаться прилюдно, однажды увязла в грязи между умывальниками и туалетом и, никем не замеченная, умерла. Топкая почва лагеря стала новым кругом ада, о котором забыл предупредить старина Данте. Нет, Данте она не читала, но клиент из лучших времен, весьма очаровательный знатный господин, который всегда пах лепестками роз, очень интересно о нем рассказывал. И истории вовсе не портил тот факт, что при этом Мими колотила его тростью по задку. Чем было больнее, тем увлеченнее он рассказывал. Тот, кому неведома боль, никогда не познает красоту. Этой мудростью, как и многими другими, она обязана ему.

– Он был настоящий папа.

Он происходил из очень старой, знатной семьи – их родословная брала начало еще до Французской революции, некоторым даже отрубили голову. Мими гордо рассмеялась. Сала смотрела на нее с восхищением. «Так нужно играть пиратку Дженни из „Трехгрошовой оперы“», – подумала она. «Медвежонок», как его называла Мими, был не только богат и знатен, но и вращался в высших политических кругах. Он знал всех, даже самого маршала Петена, благоговейно кивнула Мими, и потому пытался предупредить ее, но – увы – она оказалась слишком глупа или слишком самоуверенна, впрочем, особой разницы нет, тем более в нынешнее время.

– У кого есть бумага? – раздался вдруг рядом крик.

– У моей задницы, – послышалось в ответ.

– Дура, – рассмеялся первый голос.

– Сама такая, – ухмыльнулась Мими.

Истории новых подруг помогали Сале выносить позор общественного отхожего места. Обветшалая деревянная конструкция лишь наполовину закрывала спереди восемь уборных. Круглые дыры в деревянном полу и бочки под ними. Обнажившись, приходилось стоять или сидеть на корточках. Задней стены, что могла бы защитить от любопытных взглядов, не было. На помост дворца, как называла свайную постройку Мими, вело шесть ступеней.

– Почему ты не сбежала?

– Из-за моего Герда.

Этот Герд был очень порядочным человеком. Во всяком случае, если верить описанию – мужчина, который всегда оставлял маленькие подарки за зеркалом в гримерке. Ухоженный и тактичный, а главное, очень быстрый в деле. Зашел, разделся, оделся – а между этим раз-раз, и готово – поцелуй влево, поцелуй вправо, и его нет. Все вместе – не дольше выкуренной наспех сигареты. И всегда мылся до и после. У французов все совсем по-другому.

– В плане мытья? – уточнила Сала.

– В плане всего.

И он дал Мими слово офицера, что в Париже с ней ничего не может случиться. Хоть она и еврейка, но французская еврейка и гражданка Франции, а значит, с ней ничего не случится. В тот момент она уже собрала свои пожитки и хотела отменить свидание, но немецкий офицер должен был знать больше французского графа. Хотя, если нужно снять напряжение, это всё один и тот же сброд. Едва он вышел, как в дверь позвонили. «Наверное, что-нибудь забыл», – подумала Мими и полуголая пошла открывать, но перед ней стоял не дорогой Герд, а сотрудник полиции. Еврейская шлюха и француженка, которая, к тому же, спала с немецким офицером. Возможно, еще и коллаборационистка. Позор для отечества. Мими не знала своего отца, но не сомневалась: у этих ребят, как и у него, в штанах лишь пенисы, и достаточно одной улыбки, чтобы обвести их вокруг пальца. Но сделать ничего не смогла: они задели ее гордость и гражданскую честь. Уж лучше на гильотину. Но комиссариат придумал кое-что похуже.

– Вы немецкого происхождения, – рявкнул на нее парень, словно бош, словно немецкий чурбан. Мими француженка и всегда жила во Франции – хоть она и работает на панели, оскорблять себя не позволит. Тогда он сунул ей под нос ее паспорт. – Место рождения: Экс-ля-Шапель. Вы родились в Германии, в Экс-ля-Шапеле.

Она действительно родилась в Экс-ля-Шапеле, и именно поэтому он должен прекратить на нее кричать. Она не понимала, что он от нее хочет. Мими печально посмотрела на Салу. Откуда ей было знать, что Экс-ля-Шапель – французское название немецкого города Аахена? Возможно, ее отец был немцем, а может, нет, в бумагах значилось *père*

inconnu – отец неизвестен. Но для французов она теперь в любом случае стала немецкой еврейкой.

Они спустились по ступеням уборной. Прямо как я, подумала Сала: за один день стала немецкой еврейкой. Ее губы дрожали.

– Слава богу, я еврейка лишь наполовину, – добавила Мими, – и, возможно, через несколько дней меня отсюда выпустят.

Тем временем участок медленно оживал. Всюду толпились женщины и дети, которые с криками бегали по баракам. На колючей проволоке висело мокрое белье, женщины шили, вязали, готовили на открытом огне кофе – бурду, напоминавшую на вкус горькую воду. В клетках весело чирикали птицы, вокруг даже бегали кошки и собаки. Сала заметила, что некоторые прятали во рту еду для животных. Пытались ли они спасти вместе с собаками, птицами и кошками воспоминания о лучших временах? Глядя, как женщины с нежностью ухаживают за любимцами, Сала вспомнила стариков, за которыми наблюдала на долгих полуденных прогулках по Люксембургскому саду: те задумчиво наворачивали круги с четвероногими друзьями на поводках. Но здесь, в Гурсе, многие девушки были едва старше Салы. Вокруг пели и смеялись. Толкались и дразнили друг друга. Вдали, над хребтом Пиренеев, вошло солнце. Желтое пламя. И на мгновение Сале подумалось: лучше бы они просто в нем сгорели.

Место для мытья напоминало корыта для скота. Здесь тоже хватало места для восьми женщин, и за каждой собиралась очередь из восьми-десяти человек. Они обменивались новостями. Что произошло за прошлую ночь? У кого есть вести с фронта? Какая сейчас мода в Париже? Пришло ли любовное письмо от пропавшего мужа или посылка с едой и вещами, которые можно обменять на черном рынке? Как с сигаретами? Ими можно было подкупить надзирательниц и отправиться на прогулку в мужской участок, к испанцам. Едва прикрытые навесом из нескольких досок, голые, полуголые или тщательно закутанные в платки женщины стояли возле корыта и наперегонки отмывались. Некоторые – гордо обнажив грудь, другие – с пристыженно опущенными плечами. Каждая хотела доказать соседке, что она стройнее, элегантнее, чище. К изумлению Салы, даже здесь велась ожесточенная борьба за каждый сантиметр женственности. Она впервые почувствовала, что многие женщины ухаживают за собой не ради мужского внимания. Казалось, им гораздо важнее превзойти

представительниц своего пола. Завистливый взгляд другой женщины льстил самолюбию куда сильнее страсти любого мужчины. Или дело было просто в воспоминаниях об ушедшем времени и взгляде их любимых? По ту сторону колючей проволоки французские надзиратели наслаждались спектаклем.

Водопроводную воду давали три раза в день: с шести до девяти утра, с двенадцати до трех дня и с шести до девяти вечера.

На большее водонапорная башня в дальней части лагеря была не способна. За это время тысячи женщин должны были успеть вымыть себя, свое белье и посуду. Остатками воды отмывали бараки – долгое и утомительное занятие.

В день каждой женщине выделялось четверть литра кофе. Те, кто не привез ни стакана, ни чашки, обходились пустыми консервными банками. Из еды каждый день давали два ломтя хлеба, на обед – водянистый суп с рисом и неудобоваримым нутом и иногда – крошечный кусочек мяса, зачастую несъедобный, зеленого или серого цвета. Никаких овощей, и тем более никаких фруктов. В редких случаях – картофель или помидоры на ужин.

Вечером Сабина снова приступила к обязанностям ответственной за барак. К спискам. «Каждый день что-нибудь новое», – монотонно вздыхали все вокруг. На этот раз снова собирали личные данные: имя, фамилия, место и дата рождения, семейное положение, профессия, последнее место проживания во Франции. На шестьдесят женщин начальство лагеря выделило тридцать минут. Затем последовали другие списки. Спрашивали про возраст и про религию – католицизм, протестантство, иудейство. Составляли списки женщин, у которых есть родственники во Франции или которые обеспечивали себя самостоятельно, женщин, которые хотели вернуться в Германию, трудоспособных, больных, слабых, душевнобольных, больных туберкулезом. Списки терялись, и все начиналось сначала.

Вечером пошел дождь. С тех пор как ее схватили, Салу мучил тяжелый запор. Тупая давящая боль охватывала живот до самой груди. Сала открыла дверь барака, чтобы вдохнуть наконец прохладный, влажный воздух. Днем температура доходила до 50 градусов. Потрескавшаяся глина начала размокать. Переступив через порог, Сала поскользнулась и упала в грязь.

– *Dans la boue.*

Сала расхохоталась, услышав за спиной голос Мими.

– Осторожнее! – крикнула ей новая подруга и зажала нос.

Сала попыталась выпрямиться. Ее руки быстро увязли в размокшей грязи по самые локти. Она снова рассмеялась. В детстве, в Берлине, она называла это кашей. Ей вспомнились коровьи лепешки на швейцарских лугах Асконы. В двадцатых годах, когда она снова приехала туда с отцом, ей нравилось голыми ногами вставать на пахнущие травой и коровами кучи и подпрыгивать, чтобы полностью ощутить их тепло. Но сейчас влажный ветер приносил вовсе не аромат швейцарских гор, а невыносимую вонь. Вся глина была перемешана с мочой и экскрементами. Сале стало дурно. И как назло, ей срочно понадобилось в туалет. Она скорчила гримасу, весело подмигнула Мими и неуклюже поковыляла в наступающую тьму. На полпути горные цепи исчезли в черноте ночи. Цветастая неразбериха дня сменилась пеленой тишины, бараки растворились в небытии. Город-призрак. Одинокий. Покинутый. Безутешный. Разгулявшийся ветер швырял ей в лицо капли дождя. Сала попыталась сориентироваться. Все казалось одинаковым. Она вообще пошла в правильном направлении? Внутри все сжалось, и Сала испугалась, что скоро не выдержит давления. Она снова поскользнулась. Снова упала на землю. Может, просто сдаться прямо сейчас? Она и так вся в грязи и промокла насквозь. Какая уже разница? Перед ней лежали фекалии. Подступающая дурнота сдавила горло, но плакать не получалось. Тяжело дыша, Сала прошептала:

– Мама.

Потом еще:

– Мама, мама.

Она скорчилась от боли в холодной грязи. И увидела Отто в приемной семье, где его били по лицу испачканными пеленками. Маленького мальчика. Худого и беспомощного. Гнев охватил Салу теплой волной, и она резким толчком вырвалось из жижи. Дрожа, встала на ноги. Вдалеке тускло мерцал сквозь темноту слабый свет. Возможно, лампа уборной.

– Давай! Вперед! Твоего достоинства они отнять не смогут.

Вернувшись в барак, Сала повалилась на тюфяк и уставилась в деревянный потолок. Сквозь рубероид просачивались капли дождя.

Чего она ждала? Слез? Освобождения? Завтра нужно будет постирать платье, она не снимала его уже четыре дня.

Первые солнечные лучи проникали сквозь щели ее нового дома. Сала вскочила и открыла люк над своим тюфяком. Сколько сейчас может быть времени? Половина пятого? Половина шестого? Несколько часов сна, первые за последние два дня. Она удивлялась, что еще стоит на ногах. «Тем не менее я жива», – торжествовала Сала под щебетание проснувшихся птиц. Она подумала об Отто и представила, как он сидит в маленькой пекарне в Берлине рядом с кафе «Канцлер» и кусает переполненную клубничным джемом булочку, а потом дерзко подмигивает продавщице, когда та протягивает ему через прилавок кулек с крошками. Сала тихо взяла платье, камень, блузку и чистое нижнее белье на смену и выскользнула из барака. Она хотела первой оказаться в уборной и первой – у корыта. Теперь она будет делать так каждый день, чтобы избежать споров за лучшие места с другими девушками. Непрерывная болтовня действовала ей на нервы. Хуже всех были попрошайки. Они неустанно жаловались всем вокруг на свои несчастья, пока какая-нибудь добрая душа не делилась с ними тем немногим, что имела.

Из-за угла вышла надзирательница. Они столкнулись в длинном узком проходе между бараками. Стоит надеяться, по лагерю не запрещено ходить в такое раннее время. «Нужно просто спокойно пройти мимо, – сказала себе Сала, – не опускать взгляд, смотреть ей прямо в глаза». Они приблизились друг к другу. Еще несколько метров. Казалось, сердце Салы вот-вот выпрыгнет из груди. Она приготовилась. Если женщина попытается ей что-нибудь сделать, придется защищаться. Их разделяли два шага. Теперь.

– *Bonjour, Mademoiselle*^[30].

Надзирательница улыбнулась. Короткой, но дружелюбной, почти подбадривающей улыбкой. Сала оцепенела от изумления. Или она улыбнулась в ответ? Да, только получилась не улыбка, а скорее гримаса. Она оказалась такой же глупой, такой же эгоцентричной, как все здешние женщины. За кратчайшее время она утратила простейшие признаки принадлежности к человеческой цивилизации. И теперь чувствовала себя, словно немецкий танк, ползущий по незнакомой области. Она ответила? Видимо, нет, в лучшем случае сдержанно

кивнула. Сале захотелось обернуться, побежать следом за девушкой. Та была молодой и красивой, и издали ее походка напоминала уверенные шаги типичной парижанки, что прогуливается мимо бутиков, не обращая внимания на их кричащие витрины. В глазах этой молодой француженки Сала на короткое мгновение стала ни полунемкой, ни полуеврейкой, ни кем-то, разделенным на части, а просто человеком.

На обратной дороге все женщины, медленно заполняющие лагерь, вдруг показались ей красивыми и дружелюбными. Она периодически останавливалась, чтобы завязать короткую беседу. И за несколько метров пути узнала о лагере все самое важное. Через несколько барачных от них поселили писательницу Теу Штернхейм, жену знаменитого драматурга. Еще в лагерь привезли нескольких известных актрис, танцовщиц, музыкантов, субреток, и где-то был барак искусства. Там проводились представления кабаре, планировались спектакли, концерты и выставки. Еще немного она здесь продержится. А потом... «Ну, уж найдется что-нибудь получше смерти», – думала Сала, наблюдая, как драный петух гордо прохаживается по соседнему участку, не обращая ни малейшего внимания на окружающих.

Мими беспрепятственно перемещалась между участками. Однажды Сала видела, как она прошла на мужской участок, дружелюбно кивнув постовому, и исчезла в одном из барачных. Еще у нее всегда было вдоволь еды – здесь паштет, там банка джема, свежий багет, сыр. Мими щедро делилась всем с Салой, которая старалась не думать, откуда ее подруга брала еду.

– На следующей неделе в бараке G будет концерт, – весело сообщила жующая Мими.

Профессиональные музыканты будут играть классическую музыку, только немецкую – возможно, Сала знает названия произведений. Мими показала записку – своеобразную программку. Все организуется в честь немецкой делегации, которая посетит лагерь после обеда.

После обеда Мими познакомила ее с Альфредом Натаном. Ей удалось без особых сложностей вывести Салу на мужской участок. Ее подруга актриса, а не то, что он подумал, объяснила она глуповато улыбающемуся охраннику, когда Сала дерзко прошла мимо.

– У тебя есть опыт выступления в кабаре? – Натан без обиняков обратился к ней на «ты», с наслаждением пыхтя самокруткой возле барака.

– Нет, – призналась Сала, – но я с детства мечтаю стать актрисой.

– Кого же ты хочешь сыграть?

– Всех. Луизу, Эболи, Амалию, Жанну...

– Господи, только истеричек Шиллера?

– Нет, еще Гретхен.

– Вот как? А какая у тебя религия?

– Не понимаю...

– Ну, ты еврейка?

– Не совсем...

– Не совсем что?

– Ни то ни другое.

– Ах вот как, пытаешься усидеть на двух стульях, бедное, прекрасное дитя.

Сала не знала, что ответить. Она смущенно рассмеялась.

– Я спрошу Эрнста. Он задумал поставить целого «Валленштейна», звучит, скорее, как жест отчаяния, но в любом случае лучше, чем считать мух.

Сала изумленно бросилась ему на шею.

– О да, я могла бы сыграть Теклу, – сказала она и воодушевленно процитировала: «Смотреть спектакль жизни веселее, когда мы клад в своей душе лелеем».

Альфред печально улыбнулся.

– Девиз постановок Эрнста скорее такой: «По дому нашему зловещий дух бредет, и скоро наш последний час грядет». Я посмотрю, что можно сделать, но думаю, все роли уже заняты профессионалами. В крайнем случае, согласишься на что-то другое?

– Что угодно, – без колебаний ответила Сала.

– Договорились, – он с улыбкой протянул ей руку.

Альфред оказался прав, роль Теклы, как и все остальные, была уже занята. При условии, что она поможет с оформлением спектакля, Сала периодически участвовала в пробах, проходивших в бараке. Дни стали пролетать незаметно. Она восхищенно наблюдала, как актеры, несмотря на холод и голод, болезни и слабость, вкладывают в процесс

все свои силы, и это помогает пережить происходящее как им самим, так и зрителям. Артисты кабаре работали над своими текстами, другие мастерили декорации и реквизит, музыканты – как исполнители шлягеров, так и струнный квартет – устраивали развлекательные вечера. Сала научилась делать из обрывков ткани костюмы, превращать поношенный свитер в кольчугу или рыцарские латы.

На следующий вечер Альфред Натан устраивал в культурном бараке представление кабаре. Сала решила пойти туда с Мими, чтобы отвлечься от мыслей. К ее изумлению, среди зрителей оказались не только обитатели лагеря. Она услышала испанскую и французскую речь. Рядом с лагерным начальством сидели люди, живущие в окрестностях Гюрса. Возможно, родственники или друзья тех, кто здесь работает? Видимо, комендант Лаверн щедро раздавал пропуска. Впервые с приезда Салы мужчины и женщины оказались не строго разделены. До этого живших на соседнем участке испанцев пускали к женщинам лишь на несколько часов для ремонтных работ, а о совместных вечерах не шло даже речи. Мими была крайне взволнована.

– Мы, женщины, – как звезды, сияем не сами по себе, нам нужен чужой свет.

Сала звонко рассмеялась. Мими посмотрела на нее обиженно – нечего воротить нос, в жизни все когда-нибудь кончается, и со стороны женщины просто глупо не понимать таких вещей, а еще печальнее, если она не умеет этим пользоваться. Сала, видимо, слишком образованная. Но ведь история ее родителей доказывает: у умников все точно так же. Или почему ее мать ушла от ее отца к другому мужчине, потому что тот был моложе? Нет! Явно нет! Просто своим взглядом он превращал ее в сверкающую звезду. Мими подмигнула молодому офицеру, наблюдавшему за ними уже какое-то время. Тот перевел глаза на Салу, которая покраснела. Крайне довольная, что ее теория немедленно подтвердилась, Мими воодушевленно похлопала Салу по плечу.

Представление оказалось увлекательным. Сала смеялась над едкими куплетами Альфреда Натана и пыталась переводить стихи для Мими. Но когда исполнялось одно стихотворение, все умолкли. Это была история маленького человека, потерявшего в лагере все. На последних двух строфах Сала, дрожа, схватила Мими за руку.

Теперь я зорек стал к чужой беде,
Познал людских рыданий бесконечность,
Страдает немощный с собой наедине,
Другого голод направляет в вечность,
И он своих детей зовет во сне...

Вдруг миллионы братьев я обрел,
И знаю: в край страданий безграничных
Не просто так мой путь меня привел,
Я раньше славным парнем был беспечным,
Теперь же человек во мне расцвел.

В антракте к Сале подошел мужчина, который так пристально наблюдал за ней с самого начала представления. Он держал два бокала вина.

– Позвольте? Меня зовут Ханс Петер Эренберг, – он протянул ей напиток.

– Сала Ноль, а это моя подруга, Мими Лафалез.

– Как давно вы здесь, госпожа Ноль?

– Достаточно давно.

Что этот нахал о себе возомнил? Она интернированная, а не преступница. Мими тихо ухмыльнулась. Извинилась, что ей нужно ненадолго отлучиться, ободряюще подмигнула подруге и растворилась в толпе.

– Пожалуйста, не поймите меня неправильно и простите, если мое вторжение показалось вам бестактным, я ни в коем случае не хотел вас обидеть, госпожа Ноль. Просто вы напомнили мне женщину, чью фотографию мне недавно показывал начальник. А поскольку ее звали Сала, возможно, это не просто совпадение. Если вы приехали сюда не больше трех месяцев назад, позвольте спросить, не знакомо ли вам имя Ханнеса Рейнхарда.

Сала посмотрела на собеседника. На короткое мгновение ей показалось, что у нее в жилах застыла кровь.

– Ханнес?

Эренберг кивнул.

– Он приехал на несколько дней в Бордо, если хотите, я могу передать ему весточку. Он знает, что вы здесь?

– Нет.

До сих пор все попытки Салы написать Лоле, Отто или отцу оказывались безуспешны из-за цензуры. О Ханнесе она даже не думала.

– Вы поможете мне?

– Разумеется... И с большим удовольствием, – поспешил добавить Эренберг.

– Тогда... Мне нужно скорее вернуться в барак, поискать бумагу и ручку.

– Спокойно наслаждайтесь представлением, я никуда не убегу. Слово чести.

Сала взволнованно покачала головой. Она хотела убежать сразу, но почувствовала удивительно твердую хватку Мими.

– За нами наблюдают, *chérie*.

Сала сделала вид, что просто осматривается. И заметила в нескольких метрах от себя надзирательницу, которая быстро опустила глаза, когда они встретились взглядами. Сала с громким смехом обняла Мими и повернулась к Эренбергу.

Оставшуюся часть представления лучшие шутки нередко пролетали мимо ушей Салы. Она думала лишь об одном: возможно, Ханнес поможет ей сбежать.

Когда все закончилось, она осторожно прокралась в барак. И быстро написала на туалетной бумаге несколько строчек для Ханнеса. Она умоляла помочь ей сбежать из лагеря и оставила внизу отпечаток ярко накрашенных чужой помадой губ.

Затем последовали дни ожидания, и они казались Сале страшнее всего пережитого прежде, хуже голода и истощения, пока Эренберг снова не появился на очередном лагерном концерте. Встреча в антракте была мимолетной. Увидев ее полный надежды взгляд, он лишь сокрушенно покачал головой. После представления Мими вложила ей в руку записку. «Мне больше не удалось встретиться с Ханнесом».

Видимо, что-то случилось, сомнений нет – иначе он подошел бы и хотя бы попытался ее утешить. Увиденное в его глазах было ей слишком хорошо знакомо. Оно до неузнаваемости искажало самые

лучшие лица, было холодным и безжалостным: противоположность любви, равнодушие. Возможно, через этот взгляд с ней говорил Ханнес?

Немецкая делегация стремительно двигалась по лагерю. Заключение арийского происхождения должны вернуться на законную родину. По поручению лагерного начальства ответственные за бараки приступили к составлению списков. Собрав чемоданы, арийки с нетерпением дожидались освобождения, а на лицах их еврейских соседок застыл единственный вопрос: как происходящее скажется на их будущем? Сала видела, как в серые предутренние часы к Сабине подкралась молодая женщина с маленьким сыном. Разбудила и что-то зашептала ей на ухо. До Салы долетело лишь несколько фраз:

– Но ты же можешь написать, что мы арийцы, кто будет проверять?

Затем последовало долгое шипение Сабины – Сале удалось разобрать, что обман разоблачат, самое позднее, в Германии. Но молодая женщина не отставала. Она упорно подталкивала маленького сына к тюфяку Сабины.

– Твоего сына зовут не Мориц, а Моше, Моше Сильберштайн. И здесь все это знают, – громко сказала Сабина и раскрыла люк у себя над головой. Тусклый свет упал на дрожащую молодую женщину. Она в слезах вернулась с испуганным ребенком в свой угол.

Внезапный шум разбудил других девушек. Ругаясь, они пытались вновь провалиться в сон. Все понимали: сегодня начинается новая глава их судьбы.

Когда уехали последние грузовики, бараки казались опустевшими. В некоторых теперь сидели лишь по восемь-десять женщин, другие пустовали наполовину. В бараке Салы осталось сорок пять человек. Старая коммунистка ехать отказалась.

– Но вы же арийка, – сказал ей немецкий офицер.

– Я лучше умру за французской колючей проволокой, чем за немецкой, – сухо ответила она.

– Не глупите, милостивая государыня, в Германии вам будет хорошо.

– Сомневаюсь. Я никогда не умела держать язык за зубами и уже не научусь.

Сале возвращение в рейх казалось слишком опасным. По лагерю ходили самые разные слухи. Говорили, что у немецкой армии закончились боеприпасы, потом сообщали о взятии Москвы, а после рассказывали, что русская кампания безнадежно проиграна и Гитлер скоро капитулирует. Откуда брались слухи, никто не знал. Абсурдным образом Сала впервые со дня приезда чувствовала себя защищенной в окруженном колючей проволокой бараке.

Через несколько дней в Гюрс пришла жара. Пропитавшаяся мочой земля невыносимо воняла. Несколько женщин из барака жаловались на кровавый понос, за ним последовали температура, судороги и потеря аппетита – предмет для зубоскальства. Дизентерия.

Инфекция распространилась по всему участку. Вскоре заболевших начали изолировать. Девушка, которая только недавно показывала фотографии испанцу, умерла через неделю. Как и молодая женщина, умолявшая Сабину внести себя и сына в списки арийцев. Ее увезли из лагеря вместе с другими умершими. Их погрузили в открытый кузов грузовика, словно туши животных. Маленький Моше плакал возле колючей проволоки. Никто не подошел попрощаться. Здоровые издали смотрели на грузовик. Уже в бараке женщины собрались вместе. В последующие дни они постоянно читали по умершим кадиш.

– Да-а-а... А в это самое время моя мать сидела на полном пансионе в тюрьме франкистов, дожидаясь собственной казни.

Мы ели куриный суп за маленьким обеденным столом в Шпандау.

– Ты об этом знала?

– Откуда? Писем из камеры смертников не доставляют.

Она молча посмотрела в окно. Снег шел уже несколько дней. На улице дети возились вокруг снеговика, играли в снежки, один тащил за собой санки. Он сердито прокричал что-то матери, получил шлепок по попе, зарыдал, повалился на землю и забил кулачками по снегу, пока мать не подняла его на ноги.

– Бабушку приговорили к смерти?

– Да.

– За что?

– Уже не помню.

– А Томаса?

– Тоже. Они же были анархистами. Боролись против того парня.

– В интернациональных бригадах.

– Да, – моя мать ненадолго умолкла. – Она была очень храброй. Этого у нее не отнять.

Я искоса глянул на мать. После этого я отправился в Лодзь, на съемки документального фильма, надеясь отыскать следы ее и моих предков. У меня было весьма смутное представление о прабабушках и прадедушках.

– Что ты знаешь о своей бабушке?

– Ничего.

– Даже имени?

– Ничего.

– Ты уверена? Может, ты просто не помнишь?

– Все я прекрасно помню, друг мой сердечный. Что ты выдумываешь?

– О чем?

– Ни о чем, – раздраженно отрезала она и сердито на меня посмотрела. – Туговато соображаешь, да?

Она начала вставать, чтобы убрать со стола.

– Сиди, я сам.

– Только не устрой мне на кухне бардак. Я этого не оценю, – она несколько властно откинула голову назад. – Тут каждый распоряжается, как хочет. Тетёха из службы по уходу какая-то недоделанная. Постоянно убирает все в неправильные места. Ничего невозможно найти. Просто наглость.

Безобразие.

Я уже был на кухне, когда она крикнула, чтобы я оставил все на месте: она уберется сама.

Вернувшись домой, я принялся листать книги про Гюрс. Фотографии тех времен и современные. Потом посмотрел документальный фильм про двух братьев, которых в детстве отправили с родителями из Хоффенхайма в Гюрс. Через несколько недель их вместе с сорока шестью другими детьми выслали в соседний французский приют. Они выжили. Старший, Эберхард Майер, уехал в Америку, страну безграничных возможностей, и стал там Фредериком Раймсом; младший, Манфред, переехал в Палестину, на Землю обетованную, где сменил только имя, став Менахемом. Менахем и Фред. Родители отдали их в приют из любви. Большинству родителей в Гюрсе не хватило на это сил или дальновидности. Позднее они вместе с детьми погибли в газовых камерах Освенцима.

Фред не мог сдерживать слезы, выдавив перед камерой лишь несколько предложений. Задыхаясь от плача, он, запинаясь, повторил прощальные слова матери:

– Присматривай за младшим братом!

Я слушал эти слова, видел двух стариков – почти семьдесят лет спустя, отдаленных внешне, отчужденных внутренне, полных страха и сомнений. По следам детства они перенесли из Иерусалима и Флориды в Хоффенхайм и Гюрс. Я видел, как они теряют самообладание, стоя на бывшей территории лагеря, воспоминания о котором воровато скрывал наспех посаженный после войны лес, видел их слезы, слезы боли и упущенных возможностей – и плакал вместе с ними. Что-то во Фреде и Менахеме напомнило мне, как в детстве я боялся разделявшего нас с матерью поля, поросшего той же травой,

удобренного тем же навозом – этого же лагеря, воспоминания о котором побывавшие там пытались забыть всю жизнь.

– Всему должен быть предел.

У меня не выходило из головы полное бесцеремонного негодования лицо крестьянки из деревни в Хоффенхайме, где Менахем и Фред жили до депортации и теперь пытались отыскать следы своего прошлого.

– Что вам тут надо?

– Мы евреи. Мы жили здесь раньше.

– Всему должен быть предел. Нас, немцев, тоже прогнали, но мы не бегаем по Померании с фотоаппаратом.

Всему должен быть предел.

Сколько лиц бессловесно выражают эту фразу?

«Неспособность скорбеть» – потрясающая книга Александра и Маргарет Митчерлих, высоко оцененная следующими поколениями, не только сетует на отсутствие скорби у поколения преступников, но и содержит призыв к следующему поколению – то есть нашему – хранить воспоминания, чтобы избежать неосознанного повторения. Речь не о том (как неверно истолковали многие в 1968 году), чтобы самовольно определить и зафиксировать индивидуальную или историческую вину родителей. Речь о риске воспоминаний для каждого из нас. Когда завершить этот процесс, каждый решает для себя сам. Но хотим ли мы использовать воспоминания для освобождения от того, чего мы не совершали, или хотим попытаться заострить картину нашей идентичности, к которой относятся и события XX века, в том числе – немецкий геноцид европейских евреев? Только с воспоминаниями наша жизнь обретет лицо. Я не хочу быть книгой, из которой вырвали целую главу, непонятную как остальным, так и мне самому. Я хочу попытаться заполнить пустые страницы. Для себя. Для своих детей. Для своей семьи. Сначала умирает человек, потом воспоминания о нем. Ответственность за вторую смерть лежит на потомках. Произнося фразу «Всему должен быть предел», мы хотим убить людей того времени во второй раз? Сколько же имен мы хотим уничтожить, поставив точку?

Я решил отправиться в Лодзь на машине. Навигатор показывал четыре с половиной часа пути. Четыре с половиной часа у меня перед глазами будет меняться пейзаж, пока мысли блуждают в далеком прошлом. Перед глазами снова возникла могила моих прадедушки и прабабушки, огромный иудейский свадебный балдахин – сложно увидеть в нем смирение перед лицом смерти, которому учит иудейская вера. Эмануэль Ротштейн, режиссер и продюсер документального фильма, прислал мне фотографию. В Лодзе богатые фабриканты оформляли надгробия совсем иначе, чем на еврейском кладбище Праги. Авраам Пруссак и его брат Давид были крупнейшими суконными фабрикантами Лодзи, «польского Манчестера». Авраам Пруссак не только привез из Манчестера в Лодзь первый механический ткацкий станок, но и стал одним из застройщиков большой синагоги, сожженной национал-социалистами в ночь с 10-го на 11 ноября 1939 года. Этот человек был моим прадедом. Так рассказывала мне мать. Ортодоксальный еврей, отправивший дочерей на учебу в Швейцарию и Францию, но изгнавший мою бабушку Изу, потому что она вышла замуж за гоя, не еврея. Педагогическая искренность, любовь и новаторство сочетались с ветхозаветной, непоколебимой твердостью.

Я приехал примерно в девять вечера. ОТЕЛЬ находился в здании бывшей фабрики Израиля Калмановича Познански, известного польского предпринимателя. По рассказам матери, «Белая Фабрика» – хлопкопрядильная фабрика моих предков – была столь же внушительна на вид. В индустриальную революцию здесь происходили восстания ткачей. Когда я увидел эти стены, то приверженность моей бабушки Изы к анархизму, ее борьба с несправедливостью и диктатурой, длившаяся всю жизнь, стали мне понятны, более того – я испытал определенную гордость. Возможно, она тогда близко к сердцу принимала эксплуатацию рабочих, зная, что люди тяжело трудились по четырнадцать часов в день, но получали за это лишь крошечное жалованье да буханку хлеба в неделю, чтобы прокормить семью. Понятие «нищенская зарплата» было вовсе не метафорой, а кошмарной реальностью – у людей было слишком мало денег, чтобы жить, и слишком много, чтобы умереть.

На следующий день я уже в семь утра вбежал в ресторанный зал отеля, где меня ждали Эмануэль Ротштейн и Милена Вышепольска, историк-генеалог.

– Есть несколько неувязок, – Эмануэль познакомил меня с Миленой. Она сразу перешла к делу:

– Твоя бабушка – урожденная Пруссак, но ее отцом был не Авраам Пруссак. Как его звали и был ли он родственником Авраама, мне пока выяснить не удалось, но фамилия Пруссак была тогда очень распространена в Польше...

Неужели я попался на одну из многочисленных фантазий моей матери? Но откуда тогда она узнала про Авраама Пруссака? Она ничего не знала про Лодзь, очень мало – про своих предков, она никогда не была в Польше. Я сделал вид, что забыл что-то в номере. Мне захотелось побыть одному. Что теперь делать?

На мгновение я засомневался во всем, что прежде считал истинным.

Я с ужасом вспомнил документальный фильм, в котором один старик выдавал себя за внебрачного сына Эрнста Любича и заявлял, что у него есть неизвестный прежде сценарий еврейского кинорежиссера. Под конец съемочных работ история этого человека привела документалистов в Польшу, где они прекратили работу над фильмом – «внебрачный сын» Любича на самом деле оказался польским коллаборационистом, который хотел выдать себя за гонимого еврея, сына известного режиссера двадцатых, тридцатых и сороковых годов. Никогда не забуду окаменевшего лица, холодного молчания, когда ему прямо на камеру сказали, что знают правду. Возможно, это лишь интерпретация реальных фактов, пронеслось у меня в голове, лишь выдумка. А если правда совсем другая? Я принялся лихорадочно размышлять. А вдруг мои предки были национал-социалистами и хотели обелить себя с помощью придуманной истории? Ради того, чтобы я родился на правильной стороне? У меня задрожали колени. Что ждет меня в ближайшие часы? Мне снова вспомнился фильм про Менахема и Фреда. По дороге в Гюрс обоих братьев одолели сомнения. Они внезапно ощутили смутный страх перед столкновением, которого искали. Потом один сказал: «Вставая на этот путь, мы знали, что он приведет нас в ад».

Я пошел в ванную, вымыл руки и плеснул водой себе в лицо. В зеркало посмотретья я не отважился. Поспешно вытерся. В ушах прозвучал насмешливый голос старого учителя, чье лицо я помнил лишь смутно. Он кричал мне: «Наглость – еврейское счастье».

Что мне здесь нужно? Чего я на самом деле ищущу? Спускаясь по лестнице с седьмого этажа – ступенька за ступенькой, я начал осознавать. В ресторанный зал я зашел уже с твердым пониманием. Я был ни на йоту не лучше и не хуже всех остальных, виноватых и невиновных. Были мои предки евреями или нет, я несомненно немец, и тут никуда не деться, я понял это еще в Париже, когда одноклассник крикнул мне на школьном дворе: «*On reconnaît l'allemand à ses tatanes*» – немца узнают по башмакам. Я немец, с еврейскими корнями или без. Все, кто не жил в то время, – просто немцы, с немецкой историей, историей, в тени которой померкли все прочие злодеяния человечества. Тогда, на школьном дворе в Париже, я задался вопросом: каково это, быть немцем? Позднее, в Америке, мой друг повторил вопрос немного в другой форме. Наверное, нелегко дается, что киноиндустрия, в которой я сам же и работаю, всегда выставляет немцев как монстров из Второй мировой войны. Как это сказывается на чувстве собственного достоинства? Оба раза я возразил, что я не немец, во всяком случае – не совсем. Моя мать – еврейка. Я не стал говорить французам, что она была в лагере, созданном французами во Франции, откуда с 1942 года регулярно вывозили людей в газовые камеры Освенцима. Также я не сказал, что французы платили немцам за их старания: примерно по 700 марок за каждого еврея, от которого их избавили немецкие оккупанты. Я промолчал, поскольку при всей чудовищности это казалось ерундой по сравнению с деяниями моей родины. Самым ошеломляющим, точным и наивным был тогда ответ моего французского школьного друга, потрясший меня, как трагическая судебная ошибка: «Но ты ведь и правда немец». Да.

И правда.

Я быстро вошел в ресторанный зал. Ничего не изменилось. Никто на меня странно не смотрел. Милена исчезла. Она снова поехала в архив и присоединится позднее. Сейчас мы поедем в Центр диалога Марка Эдельмана, встретимся там с историком, которая курирует выставку о польско-германской истории. Название выставки показалось мне подходящим: «Неразбериха».

После обеда мы поехали на еврейское кладбище. Я стоял перед могилой семейства Пруссак. За это время Милена узнала: моим прадедом был Лейб Пруссак, а прабабкой – его жена Алта. Моя мать тоже происходила из еврейской семьи, но, похоже, не была прямой родственницей Авраама Пруссака. Разочарование? Да, немного. Со смирением или без, надгробие у них впечатляющее. Облегчение? Еще какое! Все же не ужасный немец, все же родился на правильной стороне. Все терзания последних часов рассеялись, словно дым. Да, я немец, но еще я еврей, рожденный от еврейской матери. Меня растили в католической вере, но я покинул религиозное общество еще в двадцать лет. А мой отец – протестант? Впрочем, всю свою жизнь он был атеистом.

Мы прогулялись по кладбищу, снимая внушительные надгробия крупных фабрикантов: Познанский, Шайблер, Пруссак. Никаких следов Алты или Лейба. Очевидно, похоронены они не здесь. Мы молча шли дальше. Под каждым памятником скрывалась история. Все они жили, любили, страдали и надеялись, и большинство из них были верующими иудеями. Это была история ушедшего времени, короткого расцвета общества, в котором евреи нашли рядом с христианами место, где им позволили остаться.

На следующее утро я под прицелом камеры зашел в здание архива города Лодзи. Милена поприветствовала меня и повела в главный зал. На столе лежала заранее открытая пятисотлетняя книга. Страницы были заполнены от руки. Кто куда переехал и сколько там с кем прожил. Все было задокументировано, если происходило в пределах Лодзи.

– Даты рождения не совсем точны, – сказала Милена. – Если ребенок рождался дома и тем более, если это была девочка – событие для семьи менее важное, чем появление наследника, – отец нередко оповещал рабби или ведомство на несколько месяцев позже срока. И в тот момент он уже не помнил, в какой именно месяц и день появился на свет ребенок, тем более отцы тогда не присутствовали при родах.

Потом мы отправились к маленькому экрану. Там можно было смотреть микрофильмы.левой рукой Милена крутила маленькое

колесико, словно колесо судьбы. Появилось имя моей бабушки. Милена с плутовской улыбкой повернулась ко мне.

– А это твоя бабушка Иза, но, смотри, на самом деле ее звали Шейндла, красавица, или Иза... белла.

Вскоре она нашла еще и Лолу, и Цесю, которая рано эмигрировала в Буэнос-Айрес, а потом вдруг еще появился брат, о котором я никогда не слышал, – моя мать не была с ним знакома.

– Вот, Менахем Прусак, брат Шейндлы, Лолы и Цеси.

– О нем есть еще какая-нибудь информация? – спросил я.

– Нет, возможно, он уехал из Лодзи. Тогда записывали только переезды в пределах города. Но у него было два сына, Вацлав и Стефан.

– Что с ними стало? И с Лейбом и Алтой?

У меня дрожали руки. Никогда не думал, что посещение городского архива может оказаться таким волнительным.

– Вацлав и Стефан погибли в газовой камере Хелмно.

Воцарилось молчание.

– Лейб умер в 1921-м.

Вскоре после рождения моей матери. Он умер, так и не увидев внучки.

– А Алта?

– Последнее упоминание о ней – в 1940 году, в гетто в Кутно. Видимо, тогда она переехала в последний раз. Твоя прабабушка и прадедушка были родом из Кутно, это примерно в пятидесяти километрах от Лодзи.

Мы посчитали. Тогда Алте было уже восемьдесят лет.

– Если она дожила до 1941-го, ее точно должны были отправить в Хелмно.

Сегодняшний Хелмно национал-социалисты переименовали в Кульмхоф, а Лодзь – в Лицманштадт, желая превратить его в образцовый немецкий город с площадью Германа Геринга и улицей Адольфа Гитлера. Именно поэтому во время войны Лодзь не тронули.

С Хелмно вышло иначе. Хелмно стал первым лагерем смерти, созданным национал-социалистами в Польше. Еще не совсем продуманным местом уничтожения, первым шагом к тому, что последовало потом. Он был уничтожен, когда первые сообщения просочились в прессу.

В гетто людям приходилось жить в нечеловеческих условиях – доступ к канализации был заблокирован, распространялись опасные болезни. Неудивительно, что евреи радовались, когда за ними приезжал грузовик, чтобы увезти их в другое место. Им давали еду и новую одежду. Людям старались создать приподнятое настроение. Важно было избежать подозрений. После прибытия заключенных вели во внутренний двор. Там им объявляли, что они должны принять душ и пройти дезинсекцию и тогда их наконец отправят на рабочие места в Германию. Все происходило спокойно и дружелюбно, чтобы избежать паники. Заходя по пандусу в очередное помещение, люди не подозревали, что оказались в кузове грузовика со встроенной газовой камерой. Дверь закрывалась. Водитель заползал под машину, соединял шлангом выхлопную трубу и кузов и заводил мотор. Люди погибали за восемь-десять минут. Для верности мотор не выключался пятнадцать минут. Неподалеку виднелась католическая церковь. Водитель снова убирал шланг и вез трупы в лес, где их сгружали в братские могилы. Ямы выкопали недостаточно глубокие, и в процессе разложения возникли проблемы. Трупы пришлось перезахоронить. Для этого привезли евреев из соседних гетто, которых потом убили выстрелами в затылок. После этого трупам начали размалывать кости, и утилизировать «отходы» стало проще. Вскоре нацисты поняли, что это слишком хлопотный и затратный способ. А главное, с тремя имеющимися грузовиками нельзя было осилить больших объемов.

С 1941-го по 1945 годы в Кульмхофе было уничтожено от 150 до 200 тысяч человек, преимущественно евреев, но еще цыган. В живых осталось лишь двое.

В соседнем амбаре, который является сегодня частью музея Хелмно-над-Нерем, представлены личные вещи узников, найденные после войны. Игрушка, очки, зажигалка. В нескольких километрах оттуда, в лесу, установлен памятник.

Я молча стоял среди братских могил. Моя прабабка Алта Пруссак умерла от голода или болезней в гетто или была отравлена здесь газом вместе со своими племянниками, Вацлавом и Стефаном, ее дочь в это время ждала исполнения смертного приговора в Мадриде, а внучка боролась за жизнь в Гюрсе. Алта, Иза, Сала. Три поколения, одна судьба. Они друг о друге не знали.

Иза и Сала выжили. О судьбе и смерти Алты они так и не узнали.

Всему должен быть предел?

Однажды во время поисков мне в руки попал старый альбом комиксов. Автор и художник Хорст Розенталь был заключенным в лагере Гюрс в то же самое время, что и моя мать. На красной обложке нарисован простой барак, посередине него – круглая дыра, из которой торчит голова диснеевского Микки-Мауса. За баракom – простой забор, а снизу подпись: «Микки в лагере Гюрс, выпущено без разрешения Уолта Диснея». После короткого допроса французской полиции Микки привозят в Гюрс. Там его ведут в барак и ставят перед огромной стопкой бумаги. Через несколько минут из-за нее появляется голова.

– Ваши бумаги?

– Бумаги? У меня никогда их не было.

– Ваше имя?

– Микки.

– Имя вашего отца?

– Уолт Дисней.

– Имя вашей матери?

– Моей матери? Но у меня нет матери.

– Что? У вас нет матери? Вы хотите меня разо...

– Нет, у меня правда нет матери.

– Вы шутите! Я знал людей без отца, но чтобы без матери... Ну ладно, пусть так. Вы еврей?

– В каком смысле?

– Я спросил, еврей ли вы!!!

Микки пристыженно признался, что совершенно ничего в этом не понимает.

– Вы покупали что-то на черном рынке? Планировали заговор против государственной безопасности? Произносили антиправительственные речи?

– !!!!!!????????????!!!

– Гражданство?

– Эмм... Я родился в Америке, но я интернационален!

– Интернационален! ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН!! Значит, вы комму...

Скорчив ужасную гримасу, голова снова исчезла за бумагами.

На следующих страницах Микки проходит по разным инстанциям лагеря, пытается отправить письмо, но терпит неудачу под строгими взглядами цензора, проходит мимо одинокого человека, который сосредоточенно поливает растущие из глины жалкие растения, и безуспешно пытается пройти на женский участок. В бараке Микки с ужасом обнаруживает на своем столе скудный рацион. Потом отправляется в туалет и встречает человека, одетого как заключенный, который предположительно работает на сюрте^[31]. Он сердито ищет табак, который ему продали втроедорога за несколько дней до этого. И нервно дымит сигаретой, осматривая жабьими глазами лагерь.

По лагерю постоянно ходили все новые работы художников, принося радость не только детским сердцам. Как их удавалось беспрепятственно передавать друг другу под носом у администрации, которую Микки вежливо поблагодарил за роскошное жилье и изысканное угощение, остается загадкой. Образы оскаливших зубы барачников или прекрасной кухни, на которую богатых туристов приглашали в диетические туры, дарили осужденным смех – временную анестезию для измученных сердец.

Микки-Маус, датой рождения которого считается 18 ноября 1928 года, когда в нью-йоркском кинотеатре состоялся премьерный показ мультфильма «Пароходик Вилли», быстро обрел популярность во всем мире. Хорст Розенталь, похоже, еще надеялся в 1942 году на освобождение и потому, не желая ссориться с Диснеем из-за авторских прав, подписал под названием: «Выпущено без разрешения Уолта Диснея».

В последнем выпуске Микки не нравится новая родина. Он с облегчением констатирует, что является лишь персонажем комиксов. И решает себя стереть. С помощью нескольких широких штрихов он уносится в Америку, страну безграничных возможностей, и оказывается среди небоскребов Манхэттена. Пусть жандармы только попытаются его отыскать. Его не находят, но находят художника Хорста Розенталя, которому так и не удалось добраться до Америки.

Из школы домой я вернулся взволнованным.

– Мама! Папа! Перед школой стоит мужчина с машиной и продает комиксы про Микки-Мауса. Можно мне один? Пожалуйста!!!

– Комиксы? – немного резко переспросил отец. – На такую ерунду я денег не дам, почитай лучше что-нибудь приличное.

Мама рассеянно кивнула.

– Смотри, мама разрешает.

Отец молча посмотрел на нее. Она кивнула снова. Все ее тело неумышленно превратилось в вопросительный знак.

– Микки-Маус?

– Но они же забавные.

– Забавные?

– Дай ему уже денег.

Я бросился матери на шею, быстро взял деньги, пока отец не передумал, вскочил на велосипед и принялся крутить педали, пока не скрылся из вида. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Нужно наверстать упущенное время, хотя, возможно, человек с драгоценными комиксами уже уехал.

«Полчаса, и я сворачиваюсь», – предупредил он. Он был высокий и сильный, с зачесанными назад рыжими волосами и весь в веснушках – на руках, ладонях, даже лице. Я знал еще одного человека с веснушками, Сабрину, и несколько дней назад она категорично отказала мне в ответ на мое предложение руки и сердца с неубедительным доводом, что мы еще слишком молоды – хотя лишь незадолго до этого клялась в вечной верности и любви. Люди с веснушками оставляют не слишком много времени на размышления.

Я прижался к рулю, быстрее, быстрее, быстрее! Дыхание сбилось, я чувствовал, как по жилам бежит кровь, отчетливо слышал ее шум в ушах. Почти на месте. Вдалеке блестел на солнце бежевый «Фольксваген-жук», еще несколько метров, возможно, десять, максимум пятнадцать. Дрожащие ноги из последних сил давили на педали, я уже почти держал в руках вожаделенный комикс и снова видел перед собой удивленное лицо отца, когда он молча опускал в мою ладонь пятьдесят пфеннигов. К моему изумлению, несмотря на все свои принципы, он согласился. Мама поняла меня, она почувствовала, как для меня это важно. Я опустил голову, ее лицо улыбалось с пролетающего внизу асфальта. «Мама», – подумал я еще раз, врезавшись передним колесом в новенький «жук», и бесконечно медленно полетел вверх, и вверх, и вверх – пока не упал на землю. Второе сотрясение мозга за год. Родители были глубоко обеспокоены.

Они привезли столь тяжело завоеванный комикс ко мне в больницу. Я почувствовал, как кто-то гладит меня по голове. Это были волшебные руки отца: любой, к кому он прикасался, сразу выздоравливал. Я закрыл глаза, чтобы не мешать процессу исцеления.

«Микки в лагере Гюрс, – прошептала мать. – Дети всегда так радовались, когда выходили новые выпуски Хорста. Они даже мыли ручки, чтобы не испачкать. Мышь всех нас веселила».

– Что стало с автором? – спросил я.

Моя мать сидела на кресле в своей маленькой квартирке в Шпандау. Снаружи по-прежнему шел снег. Она посмотрела на желтый берет отца, висевший на крючке, убрала с лица седые пряди и уставилась перед собой. Потом коротко пожала плечами. О детях я спросить не решился.

В нос заползал тяжелый запах ладана, когда я в семь лет сидел на коленях возле елки и прислушивался к рождественской истории матери, дожидаясь, когда задрожит ее голос в этом году, когда она не выдержит и зарыдает, – каждый год она плакала возле елки, сотрясаясь всем телом, а мой отец утешительно гладил ее по спине или просто клал на нее ладонь, пока слезы постепенно не иссякали. В этом году я решил ее опередить. Она читала еще твердым голосом, а у меня уже дрожали колени – я каждый год видел, как это происходит у нее – я начал дышать все чаще и чаще, потом почувствовал первые беспокойные взгляды, но... Проклятье, слезы никак не хотели появляться. «Дыши, – думал я, – дыши, дыши...» Я успел заметить, как надвигается тьма – сначала серая, а потом черная, словно кто-то накрыл меня огромным одеялом, а потом я потерял сознание.

Немного позже я сидел за чашкой сладкого чая, опираясь на свой подарок. Младенец Христос положил для меня под елку железную дорогу фирмы «Марклин». Большой подарок, потому что в этом году я дважды лежал в больнице. На деревянной плите мирно бежал по рельсам поезд – через зеленые леса, мимо хижин и домиков, с блестящим черным локомотивом впереди, – я наблюдал за ним, полуприкрыв глаза, пока он, выпустив пар, не остановился на маленьком вокзале.

На табличке вокзала рядом с Гюрсом было написано «Олорон». Буквы облупились. Ветер с Пиренеев обдувал лицо холодом.

Первой машины они не услышали. Она медленно доехала до середины лагеря. Из нее молча вышли одетые в черную униформу полицейские чиновники. Вскоре после этого заехала вторая машина. Всего их было четыре. В проходе между бараками появилась мадам Фреве со свистком. По ее сигналу вышли все еврейки. Остальные могли оставаться в бараках. Некоторые расплакались, другие со стоическими лицами направились к грузовикам. Как и при прибытии, люди в черной униформе помогли им забраться в кузов. Сала возвращалась из туалета. Она быстро спряталась за барак. Начался мелкий дождь, и конвой уехал так же бесшумно, как и приехал.

Молча считая, надзирательница прошла по рядам. Острым карандашом она вычеркивала одно имя за другим. Сара, Рахиль, Дебора, Лана, Беша, Миндель, Мирьям, Бихри, Доротея, Хава, Жезабель, Ребекка, Тиква, Урсула, Рут, Юдит, Ханна, Джедида, Мими, Башева, Даниела, Дорис, Хайнке, Маргалит, Нурит, Шошана, Дина, Життель, Песса, Инге, Телзи, Зимхе, Таль, Мария. Ненужные тюфяки перетасили к выходу. В бараке Салы осталось лишь 23 женщины.

Три дня и три ночи Сала не могла заснуть от страха. В лагере еще оставались евреи. Мужчины, женщины, дети. Черные униформы возвращались снова и снова, пока не исчез последний еврей. Что с ними происходило, никто не знал. Ходили слухи, что их привозили обратно. Люди шептались о польских лагерях, условия в которых были еще хуже. Сала думала обо всех, кого успела полюбить в лагере. Написала несколько писем. Отцу, Лоле, Ханнесу и последнее – Отто. Все они были уничтожены. Ни одно не дошло до адресата. Сала знала: цензура неподкупна. С людьми что-то произошло. Здесь, в лагере, шел какой-то незаметный процесс, как тогда в Германии. Лица слились в одну бездушную массу. Она поднималась над улицами и площадями,

над горами и долинами. Казалось, чувства почти закончились, раскололись на остатки тревоги и постыдный прагматизм.

На четвертый день Сала упала в обморок. Ее отнесли в больницу. Там, обессиленная поносом и рвотой, она пережила следующую отправку. Она слышала свисток мадам Фреве, слышала крики, стоны, плач. Охваченная тупым страхом, она почувствовала смрад смерти.

Сала стояла перед своим тюфяком. Ее взгляд блуждал по немногочисленным вещам, которые будут напоминать о пребывании в лагере. Она не знала, что забрать с собой, и сомневалась, что вообще хочет что-то забирать. Предыдущим вечером ее поразила, словно молния, новость.

– Завтра можешь уезжать.

Никаких пояснений. Только это простое предложение. Словно ее выкидывают. Выкидывают на свободу? Вместе с другими женщинами Сала забралась в кузов.

– *Vous prendrez le train pour Leipzig et Berlin*^[32].

Назад в Германию? Почему? И почему Лейпциг или Берлин? На вопросы не оставалось времени, грузовик выехал из лагеря. Над Гюрсом вошел месяц. Солнце упало за сияющие алые вершины Пиренеев.

Куда?

По дороге на вокзал никто не разговаривал. Все задумчиво сидели на своих пожитках, направив взгляд в неизвестное будущее. Сала поняла сразу: она не сядет в одно купе ни с одной из этих женщин. Никто не должен узнать о ее прошлом, никто в Германии не должен знать, что она наполовину еврейка. Ей сказали, что после прибытия она обязана зарегистрироваться в местном отделении полиции. Бумаг у нее не было, только записка со штампом, подтверждающая ее нахождение в Гюрсе. Она спокойно порвала это опасное для жизни рекомендательное письмо. Обрывки бумаги закружились в ночной тьме. Один год, восемь месяцев, девятнадцать часов, тридцать семь минут и несколько секунд. Теперь она свободна. Это было странно. И больно.

Она зашла в поезд, пробежала по вагонам, словно у нее была определенная цель. Когда позади никого не осталось, Сала остановилась, тяжело дыша. От духоты на лбу выступил пот. Она

закрылась в туалете. В нос ударила едкая вонь. Так пахнет свобода? Впервые за много дней Сала решила посмотреться в зеркало. И содрогнулась. На месте рта зияла дыра, дрожащая голова безжизненно опустилась на грудь. Она и не представляла, что все настолько плохо. Хотя знала, что похудела. Ночь за ночью, движение за движением она чувствовала на тюфяке, как ее полупрозрачная кожа все сильнее натягивается на костях, и страдала от постоянной боли. Но это ничего. Изможденный взгляд, утратившие надежду глаза, дряблая кожа и даже преждевременные признаки старения не волновали Салу. Она этого ожидала. Девушка неуверенно прикоснулась к голове. Между пальцами слиплись влажные пряди. По лицу побежали слезы. Ее волосы. Красивые, черные, густые волосы целыми прядями падали с ее головы.

Она выпрямилась и заставила себя снова посмотреть в зеркало на незнакомое лицо. Потом повязала вокруг головы платок и вышла в коридор. В следующем вагоне она открыла дверь купе. Возле окна сидели друг напротив друга старик и его жена. Их лица излучали внутреннее единение. «Плохие люди так выглядеть не могут», – подумала Сала. Она заняла место рядом с дверью, со стороны женщины.

– *Bonsoir*^[33], – пробормотала она.

– *Bonsoir*, – прозвучало в ответ с немецким акцентом.

– *Vous allez jusqu'ou, mademoiselle?*^[34]

Тонкие волосы дамы были собраны в пучок. Темно-серая юбка, элегантный синий шерстяной жакет со светло-желтой блузкой. Верхняя пуговица расстегнута. На носу – очки в золотой оправе. Жидкие волосы мужчины были зачесаны назад. За массивными круглыми очками в роговой оправе блестели маленькие светло-голубые глаза – с любопытством и немного лукаво. Сала раздумывала, не притвориться ли француженкой. Обман вскроется самое позднее на границе, когда она не сможет предоставить бумаги.

– Я еду в Лейпциг, – сказала она.

Оба ей улыбнулись.

– Хотите шоколадку? – Дама отыскала в сумочке маленькую коробку. Открыв крышку, Сала зачарованно уставилась на блестящие светло и темно-коричневые конфеты.

– Из Монтелимара, – пояснил мужчина.

– С нугой, – добавила дама с улыбкой.

– Мы тоже живем в Лейпциге.

Сала отважилась сунуть руку в коробку. Она решила разговаривать как можно меньше. Осторожно откусив первый кусочек от шоколадки, она почувствовала защищенность, словно в дни раннего детства, когда ее родители еще бегали по лугам Монте Верита, держась за руки, а по вечерам, перед сном, отец приносил ей теплый шоколад. Тогда Сала еще молчала. Это было самое счастливое время в ее жизни.

Поезд спокойно грохотал сквозь ночь. Сначала Сала вздрагивала каждый раз, когда в окне купе появлялись тени. Пожилая пара погрузилась в чтение. Казалось, оба больше не обращают на нее никакого внимания. Монотонный стук поезда усыпил Салу. Проснувшись, Сала ненадолго утратила чувство реальности. Ей показалось, что у окна сидит ее мать и смотрит на нее ледяным взглядом. Сала хотела выпрямиться и подойти к ней, но ноги словно прибили гвоздями к полу – разделявшие их три метра казались непреодолимыми. Она попыталась что-то сказать. Но во рту пересохло, язык распух, будто она вот-вот задохнется. Это было другое молчание из ее детства, зловещее, возникшее незадолго до погружения ее мира во тьму. Сала нехотя прогнала старые тени и снова погрузилась в беспокойный сон.

На этот раз ее разбудил резкий скрип. Поезд остановился. Двигатели выдохнули. В тишине послышались тяжелые шаги. Они приближались. Сала осталась одна, пожилая пара исчезла. У нее внутри все сжалось. Куда ушли ее попутчики? Почему исчезли? Они были еще во Франции, но на оккупированной территории. Одно неверное слово, и ее могут отправить в тюрьму или в Польшу, куда вывозили других евреев. Какого дьявола она порвала в Гюрсе записку? Это был ее единственный легальный документ. Непозволительная глупость.

Дверь купе открылась. Послышались громкие голоса. Они говорили по-немецки? Сала напряглась всем телом и задержала дыхание. Стук собственного сердца заглушал голоса. Она осторожно выглянула в коридор. Через два купе от нее были немецкие солдаты. Двое стояли в коридоре, третий склонился над сиденьями. Потом они

перешли к следующему купе. Неужели поезд уже дошел до границы? Так долго проспять она не могла.

Сзади появилась пожилая пара. Они уверенно протиснулись мимо солдат. Не удостоив Салу ни единым взглядом, они молча зашли в купе и заняли свои места. Они ее выдали? Сала хотела обратиться к ним, когда дверь купе распахнулась.

– Ваши документы.

Сала вздрогнула от резкого тона. И невольно схватилась за рюкзак – нужно потянуть время, хотя она и сама не знала зачем. Солдат громко на нее рявкнул:

– Давай скорее!

У Салы задрожали руки.

– *Un moment, s'il vous plait*^[35].

– Что всем этим французам понадобилось в рейхе?

– *Pardon, monsieur?*^[36]

– Бумаги, и пошевеливайся, – приказал он.

Пожилая дама повернулась к ним.

– Ведите себя любезнее. У моего мужа больное сердце, он может не перенести таких волнений.

Солдат ошарашенно на нее посмотрел. Его коллеги подошли ближе. Они неуверенно смотрели на начальника. Его тяжелое тело качнулось. Шея налилась краской.

– Это пограничный контроль. И вы будете говорить, только когда вас спрашивают, понятно? – прогремел он.

Дама вскочила.

– Что вы себе позволяете? Я прошу не разговаривать со мной таким тоном.

Сала замерла. Ее тело похолодело. На мгновение она словно покинула его, чтобы лучше наблюдать за ситуацией. Она увидела, как толстяк всплеснул руками. Его товарищи придвинулись настолько близко, что оставалось только гадать – обороняют ли они позиции или готовятся к атаке. Пожилой мужчина в круглых очках страшно побледнел. Его дрожащая рука потянулась к верхней запонке. Из груди послышался слабый хрип. Он судорожно вдохнул.

Дама начала громко кричать:

– Эрнст! Эрнст! Ради бога, твои таблетки, скорее. Врача. Моему мужу нужен врач. Да помогите же, черт вас подери.

Солдаты тупо стояли на месте.

– Шевелитесь! – на удивление резкий голос дамы пробирал до самых костей.

Пограничники забеспокоились.

– *Je suis médecin*^[37], – спокойно встала Сала. И жестом подозвала главаря: – *Aidez-moi*^[38].

Солдаты равнодушно на нее посмотрели. Сала боялась, что, если она заговорит по-немецки, ее могут арестовать.

– Эта девушка врач, – быстро перевела дама. – Помогите ей.

Толстяк слегка оцепенело повиновался. Они вместе уложили мужчину на спину. Сала расстегнула его рубашку и принялась за массаж сердца. Она сказала даме делать мужу искусственное дыхание. Солдаты стояли и наблюдали за происходящим, раскрыв рты. Наконец толстяк пришел в себя. Он неуверенно сделал шаг вперед.

– Прошу извинить меня за мой тон, милостивая сударыня. Из-за этой войны у нас совсем расшатались нервы. Мы можем еще что-нибудь для вас сделать?

Дама не удостоила их даже взглядом. Ее муж медленно открыл глаза. Увидев толстяка, он снова захрипел. Толстяк рефлексивно отпрянул назад.

– Простите, милостивая сударыня, мы больше не хотим беспокоить вашего супруга. Если помощь вам больше не нужна, мы вернемся к своим обязанностям.

Солдаты осторожно попятились назад. Услышав очередной стон мужчины, они поспешили покинуть купе. Дама подняла голову.

– Имя, воинское звание! Когда мы приедем, я немедленно подам жалобу по вашему месту работы.

Дама встала и высунула голову в коридор. Группа торопилась прочь. Подождав еще несколько секунд, она повернулась в купе и с улыбкой кивнула мужу. Эрнст выпрямился и небрежно поправил одежду. Она протянула Сале руку.

– Ингрид Кербер, а это мой муж, Эрнст.

– Сала Ноль. Спасибо, – Сала не знала, что еще сказать.

– У вас превосходный французский. Вам есть где остановиться в Лейпциге?

Сала покачала головой.

– Вы действительно врач или только учитесь?

– Ни то ни другое. Я еду из лагеря в Гюрсе.

– Мы так и подумали. А теперь?

– Не знаю. Сразу после возвращения я должна зарегистрироваться в полиции.

– Вот, – дама протянула Сале визитку. – Если понадобится помощь, не раздумывайте.

Сала взяла карточку дрожащими руками, словно все мужество ее резко покинуло. Горло сжалось. Лишь с трудом она смогла прочесть: «Ингрид Кербер, Розенштрассе, 5, Лейпциг». Из-за слез строчки расплывались перед глазами. Она молча бросилась женщине на шею.

Одна на платформе. Снова осень. Вокзалы. Судьбы, что пересеклись и затерялись вдали. Берлин, Мадрид, Париж, Гюрс и теперь Лейпциг. Сквозь стеклянную крышу падал тусклый свет, такой же серый, как лица идущих мимо людей. Застывший взгляд опущен на землю – друг на друга они не смотрят. Сала подумала о бараках, из которых только что приехала. Там над головой рубероид, здесь стекло. Там на лицах – страх, печаль или тоска, здесь все казалось искаженным и неподвижным. В Гюрсе люди и смеялись. Да еще как. Только где они теперь?

Сала замерзла, Франция была далеко, боль после Гюрса не проходила. Неужели евреев действительно можно узнать по лицам? Сала огляделась. Она видела людей, слышала их голоса. Безжизненные и глухие, словно из глины. Их движения казались точно рассчитанными. Все шло по плану. Здесь даже погибнуть свободно было нельзя. И это ее народ? Разве она не плакала, садясь на поезд тогда, в Берлине? Что случилось с ее страной? Что, ради всего святого, произошло с этими людьми? Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ. Они тяжело ступали мимо. Картонные мишени. Переводные картинки. Обескураженные. Лизоблюды. Трусливые, уверенные в собственной правоте. Ограниченные. Подлые. Малодушные. Двуличные. Осмеянные и изнасилованные. Предатели, душегубы, убийцы. Без звука, без запаха, без чувств. Знакомые.

Ноги понесли ее к выходу. Мимо пробежал маленький мальчик с широко раскрытыми глазами, задел пухлую даму, споткнулся. Сала увидела, как слева на его куртке блеснула желтая звезда, мальчик упал на колени, со смехом вскочил и растворился в толпе.

– Проклятый жиденок, – прошипела дама, поджав тонкие губы. Ее глаза заблестели, но потом она снова уставилась перед собой и механически двинулась вперед, как все остальные.

Сала остановилась перед зданием вокзала. У нее колотилось сердце. Спокойнее, черт тебя подери. Не может быть, что через несколько метров ты начнешь двигаться так же, как они. Сопrotивляйся. Иди своей дорогой. Ритм задаешь ты, не они.

Двенадцать ударов вокзальных часов вывели Салу из оцепенения. Все вокруг закружилось. Она не услышала удара собственной головы об землю.

– Вы понимаете, что я говорю?

Откуда этот голос? Что у нее с глазами? Почему не получается держать их открытыми? Что-то сдавливало ей голову. Губы слиплись. Приоткрыв рот, Сала почувствовала, как надрывается кожа. Все болело.

– Где я?

– В женской больнице, в Лейпциге, я доктор Вольфхардт. Сегодня днем вы потеряли сознание, и вас с неясным диагнозом увезли в больницу.

В больницу? Что произошло?

– Вы что-нибудь помните? Вы упали?

Если она ответит «да», он спросит про документы.

– Нет.

– У вас что-нибудь болит?

Что ответить? Нужно выбираться отсюда, и как можно скорее. Сала покачала головой, и ей показалось, она чувствует, как внутри трясется мозг. Она закрыла глаза.

– Вы живете в Лейпциге? Мы не нашли никаких документов.

Ей вспомнилась визитка дамы из поезда.

– Кербер.

– Это ваша фамилия?

Она кивнула.

– Вы уверены?

Она кивнула.

Это единственный шанс, и она должна попытаться. Почему он так пристально на нее посмотрел?

– Госпожа Кербер, у вас сотрясение мозга. Мы еще несколько дней понаблюдаем за вами здесь, а потом можете отправляться домой.

– Спасибо, – улыбнулась она. Что-то было не так. Сала это почувствовала.

– Мы сообщим обо всем вашей семье. Ваши родители тоже живут в Лейпциге?

Возможно, он знаком с Керберами. Возможно, он знает: Сала не может быть их дочерью. У них вообще есть дети? Помогут ли они еще раз? Подвергнут ли снова себя опасности? С чего бы? Лишь потому, что она доверилась им в час нужды? А если она ошибается? Ожидает от них слишком многого?

– Да.

Доктор взял ее за руку. Она почувствовала его тепло. Сале захотелось сжать ладонь, но она лишь робко улыбнулась. На следующее утро возле ее кровати сидели Ингрид и Эрнст Кербер.

Сала была еще немного слаба, когда покидала больницу, но ей показалось, при прощании с доктором Вольфхардтом она заметила между ним и Керберами дружескую близость.

Зайдя в квартиру Керберов, Сала почувствовала приятную дрожь. Окна выходили на юг, в комнатах было светло и просторно. Все стояло на местах. Ничто не казалось тяжелым или навязчивым. В коридоре из часов выскочила кукушка. Сала испуганно рассмеялась. Невозможно представить нечто подобное у ее родителей, в Берлине или в Мадриде. Порядок успокаивал. Детей у четы Керберов не было.

В следующие дни Сала заговорила. В своем монологе, лишь изредка прерываемом короткими сочувственными вопросами, она пересказала весь свой путь, от Монте Верита и Берлина до Мадрида, рассказала о своем отце, своей матери, о Томасе, о встрече с Отто, о Париже, о Лоле и Роберте, не умолчала и про Ханнеса, рассказала о побеге и лагере в Гюрсе, рассказала о Мими, мадам Фреве и Микки-Маусе, об испанских анархистах, о своих мечтах о театре, о евреях, которые молча уезжали из лагеря в кузове грузовика, о закатах над Пиренеями. Сама того не заметив, она выложила перед Керберами всю свою жизнь, словно наконец вернулась домой после долгого пути. Их взгляд дарил ей поддержку, которую она часто получала от Отто. Германия могла быть и такой. Сала знала: здесь ее родина. И больше она никогда не уедет. Первые недели пролетели, словно день в череде лет.

– Сала?

Она посмотрела Ингрид в глаза. Серые волосы женщины свободными волнами лежали на плечах.

– Да?

– А ты не думала уехать в Палестину?

Нет, не думала. С чего бы? Она же не еврейка. И не понимает их жизни. Однажды эта жизнь обрушилась на нее, как проклятие, и отобрала все права. Она больше не могла жить, где хочет, не могла учиться, не могла любить, кого или как пожелает. Наследие матери лишило Салу всего, что было ей дорого. Да, евреи тут ни при чем – и что? При чем тут она?

Когда она вышла из поезда на вокзале, отвергшая ее страна – как отвергли ее отца и мать их родители – ударила холодом ей в лицо так сильно, так резко, что уже через несколько метров Сала упала на землю. И кто помог ей подняться? Кто забрал и спас ее? Эта немецкая пара. Бесстрашно, самоотверженно. Здесь есть и такие люди. Сала любила эту страну. Всегда. И ничего не могла поделать с охватившей ее странной болезнью. Она никогда не поедет в Палестину, никогда не почувствует себя еврейкой, никогда не станет такой, как мать.

– Нет.

– Почему нет?

Палестина. Как они до такого додумались? Это случайность? Они забрали ее из больницы, чтобы выходить? Почему у них такие доверительные отношения с доктором Вольфхардтом?

– Ты замерзла?

– Нет. Почему вы спрашиваете?

– Ты дрожишь.

Значит, дрожит. И что?

– Я устала.

Сала злилась. Она хотела уйти.

Сала проснулась среди ночи от бьющего по окнам дождя. Попыталась встать, но поняла, что не чувствует ног. Повалилась обратно на кровать и вцепилась в матрас. Сердце колотилось. Сала медленно вдохнула. Абсолютно спокойно. И вслушалась в ночь. Тишина. Потом снова попыталась встать. На этот раз успешно. Подошла к окну. У Керберов оставаться опасно. Немцам доверять нельзя. Возможно, она несправедлива, но проверять это слишком рискованно. Раньше она всегда считала, что разбирается в людях. Но это раньше. Теперь все изменилось. Сала тихо собрала рюкзак. Куда? Если удастся сбежать, она будет свободна, как птица. Напишет письма.

Может, отцу? Или это слишком опасно? Отто? Она даже не знала, где он. Анне. Надо написать его матери, Анне. И спросить, где ее сын. Но если обо всем узнает Инге и Гюнтер натравит на нее своих приятелей-нацистов? Она напишет Анне и представится бывшей однокурсницей ее сына Отто. Ну а потом, если все получится? Они с Отто окажутся одни в Лейпциге. Или далеко отсюда. А если Отто нет в живых? Если он погиб на фронте, на востоке или где-нибудь еще? Отто. Она вспомнила, как он стоял на лестнице в библиотеке ее отца. Он не слышал, как она вошла. Увлеченно разглядывал книги, достал одну, понюхал, залез пальцем между страниц, словно под юбку. Она сразу в него влюбилась. Он ворвался в ее жизнь. И тогда она сильнее всего на свете желала, чтобы он ее похитил. И до сих пор ему об этом не рассказала. Возможно, пора? Написать ему: заberi меня отсюда? Только одно предложение. Но как он ей ответит? По какому адресу? На почту. Нет, тоже слишком опасно. А если написать, что она каждый день будет ждать его возле почты в двенадцать часов? Ведь Сала будет. Всего лишь две наспех написанные строчки. В утренних сумерках она отнесет на почту письмо для Отто. Анна не решится вскрыть конверт, адресованный сыну. Сестры тоже: в конце концов, существует тайна переписки. Сала опустила рюкзак и села за письменный стол. Приютившая ее пара – хорошие люди. Как она может им настолько не доверять? Сала выскользнула из квартиры еще до того, как Керберы проснулись.

Она остановилась в переулке. Сколько она уже пробежала? Ноги болели. Было холодно. Сала обхватила себя руками и задумалась.

Чуть позднее она вышла на площадь Аугустусплатц, к зданию почтамта. Оно напоминало дворец прошлого века. Похоже, манией величия страдали уже тогда. Как поступить? Просто зайти, отдать конверт в первое же окно и сразу выйти. Вокруг ходили другие люди. Никто не обращал на Салу внимания. Работник почты не глядя взял письмо. Она быстро толкнула по белому мрамору монету и повернулась, чтобы уйти. Совершенно спокойно. Не бросаясь в глаза. Медленно и уверенно двинуться к выходу, как все остальные.

– Фрейлейн.

Голос прогремел по залу. Сала замерла. Теперь все взгляды были направлены на нее.

– Фрейлейн.

Насмешливо и колко. Лица вокруг слились в ухмыляющуюся массу. Все молча ждали начала спектакля. Что ему нужно? Что она сделала не так? Может, просто убежать? Как можно скорее? Сала посмотрела сотруднику почты в глаза. Насколько далеко отсюда до выхода? А потом? Площадь огромна, пересекать ее слишком опасно, шансов нет – нужно сразу повернуть либо направо, либо налево. Почему она не продумала это, заходя в здание? Залезая на дерево, нужно прикидывать, как будешь спускаться. Урок, усвоенный ею еще в детстве.

– Тут не указан отправитель.

Служащий смотрел холодным змеиным взглядом, готовый раздавить ее при первом же неверном движении. Сохранять невозмутимость. Взять конверт, написать любое имя, любой адрес, улыбнуться и уйти.

– Прошу прощения.

– Пожалуйста.

Она спокойно направилась к выходу. Еще несколько метров. Взгляды? Вот еще. Никто не обращал на нее внимания. С чего бы? Идет война. У каждого свои проблемы.

Письмо Отто отправлено. Опознает ли кто-нибудь в ней еврейку на улице? На что обратить внимание? Доносчик может поджидать на любом углу, каждое промедление может положить конец ее скитаниям. Она бесцельно бродила по улицам.

Уже в сумерках, свернув на Розенштрассе, Сала увидела перед домом Керберов человека в длинном кожаном пальто. Лица она не разглядела, он стоял к ней спиной. На нем была шляпа. Спрятавшись у входа в подъезд на противоположной стороне улицы, Сала проследила за его взглядом – он смотрел в окна третьего этажа. Квартира Ингрид и Эрнста была ярко освещена. Он исчез за входной дверью. Ингрид подошла к окну. Она казалась взволнованной. Их взгляды встретились. Ингрид положила руку на стекло, словно хотела прикоснуться к Сале. Сала узнала этот взгляд. Сколько раз она видела это выражение лица в Гюрсе, когда в лагерь тихо приезжали грузовики? Трижды? Да, и каждую следующую ночь, в своих снах. Ингрид коротким жестом пригласила ее войти. Нет, она велела ей уходить. Сала должна исчезнуть. Возможно, мужчина позвонил в дверь. Из-за угла выехал черный автомобиль. Фары и мотор были отключены. Вскоре после

этого из дома вышли Эрнст и Ингрид в сопровождении незнакомца. Сала попятилась. Водитель помог посадить Ингрид и Эрнста в машину. Их лица светились под фонарями. Сала задрожала. У нее закружилась голова. Главное, не упасть в обморок! Соберись! Почему она к ним не побежала? Почему не помогла? Она их бросила. Их, единственных людей, которые обошлись с ней по-человечески. Водитель завел мотор, и машина растворилась в ночной тьме. Все произошло быстро, как в Гюрсе. Почти бесшумно. И ни слова от соседей. Когда подъехала машина, во всем пятом доме был выключен свет. Все словно вымерли.

Они помогли ей. Эта фраза крутилась в голове. А она? Она наблюдала из своего убежища. Как в Гюрсе, когда увозили первых евреев.

Улица снова опустела. Сала прошмыгнула к дому. Перед дверью она заметила пачку таблеток. Быстро оглядевшись, Сала наклонилась и подняла ее. На упаковке была написана одна единственная буква. Большая «В». Эти таблетки выписали Сале от головной боли. Возможно, выходя, Ингрид намеренно выронила их из сумочки? Сала зашла в подъезд. Осторожно поднялась по лестнице. Дверь на третьем этаже была открыта. Слышался взволнованный шепот. По коридору скользили тени, из одной комнаты в другую. Семейная пара. Соседи с верхнего этажа. Наверное, это они оповестили гестапо. В чем обвинили Керберов? Что они укрывают еврейку? Как соседи это поняли? Сала посмотрела на зажатую в руке упаковку таблеток. «В»? Соседи запихивали всё подряд в свои сумки.

Сала бежала по улицам. Город превратился в лабиринт. Почувствовав изнеможение, она заходила в какой-нибудь подъезд и, охваченная страхом, садилась на ступени. Задремав на несколько минут, Сала просыпалась вновь из-за кошмарных снов, выбегала на улицу, спешила дальше, дальше и дальше, навстречу скудному свету раннего утра, в котором показались первые силуэты.

Сала сидела перед доктором Вольфхардтом в его кабинете. Прежде, чем она успела что-то сказать, он приложил указательный палец к губам и скупым жестом показал на стену, а потом на свое ухо. Сала поняла. Потом он заговорил с ней деловым тоном, поскольку речь шла об устройстве на работу.

– Почему вы хотите выучиться у нас на медсестру?

При этом он быстро написал что-то на бумажке и придвинул записку к Сале.

КАК ИНГРИД И ЭРНСТ?

Сала пожала плечами.

– Мой жених – врач, помогает нашим солдатам на фронте.

Сала написала на бумажке:

ИХ ОБОИХ ЗАБРАЛО ГЕСТАПО.

Доктор Вольфхардт ошарашенно на нее посмотрел.

– Сколько вам лет?

– Двадцать четыре.

Он задумчиво кивнул.

– А вы не думали тоже получить медицинское образование?

– Нет, я хочу как можно скорее служить родине.

– Чем вы занимались до этого?

– Заботилась о родителях. Оба тяжело больны.

– Какой диагноз?

– Врожденная иммунная слабость к бацилле, побороть которую пока что не удалось.

Доктор Вольфхардт резко втянул воздух. Сала видела: у него на глаза навернулись слезы. Он глубоко вздохнул и снова взял себя в руки.

– Моя жена ведет школу для медсестер. Нам нужны заинтересованные ученицы. Пожалуйста, не забудьте бумаги.

Сала вздрогнула. Вольфхардт улыбнулся и подмигнул, словно говоря: «Не беспокойтесь».

После обеда Сала сидела на кровати в общежитии медсестер. Мопп Хайнеке, крепкая девушка с приветливым лицом, рассказывала

ей о распорядке дня.

– Утром обход главврача. Перед этим мы должны помыть пациентов, если нужно – сменить повязки и так далее. Это не так страшно. Увидишь.

Она помогла Сале разложить в шкаф немногочисленные пожитки.

– Потом они вихрем проносятся по палатам. Шеф говорит, остальные важно кивают, а мы мотаем на ус, что нужно сделать. Говори, только если тебя спрашивают, но сначала тебя никто спрашивать не будет. И ты тоже не задавай вопросов. Не буди лихо.

Она расхохоталась.

– Ничему не удивляйся, но всегда делай вид, что ты в изумлении. Им это нравится. На самом деле, парадом командуем мы, и врачи это знают – во всяком случае, те, кто отпахал здесь несколько лет. Еще один совет: если тебе строят глазки, а с твоей фигурой это непременно произойдет, не покупайся. Кто быстро встает, быстро садится обратно. И руки прочь от женатых! От этого одни проблемы.

Сала едва удержалась от смеха. Таких, как Мопп, Отто называл «та еще штучка». Она излучала жизнерадостность и дружелюбие, ошеломившие Салу.

– У тебя уже есть любимый?

Сала кивнула.

– На фронте или здесь?

– Не знаю.

– Ну, хоть кто-то честный. А то я уже наслушалась таких сказок, что сами братья Гримм позеленели бы от зависти. А когда ты в последний раз с ним виделась?

– Три года назад.

– Считай, что вчера.

Они рассмеялись.

– И чем он занимается, если не стал пушечным мясом?

– Врач Красного Креста.

– Боже мой! А я тут шучу про врачей. Ты, получается, уже одним обеспечена. Но вы ведь не отсюда, верно?

Сала покачала головой.

– А ты?

– Из Саксонии, конечно, там красотки растут прямо на деревьях. Только деревьев почти не осталось, а красоток нынче слишком много.

Обе снова затряслись от смеха.

– У тебя-то уж точно от поклонников отбоя нет, – сказала Сала.

Мопп опять рассмеялась.

– Скажем так: если бы я принимала каждое предложение, собрала бы целую армию. Но в таких вопросах я держу себя в руках. Ну уж нет, я берегу себя для лучших времен. Рано или поздно они наступят, хотя никто и не знает когда. Закон природы.

Сала засмеялась.

– Ну, фюреру и природа не указ.

Смех Мопп резко оборвался.

– Осторожнее, следи за языком. У больничных стен тоже есть уши. Докладывают почти обо всем. Будь со всеми приветлива, но никому не доверяй.

Сала изумленно опустила взгляд. Как она могла поддаться легкости Мопп? У нее ведь даже документов нет.

– Ты находишься под защитой Вольфхардт – мы здесь называем ее святая Мария, – но именно поэтому тебе следует быть особенно осторожной.

Сала вопросительно посмотрела на Мопп.

– Здесь всем известно, что Марии начальство не указ. Большого сказать не могу. И знать большего не стоит. Так что лучше держи эту дружбу при себе. Не буди лихо.

Ночью, пялясь в потолок, Сала благодарила Бога и судьбу. Она молилась впервые с тех пор, как покинула школу Святой Урсулы. Тогда она утратила веру, но молитва в любом случае не повредит. Ритмичный храп Мопп погрузил ее в сон. Сала глянула сквозь полуприкрытые веки на новую подругу. Казалось, та улыбается даже во сне.

Через выходные Салу впервые поставили в ночную смену. Рано утром, когда она, измотанная и довольная, вернулась в сестринскую, то увидела через дверную щель кабинета свою начальницу. Сестру Марию Вольфхардт. Казалась, она работает день и ночь. Когда бы Сала ни проходила мимо, Мария всегда была на месте. Высокая, стройная, с прозрачной кожей, славянским лицом и огненными ярко-рыжими волосами. Когда она говорила, казалось, что при этом она продолжает обдумывать нечто важное.

– Сала?

Мария заметила, как она зашла. Сала подошла к ней.

– Да?

Мария протянула ей конверт и жестом предложила его открыть.

– К сожалению, твое прекрасное имя пришлось сменить на нечто подтверже.

Покраснев, Сала открыла свой новый паспорт и прочитала: Криста Майерляйн. «Значит, его сделал Майер», – подумала она. Ей впервые начало нравится ее настоящее имя.

– Бывает и хуже, – с улыбкой заметила Мария. Сала бросилась ей на шею.

Сала училась быстро. Ей приносили удовлетворение самые простые задачи. Меняя постельное белье и утки, делая перевязки или заправляя шприцы, она чувствовала себя полезной и радовалась благодарности пациентов.

Когда война закончится – ведь когда-нибудь это должно случиться, – она сможет работать в больнице вместе с Отто, поддерживать его в исследованиях. Потому что, как считала Сала, цель его жизни – наука. Он хотел менять мир, хотел двигаться вперед. Сала написала ему письмо от своего нового имени. Хоть она и не стала актрисой, но успешно исполняла двойную роль. Днем, в коридорах больницы, под взглядами врачей, сестер и пациентов, она была Кристой Майерляйн, неутомимой, терпеливой и прилежной; по вечерам, в своей комнате, когда выключался свет и ее соседка Мопп отправлялась в мир грез, она снова превращалась в Салу, путешествовала с Отто по миру, мечтала прожить с ним жизнь и иногда, сначала робко, а затем все решительнее, мечтала о семье. Впервые за много месяцев она начала испытывать что-то помимо страха. Неизведанные края лежали перед ней, дожидаясь завоевания. Потом вдруг темнело, и дверь закрывалась. Сала возвращалась назад. Отвергнутая. Одинокая.

У Мопп была ночная смена, и, хотя Салу дежурить не поставили, она решила помочь подруге. Они допили последние капли из старого кофейника. Ночь прошла без особых происшествий. Все было спокойно. Старая Фрида из двенадцатой палаты жаловалась на головные боли и грозилась пожаловаться главврачу, если ей не дадут ее обычных таблеток. Но обезболивающие заканчивались, а Фриде все равно не угодишь. Совершив последний обход, они вернулись в сестринскую. Дежурный врач спал сном праведника в соседней комнате, и Мопп принялась рассказывать байки из собственной жизни. Сале пришлось укусить собственную руку, чтобы не расхохотаться, пока Мопп живо описывала свои сексуальные приключения с одаренными и не слишком мужчинами.

– Тебе нужно книги писать, писать книги, – возбужденно шептала она и качала головой, положив руку на колено Мопп.

– Я тебе говорю: либо слишком длинный, либо слишком короткий, золотую середину встретишь редко. Грустно и смешно. Но знаешь, что хуже всего? Хуже всего те, кто никак не может закончить. Ради всего святого, я, конечно, терпелива, но иногда таким приходилось вставлять палец в зад, чтобы ускорить процесс.

– Нет! – изумленно уставилась на подругу Сала.

– Да, говорю же тебе.

– Они что, были педиками?

Мопп затряслась от смеха. Потом глубоко вздохнула и заявила:

– Детка, ты такая милая.

Громко завывала сирена. Через пять минут упали первые бомбы. Все произошло так быстро, что люди не успели даже испугаться.

Дежурный врач вскочил и, натягивая брюки, выскочил в коридор, где Сала и Мопп уже бежали с первыми пациентками в подвал. Бомбы со свистом неслись вниз. Прямо перед взрывом слышался глухой удар. У некоторых разорвались барабанные перепонки. В палатах, как и в подвале, взрывная волна выбила окна и двери. Улицу и двор затопил желто-зеленый свет.

– Еще хуже, чем в октябре, – сказала Мопп, когда они отвели в убежище последнюю пациентку. – Присмотри за новенькой из пятой палаты, она истеричка, сейчас начнется припадок. Встань так, чтобы ее не видели остальные. Массовая паника нам ни к чему. Вот вода, дай ей, только не слишком много.

В углу стоял врач, молодой блондин. Его синие глаза растерянно сверкали на испуганном лице.

– Господин доктор, устраивайтесь поудобнее, мы обо всем позаботились, – сказала Мопп.

Сала наблюдала за ней с изумлением, восхищаясь спокойствием и рассудительностью подруги. Каждое действие точно рассчитано, и все в быстром, но не торопливом темпе.

Тем временем загорелись стропила. Мария Вольфхардт забежала в подвал, мимо комнаты, куда Сала закатила койку. Сала ненадолго замерла, потом накрыла плачущую от страха пациентку и последовала за сестрой Марией. Та уже исчезла в лабиринте темных коридоров. Сала кинулась за ней. Повсюду летела пыль, перерывы между вибрацией становились все короче. И без того слабый свет отключился. Сала на ощупь шла вдоль стены. Из маленькой комнаты падало в коридор немного света. Сала узнала силуэт сестры Марии. На полу рядом с ней горела свеча, пламя отражалось на рыжих волосах. Казалось, она спрятала что-то за выступ и задвинула канцелярским шкафом. Когда сестра Мария повернулась, Сала скрылась за ближайшим углом. Она видела, как Мария вышла из комнаты и исчезла в облаке густого дыма, который опускался с лестницы и быстро распространялся по помещению. Сала поспешила вверх по лестнице вслед за Марией. Кашляя, она бежала сквозь дым, потеряв Марию из виду, спотыкаясь об обломки, усыпавшие коридор, и наконец вырвалась сквозь пылающие искры на улицу. Мария бежала по площади к противоположному входу.

Казалось, атака закончилась. Среди руин возвышались пылающие стены домов. На улицах выли сирены пожарных и санитарных машин. На противоположной стороне улицы из окон дома вырывались метровые языки пламени. С третьего этажа выпрыгнул на пожарное спасательное полотно ребенок, следом за ним – мужчина с младенцем в руках. В больнице прогремело несколько выстрелов. Сала вздрогнула. Послышался рев и панические крики.

Из левого крыла больницы выбежал доктор Вольфхардт. Сала узнала его искаженное страхом лицо. Зажав под мышкой папку, он остановился перед женой и обхватил ее за плечи. Они торопливо сказали друг другу несколько слов. Судя по всему, они спорили, что делать дальше. Мария снова покачала головой, когда в фасад у них за спиной попала бомба и обоих погребло под обломками.

Вскрикнув, Сала резко остановилась, а потом, перескакивая через обломки, бросилась к стене дома – но в следующую секунду та рухнула на разбегающихся людей. Стальная балка спасла Сале жизнь. Она упала на выступающую часть стены и сдержала конструкцию. Я жива, стучало у Салы в голове, я жива.

В здании, где жили медсестры, уцелело лишь несколько комнат. Газовое отопление оказалось повреждено, во многих помещениях не хватало окон, крыша наполовину сгорела. Инструменты и операционная уцелели. К утру разбор завалов был окончен. Несмотря на холод, больница продолжила свою работу. Окна закрыли картоном, отопление починили. Уже к восьми утра приготовили завтрак. Сала с изумлением наблюдала, с каким неутомимым усердием работали люди. Настроение было почти позитивным, каждый помогал, чем мог. Шок почти не ощущался. Их называли невинными «жертвами беспощадного, убийственного террора союзных держав». Казалось, никто не придает значения тому факту, что это Германский рейх втянул мир в эту войну. В десять часов врачи ушли в ратушу на обсуждение сложившегося положения.

На следующий день пришли рабочие. Столяры, стекольщики, плотники, кровельщики. Армия прислала отряд строителей для уборки. Вскоре восстановили электрическое освещение.

Весь персонал больницы кормили в единственной сохранившейся столовой. Все сидели рядом, вперемешку – врачи и медсестры. Сала осторожно попыталась расспросить о потерях, а потом прямо упомянула фамилию Вольфхардта, но почувствовала по опустившимся взглядам – некоторые что-то знают, но говорить не решаются. Еще до обеденного перерыва Сала проскользнула в подвал. Здесь уборочные работы еще не начались. Мусор и пепел усложняли передвижение. Несколько раз Сала сворачивала не туда, но наконец ей удалось попасть в комнату, где сестра Мария что-то спрятала незадолго до

своей гибели. Сала отодвинула в сторону металлический шкаф. И обнаружила за выступом три папки.

После восстановления корпуса медсестер Сала и Мопп вернулись в свою старую комнату. Там, на своей кровати, Сала впервые открыла папки. Ее руки слегка дрожали. Сначала она не заметила ничего примечательного. Пациентами были в основном арийские дети, а не евреи, как изначально предполагала Сала. Совершенно обычные немецкие имена и фамилии. Старшего мальчика звали Пауль, ему было четырнадцать, и его записали как слабоумного. Как и остальным детям, ему был поставлен диагноз идиотизм. Сала прочла переписку малоимущих родителей с клиникой в Дёзене, на окраине Лейпцига. После пребывания в других клиниках детей направляли туда. Там они умирали через несколько недель или дней после прибытия. Сала с изумлением заметила, насколько похожи анамнезы и истории болезней. Клиника сообщала родителям о внезапной смерти – например, от дифтерии носа или от энтерита. И всегда говорилось о врожденном слабоумии. Подтверждающих результатов обследований Сала найти не смогла.

– Мопп? – Сала протянула подруге папку. – Кажется, Мария нашла доказательства преступления.

Мопп склонилась над документами. Повисла жуткая тишина. Во второй папке оказались еще более подозрительные записи. Мопп провела пальцем по строчкам. Наверху слева стояла печать обер-бургомистра города Лейпцига.

По циркуляру рейхсминистра внутренних дел дети с тяжелыми врожденными пороками развития должны получать необходимую медицинскую помощь и, по возможности, оберегаться от опасных заболеваний.

Вашему ребенку... с тяжелыми врожденными пороками развития, был обеспечен соответствующий уход с целью по возможности устранить или уменьшить недомогания. Даже в случаях, до сих пор считавшихся безнадежными, в некоторых обстоятельствах можно достичь определенного прогресса.

Пациент направлен для лечения в психиатрическую больницу Лейпциг-Дёзен. О дате приема вам сообщат из самого лечебного заведения. Прошу Вас явиться в указанный день для помещения Вашего ребенка в клинику.

Помощь, необходимая Вашему ребенку, не должна ограничиваться из-за финансовых издержек. Поскольку Вы не в состоянии покрыть расходы самостоятельно – разве только с помощью больничной либо другой вспомогательной кассы, – я прошу Вас явиться на консультацию в ближайшие дни. Если законная больничная касса возьмет на себя выплаты в рамках семейной помощи, издержки будут покрыты при приеме ребенка в заведение.

От имени

– Мопп.

Сала села рядом с подругой и протянула ей папку.

– Смотри, что написано в личных делах пациентов. Вот. «Поступление в лечебное учреждение Лейпциг-Дёзен 3 марта 1941, диагноз – идиотизм, умер 17 марта того же года». Здесь.

Они вместе склонились над актами.

– Других переводили в Гросшвайдниц, и они умирали там через несколько дней. Зачем переводить в последний момент? Не вижу смысла. К тому же, Гросшвайдниц – не детская клиника.

Мопп принялась листать дальше.

– Большинство направленных туда пациентов были взрослыми. – Она шепотом зачитала диагноз: «Реактивный психоз, умер через несколько дней после поступления в возрасте 22 лет». Или вот: «Поступил 3.10.43, маниакально-депрессивный психоз, умер 7.10.43», всего через четыре дня. Ни слова о течении пневмонии, от которой он якобы умер. Острый психоз, поступление 17.11.1943, смерть 28.11, и так далее... Страница за страницей...

– Мопп, что будем делать?

Они посмотрели друг на друга.

– В смысле?

– Мы должны что-то сделать.

– Есть предложения?

– Я попрошу перевести меня в Лейпциг-Дёзен. Им точно нужны медсестры.

– Ты только учишься, Криста.

– И что? Студентки там тоже пригодятся. Чем меньше человек понимает, тем для них лучше, нет?

– Сала...

Сала изумленно посмотрела на Мопп. Откуда подруга знает ее настоящее имя?

– Я...

– Как думаешь, почему тебя поселили в моей комнате? Мария мне все рассказала. Я должна была взять тебя под крыло. Тому, кто хочет пережить эту дрянь, не пачкая ежедневно руки и не отводя взгляда, нужны союзники. Мария и Райнер были моими ближайшими друзьями.

Сала взяла ее за руку. Мопп опустила плечи.

– Я даже не знала его имени. – Сала сжала губы. – Сначала я подумала, ему что-то от меня нужно. Знаешь, они все думают об одном, а в войну стало еще хуже. – Она отвела взгляд. Сердце громко колотилось в груди от стыда и скорби. – Если бы не он, возможно, я бы уже умерла от голода или попала в гестапо.

Мопп покачала головой.

– Райнер был другим, – сказала она. – И Мария тоже. Самая прекрасная пара, что я знала. К тому же они были совсем разными. Думаю, в других обстоятельствах их отношения вряд ли бы продлились дольше полугода. Мария делала все. Ничего не откладывала на завтра. Большинство считало, что она задирает нос, но на самом деле она просто всегда была на шаг впереди. А Райнер... Он был идеалистом, полным задумок, но слишком мечтательным, чтобы воплотить их в одиночку. Но его глаза заглядывали прямо в душу.

Сала молча погладила Мопп по руке. Ее подруга, которая, казалось, смеялась даже во сне, с таким угрюмым видом устала на лежащие на полу папки, что Сале стало страшно.

– Мой отец был бригадиром на стройке и смотался еще до моего рождения. Нацистская свинья, как говорила мама. Но все равно по нему плакала. И однажды не выдержала. Вернувшись домой, я обнаружила, что она повесилась на оконной раме. А мой отец, грязный

ублюдок, не придумал ничего лучше, кроме как влюбиться в мою тетку. Ее муж как раз годом ранее погиб на войне. Тут уж мне стало не до смеха. Тогда все и началось. Я начала делать глупости. Не возвращалась по ночам домой, путалась со всеми подряд. М-да. И однажды ночью я столкнулась с той проклятой бандой нацистов. Пьяных. Они с гордостью продемонстрировали свои повязки со свастиками. Хотели кое-что получить. Двенадцать человек. Один за другим. Некоторые по два, три раза. И при этом становились все злее. А разгневанные мужчины могут чаще. Это я узнала той ночью. Я просто лежала, не двигаясь и не открывая глаз. Возможно, в этом моя ошибка. Возможно, нужно было плевать. Кричать. Отбиваться. Не знаю. Но мне было страшно. Так страшно. Страшнее, чем при воздушных атаках. Иногда я думаю, это даже можно назвать плюсом. Теперь я уже давно не испытываю страха. Его попросту не осталось. Я свое отбоялась. А потом нужно решать – корчить ли из себя страдалицу или смеяться. Когда смеешься, не чувствуешь боли.

Мопп показала на сердце. Сала вытерла с лица слезы. Она продолжала гладить руку подруги.

– Знаешь, почему меня зовут Мопп?^[39]

Сала покачала головой. Мопп схватилась за волосы. И медленно стянула парик с головы. Ни волоска. Она была абсолютно лысой.

– Когда они со мной закончили, я потеряла все волосы. Вообще. А когда я впервые пришла в парике домой, тетя посмотрела на меня, словно я явилась прямиком из ада. А потом рассмеялась и заявила: выглядишь прямо как швабра, хоть бери и полы мой!

В комнате стало тихо. Сала слышала лишь ровное дыхание Мопп. Впервые в ее взгляде блеснуло нечто, похожее на гнев. И ненависть. Но потом она вдруг просияла.

– Но я подумала: врешь, не возьмешь. Ну уж нет. И сказала всем друзьям, чтобы теперь звали меня Мопп. Так я испортила тете все удовольствие. А потом познакомилась с Райнером. Странно. Но я сразу почувствовала: он другой. А когда увидела Марию, поняла: они – мое спасение.

– Почему они не рассказали тебе о своих подозрениях насчет детей?

Мопп задумчиво посмотрела в окно. Сале показалось, что прошла целая вечность, прежде чем подруга повернулась к ней вновь.

– Мария не хотела подвергать никого опасности. Она знала: я без вопросов сделаю для нее что угодно. Возможно, думала – с меня хватит. Но в таком случае, она ошибалась.

На ее лицо вновь вернулась улыбка. От лысой головы отражался свет. Потом они бросились друг другу в объятия. Крепкие. Бесконечно крепкие.

– Тебе туда нельзя. Они сильнее нас, – сказала Мопп.

– Но что мы можем сделать?

– Не знаю.

Сала посмотрела на подругу.

– Если мы не поможем, мы ничем не лучше их.

– Наша гибель никому пользы не принесет.

Умершие дети преследовали Салу даже во снах. По ночам она просыпалась от ужаса и пялилась до утренних сумерек в потолок, напрягшись всем телом. После этого каждое движение приносило боль. Дни пролетали, как в тумане. Сала будто наблюдала за собственной тусклой жизнью со стороны, пока наконец не замерла, словно пораженная молнией.

Она побежала к Мопп.

– Я знаю человека, который может нам помочь, – это журналист, я познакомилась с ним в Париже.

– Что ты задумала?

– Я отдам ему папки, он знает нужных людей. Он поймет, что с ними делать.

– Ты уверена? Эта война меняет людей, и порой самым неожиданным образом.

– Уверена. Я ему напишу.

– Ты знаешь, где он живет?

Сала удивленно посмотрела на Мопп. Об этом она не подумала.

Посреди ночи Сала набросала на бумаге несколько строк, прочла написанное, порвала листок и начала сначала. Слова не приходили. Тон получался слишком чопорным. Продолжая попытки, Сала поняла, что за последние месяцы внутренне отвергла Ханнеса.

Она попыталась вспомнить, как он выглядит. Рука следовала за карандашом. Через несколько штрихов она посмотрела на набросок его лица, вспомнила совместную ночь, темные круги у него под

глазами, отчаяние и одиночество, когда они стали друг другу чужими. На наброске Ханнес склонил голову влево с насмешливой улыбкой на губах – он всегда так делал, прежде чем потянуться и выдать остроумную, искрометную мысль. Сала отодвинула рисунок в сторону, провела рукой по пустому листу бумаги, словно хотела раскрыть новую главу, и принялась писать.

Три дня спустя у нее на кровати лежала телеграмма. Мопп отправила письмо в офис немецкого информационного агентства.

ПРИЕДУ УТРОМ ТЧК ХАННЕС

«Стой», – думала Сала, пытаюсь остановить жизнь. «Стой!» – крикнула она собственному сердцу, когда он вышел из поезда, еще более элегантный и красивый, чем прежде.

– Стойте, господин Рейнхард, – крикнула она Ханнесу вслед и бросилась к нему в объятия, когда он с деланным изумлением обернулся.

– Вы здесь, госпожа Ноль. Что за приятный сюрприз!

Он подбросил шляпу в воздух и поймал ее головой. Его пальцы пробежали по ее вновь отросшим волосам, губы насмешливо улыбнулись. Потом, не успев опомниться, Сала позабыла обо всем вокруг – на мгновение, посреди платформы, они стали единым целым: от вечности к вечности.

На следующее утро он исчез. Сон лопнул. Сала вновь и вновь закрывала глаза, пытаюсь уловить его тень. Ханнес снова сбежал. Сала лежала на кровати обнаженная. Положив руки на живот, она вспоминала короткую ночь. Зашла Мопп.

– Сала, вставай, все ждут внизу, сейчас придет главврач.

Она села на край кровати.

– Что случилось?

– Я полная дура.

– Мучает совесть перед твоим врачом?

Сала закрыла глаза.

– Гм. А документы? Твой весельчак сможет чем-то помочь?

– Он обещал, – сказала Сала. Ее пронзила холодная, тяжелая боль.

Она долгим взглядом посмотрела на Мопп. Подруга улыбнулась.

«Двенадцать мужчин, – подумала Сала, – выпавшие волосы... На что я вообще жалуясь?»

– Сейчас оденусь, – сказала она.

После обеда пришло письмо от Отто. Из-за смерти отчима ему одобрили заявление на отпуск. Дали одну неделю. Сала вспомнила, как четыре года назад, в квартире Лолы и Роберта, она бежала к двери после сообщения Селестины. Через несколько недель после первой ночи с Ханнесом. И вот опять. Они не знали друг о друге. Что от нее хочет судьба? Такие разные мужчины, и все же – словно две стороны одной монеты. Орел или решка? Четыре года от него не было никаких новостей. Как он теперь выглядит?

В своем письме он ничего не написал о войне. Она тоже умолчала о Гюрсе. Да и что о таком напишешь? Лучше всего было бы показать ему маленькую тетрадку с комиксом о Микки-Маусе Хорста Розенталя. Либо ты будешь над этим смеяться, либо поступишь, как мать Мопп. Сала взглянула в окно.

Она пришла на час раньше. Мопп вышла на дежурство вместо нее. Сала уже не могла представить без нее жизни. Лола, Мими, Мопп. В Берлине она таких женщин не встречала. Своенравных, сильных. Сала подумала о матери. И споткнулась, чуть не упав.

– Осторожнее, курица, – со смехом бросил прохожий.

Что этот кретин о себе возомнил?

Сала не помнила, когда в последний раз называла Изу мамой – лишь однажды, в Гюрсе, в грязи, но это другое, она была одна. Что они будут делать с Отто? Она ведь совсем не знает города. Уже несколько лет она не бывала ни в музее, ни в театре, ни на концерте. Не посетила ни одной выставки, не гуляла по улицам, не прижималась носом к витрине. Даже не прочитала ни одной книги. Она променяла свою жизнь на войну, подчинила ее законам чувства, мысли и поступки. Сала не догадывалась, сколько оттенков черного скрывается под свастикой.

Наконец она добралась. Ноги механически переступали по платформе. Раздался свист локомотива, в воздух выстрелили клубы влажного пара. Из вагонов начали появляться люди. Сала побежала мимо окон, разглядывая уставших людей, выходящих из купе. Его не

было. Как такое возможно? Он ведь написал. Поезд пришел из Берлина. Взгляд Салы взмыл вверх, к вокзальным часам. Правильное время, правильный поезд, правильный день. Ее сердце билось сильнее и сильнее. Что произошло? Последние пассажиры направились к выходу. Впереди стояло лишь несколько печальных фигур. К ней повернулся какой-то старик. Сала прошла еще несколько шагов вперед, остановилась, присмотрелась – нет, Отто там не было. Горько разочарованная, она уже собралась повернуться и уйти. Вполне справедливо, она обманывала и предавала его – возможно, он это почувствовал. Может, кто-то видел ее с Ханнесом, тогда в Париже, или несколько дней назад здесь, в Лейпциге? Какой-нибудь солдат, которому Отто показывал ее фотографию. И он предупредил Отто: она тебе изменяет, зуб даю. Может, именно поэтому все эти годы она напрасно ждала вестей? Хоть бы он пришел. Она изменится. Больше никогда не посмотрит ни на кого другого. Есть только он, только Отто, теперь она поняла. Сала во всем признается, он должен ее простить. А о его жизни в прошедшие годы расспрашивать не станет. Они были еще молоды, но наступила война, и всем было страшно.

У нее за спиной послышалось шарканье. Она обернулась. Нет, неприятный старик, только не сейчас, он заговорил с ней, нет, она не позволит себя облапать какой-то свинье с голодным солдатским взглядом. Если бы они не последовали за фюрером, словно бараны, то не пришлось бы теперь выпрашивать любовь.

– Сала.

Она повернулась, кипя от гнева и презрения.

– Сала?

Откуда он знает ее имя? Что этот лысый от нее хочет?

– Сала.

Нет. Не может быть. Это не он. Не Отто. Что они с ним сделали?

Они брели по развороченным улицам. Останавливались. Сала молча поднимала взгляд. Шли дальше. Упорно и оцепенело. Из земли торчали обгорелые руины. Медленно, постепенно ужас отступил. Он взял ее за руку. Заключил в объятия. Сала, рыдая, приникла к узкой груди. Она страдала. И чувствовала свободу. Теперь она поняла: ее судьба – Отто, и только Отто. Сала не выбирала ее, но могла поклясться, что теперь готова ее принять.

Они не говорили ни о Гюрсе, ни о России. Дождь шел, не прекращаясь. Ни днем, ни ночью. Четыре года – стертые, выброшены, канули в темноту. Остались на изнанке их жизней. Ханнес? Она лишь упомянула имя. На этом все. Достаточно. У них всего несколько дней.

Они сидели в комнате Салы. Перед уходом в ночную смену Мопп подготовила для них изысканный стол. Настоящий кофе и по печенью для каждого. Сала подумала о докторе Вольфхардте, о папках Марии. Возможно, было бы лучше, если бы они попали к Отто.

– Как дела дома? – спросила она, подливая кофе.

– Его больше нет. Дойчланд-халле, собор Святой Ядвиги, Немецкая опера, театр на Курфюрстендамм, половина Темпельхофа...

Сала перебила:

– Отто, я не про город.

Отто умолк.

– Ты виделся с моим отцом?

Он глубоко вздохнул.

– Он ничего, мало-помалу.

– В смысле? – Сала подавила дрожь в голосе.

– Его поймали.

– С юношами?

Отто кивнул.

– Присудили десять лет каторжных работ. В Берлине. В Шпандау, у Сименса^[40]. На ночь ему позволено возвращаться домой. Но ведь это лучше, чем в каком-нибудь лагере.

– Лагере?

– Осужденных по его статье отправляют в лагеря вместе с евреями и цыганами.

– Кто сказал?

– Доктор Майер, мой начальник в Красном Кресте.

– Как он выглядит? Не голодает? У него есть теплая одежда? Как он разговаривает? Спрашивал обо мне?

Отто снова кивнул.

– Я дал ему денег. Он очень о тебе беспокоится, говорит, ты должна уехать из Германии, и как можно скорее, – он взял ее за руку. – Он прав, Сала, для тебя тут слишком опасно.

Она гордо показала ему паспорт.

– Криста?

Он молча посмотрел на нее, а потом прыснул.

– Криста... Ну какая ты Криста, кто придумал такое имя?

Она шлепнула его, потом погладила по редеющим волосам.

– А твоя семья? – Она ненадолго умолкла. – Ты стал куда красивее, чем прежде.

Отто сухо рассмеялся.

– Может, они еще отрастут. В России несколько парней поседели за одну ночь, одному из них только исполнилось двадцать два. Стали грязно-белые, как снег. За одну ночь.

Он откусил печенью.

– Гюнтер потерял на Восточном фронте левую руку и правую ногу. Симметрично. Теперь он дома, греется у печи и строит из себя героя войны, болтает о ледяном ветре и замерзающей на лету моче. Жалкое зрелище. Эрна сказала, он постоянно унижал отца, потому что в Первую мировую того признали негодным из-за ранения в ногу. Ведь он сам пожертвовал ради родины рукой и ногой. – Отто покачал головой. – О том, что его ранили в первом же бою, а историй он понабрался в окопах, все дружно молчат, ведь наш Гюнтер – герой. Отвратительно. Бедняжка Инге. Она ждала от своего любимого фюрера совсем другого. Теперь ее сокровище искалечено, играет с приятелями в скат, в курсе планов фюрера и разглагольствует о политике, наслаждаясь заслуженными пивом и водкой. Ублюдок, – Глаза Отто наполнились слезами. – Видимо, в один из таких вечеров мой отчим упал за печью на пол. Никто даже не заметил. Только мать, когда вернулась домой. Он был уже холодный и окоченевший. – Он стер с лица слезы. – Он всех нас колотил. Мы голодали, если я и мать не поддерживали семью на плаву. Но плохим человеком он не был, просто одиноким и слабым. Его сломил ужас окопов Первой мировой войны.

Отто молча думал о своем отчине: мертвец, застрявшем между двумя войнами, которые на самом деле никогда не заканчивались, пьяном калеке, ищущем путь домой, к семье, которая его не понимала, к жене, которая его не уважала, к детям, которые, кроме Инге, были ему чужими и боялись его. Всеми забытый, он искал убежища у теплых стен печи, хотя не мог заплатить за уголь.

– Странно, я никогда этого не осознавал, но думаю, я любил его.

В ту ночь они занимались любовью. Впервые за четыре года. А на следующее утро Отто собрал вещи. Он уезжал обратно на фронт.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возвращайтесь назад, пока не поздно!

Немецкие солдаты!

Вы видите сами: после катастрофы под Сталинградом ваш Гитлер проиграл летом решающую битву. Вы проиграли войну. Вы сами чувствуете: настало время возвращаться домой.

Зачем вы вцепились в нашу землю, ведь борьба бессмысленна?

Почему впустую жертвуете собой?

Вы воображаете, будто спасаете Германию, сдерживая русский террор.

МЫ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:

Так вы не спасете Германию, а разрушите ее до основания.

Нам ваша Германия не нужна, но нам нужна наша Россия – вся, до последней деревеньки.

Отто осторожно убрал листовку. Очевидно, русские сбрасывали их над войсками. Она прилипла между окровавленной рубашкой и шинелью солдата.

– Сквозное ранение живота.

Действовать нужно быстро. Отто научился ремеслу на фронте, на опустевших боевых полях России, в наскоро разбитых под сосновыми и березовыми ветвями медицинских палатках – совсем рядом с боевыми действиями, чтобы достаточно быстро оперировать раненых.

Рану в животе необходимо обработать в первые часы, иначе шансов у пациента не остается. Он либо умрет во время операции, либо не переживет дальнейшую транспортировку. Руки Отто, порхая, принялись за работу. Вдали гремела артиллерия. Разрезая униформу,

он случайно зацепился за орден. Железный крест второго класса. Отто солдатом не был. Он был врачом. И хотя он знал, что это не совсем правда, это ему помогало. Успокаивало и позволяло спать по ночам, чтобы жить дальше. Он верил в осмысленность собственного существования, пусть оно и становилось тяжелее с каждым стежком в полумертвом теле. Те, кто еще несколько минут назад с решительным видом шли по вражеской земле, убивая всех на своем пути, преобразались и падали за доли секунды, едва в них попадала пуля. Секунду назад герой, а потом вдруг раненый ребенок, беспомощный и одинокий.

Час спустя Отто резко проснулся от короткого сна. Палатку наполнили мухи. Его искусали комары, укусы жутко зудели. Отто вылез на улицу. И задумался, закрыв лицо руками. Ханнес. Это имя мелькало в его снах с чужим лицом, чужим телом. Что произошло? Отто попытался вспомнить лицо Салы. Она только назвала имя. Ханнес. И больше ничего. Никакой истории. Никаких подробностей. От них было бы только больнее. В любом случае она назвала его имя. И еще Отто узнал, что он журналист. Начальник в немецком информационном агентстве. Маловероятно, что когда-нибудь он окажется на фронтовом операционном столе и Отто придется его штопать. С другой стороны, если он военный репортер... Но тогда он не был бы начальником немецкого информагентства. Наверное, он из благополучной семьи. Возможно, это сыграло решающую роль. В любом случае разница есть. Сала то и дело жаловалась на недостаток культуры у Отто. И он это осознавал. Читать можно было сколько угодно, но он все равно оставался в этом мире чужим. Журналист. Жан тоже периодически писал статьи в газеты, в основном за гроши. Отто как врач будет зарабатывать после войны гораздо больше. Однажды Жан сказал, что для успеха в газетном деле ему не хватает наглости. Значит, его соперник успешный и наглый. Никогда не недооценивай противника – так звучал важнейший урок в секции по борьбе, это первое, что сказал ему Эгон после первого проигранного боя. И после этого он только побеждал. Отто не станет недооценивать соперника. Где сейчас может быть этот мерзкий тип? Благодаря профессии у него явно есть преимущества, он может не ехать на войну. Возможно, он получает бесплатные билеты на всевозможные мероприятия. На концерты, в театр, оперу – даже в военное время. Сала любит театр.

Для Отто этот мир всегда был закрыт. Он не хотел наблюдать за чужой жизнью, ему хватало яркости и в собственной. Как выглядит этот тип? Возможно, с густыми волосами. Сала так удивленно пялилась на его лысину. Постоянно переводила на нее взгляд. Зачем она настаивала, что он стал выглядеть только лучше? Кого пыталась убедить? Его или саму себя? Но ревность – недостойное чувство. Глупое, даже ребяческое. Сала не виновата. Его не было рядом. Их разделила война. Отто слышал подобные истории от многих товарищей, и некоторые были гораздо хуже – в конце концов, Сала его по-прежнему любит. Как Отто понял, она выбрала его. Другие получали лишь несколько строк, удивительно быстро доходивших до адресатов на фронте. После этого некоторые погружались в мучительные раздумья, а некоторые с причитаниями бегали по округе, пренебрегая своими обязанностями, что было особенно опасно ночью в окопах. Вопли о неразделенной любви подвергали опасности всех вокруг.

Нет. Категорически исключено. Печали одного не должны становиться всеобщей обузой. Отто решил считать причиной собственных бед войну, хотя покоя так и не обрел.

Салу вырвало третий раз за утро. Что же она съела? Обычно непереносимостью она не страдала. Мопп глянула на нее с кривой улыбкой.

– Ну, чего тебе хочется?

– В смысле?

– Чего ты хочешь съесть? Или аппетита нет?

Сала пристально посмотрела на подругу. К чему она клонит?

– Если аппетита нет, значит, ты отравилась или страдаешь от любовной тоски, а если тебе хочется всего сразу: то сладкого, то кислого, то пирожное, то огурец, то ты беременна.

– Нет.

– Что нет?

– Только не это.

У Салы навернулись на глаза слезы. Она сразу поняла: Мопп попала в яблочко. Она беременна. В последние дни ее одолевали странные ощущения, в какие-то моменты хотелось кричать от счастья, иногда – умереть от тоски. Она стала рассеянной, не всегда справлялась с обязанностями. Сначала она думала, что ее выбили из колеи неожиданные встречи с Ханнесом и Отто. Но когда Мопп озвучила неприятную правду, сомнений у Салы не осталось. Назначенное исследование было чистой формальностью. Она заранее знала результат и, что еще хуже, его чувствовала. Месячные прекратились. Это тоже было для нее необычно. У некоторых женщин такое происходит часто, но только не у Салы. На нее повлияли ни Гюрс, ни бомбежки. Только ответственность на себя она брать не хотела. Почему она не прислушалась к своей интуиции? Чувствовала ведь, от Ханнеса нужно держаться подальше. Сала оцепенела. Почему Ханнес? Почему она подумала именно о нем? Отец ребенка – Отто. Господи, нет, ей нельзя сейчас рожать, только не в нынешние времена и не в ее ситуации. А если сделанные Вольфхардтами документы разоблачат? Все случилось так быстро. Беспроblemно. Ребенок. Когда он родится, при оформлении документов у нее спросят имя отца. Если обнаружится, кто она на самом деле такая, ее обвинят в осквернении

расы. Кем бы ни был отец, ребенка заберут и отправят в приют или отдадут бездетным арийским родителям, если те вообще примут «еврейского ублюдка». Или отправят вместе с матерью в лагерь, куда-нибудь в Польшу, куда вывозили евреев из Гюрса. Из этих лагерей пока никто не возвращался.

– Что теперь делать? – она с сомнением глянула на Мопп.

– Хочешь его оставить?

Сала зарыдала, закрыв лицо руками. Все, через что ей пришлось пройти до сих пор, блекло перед этим вопросом. Как принять решение о чужой жизни? Что ждет ее ребенка в этом мире, кроме голода, страха и уничтожения? Теперь она наконец не одна, но все стало только хуже – любое решение заведомо неверно. Сала долгим взглядом посмотрела на Мопп, глядящую на нее с неммым вопросом. И медленно покачала головой. Мопп взяла ее за руку.

– Я все разужнаю.

Вечером Мопп подошла к ней.

– Как ты?

– Более-менее, – попыталась улыбнуться Сала.

– Ты ведь знаешь пациентку из одиннадцатой палаты на первом этаже?

Сала кивнула.

– Ее муж – профессор гинекологии, раньше работал у нас, где сейчас – не знаю, но он мог бы тебе помочь.

Сала вопросительно на нее посмотрела.

– Но он не вызывает сомнений, понимаешь, о чем я?

– Нацист?

– Ради фюрера он сам ампутирует себе правую руку и скормит Блонди^[41].

– Ты с ума сошла.

– Попробуй поговорить с его женой. Она милая. Но поспеши, долго она не протянет. Карцинома кишечника последней стадии.

На следующее утро Сала привезла тележку с завтраком в одиннадцатую палату.

– Доброе утро, госпожа профессор Дибук, я ваша новая медсестра, меня зовут Криста.

Уже несколько недель Эрика Дибук лежала в одноместной палате. Вообще-то, таких палат никому не полагалось. Из-за войны больница

была перегружена. Сале пришлось сделать над собой громадное усилие, чтобы смириться с этой несправедливостью, но что поделать? Судя по документам, женщине на кровати было тридцать семь лет, но выглядела она гораздо старше. Худые руки безвольно лежали на одеяле. Она попыталась сесть.

– Давайте без титула, он принадлежит моему мужу, а я не придаю подобным вещам значения.

Сала подложила ей под спину подушку, поставила перед собой поднос и начала осторожно кормить пациентку.

– Как у вас дела?

– Хорошо.

Она лежала на смертном одре – это было понятно даже дилетанту в медицине – и ответила на вопрос о своем состоянии лишь одним словом: хорошо. Она не жаловалась ни на еду, ни на недостаточное медицинское обслуживание и, в отличие от остальных пациенток, не причитала о войне и беспощадных атаках западных союзников. Что за человек был ее муж? Возможно ли служить этой бесчеловечной системе, не утратив собственного достоинства? Или ей так не казалось? Но она жила с этим человеком в одном доме, день за днем просыпалась с ним рядом, сопровождая его на пути в крошечный ад. Как врач, к тому же гинеколог, который давал клятву сохранять жизни, мог посчитать недостойным существования целый народ?

– У вас есть дети, госпожа Дибук?

– К сожалению, нет. Когда после нескольких обследований моему мужу пришлось принять этот факт, я очень боялась, что он меня бросит. Но он этого не сделал. Удивительным образом его любовь ко мне только окрепла. Мне пришлось все удалить. Матку. Знаете, я тогда почувствовала себя совершенно бесполезной. Юрген вернул мне чувство собственной ценности. Как человека – и прежде всего как женщины.

Она умолкла. Ее лицо просветлело. Сала протянула ей чашку.

– Странно. Раньше я ни с кем этого не обсуждала. Мы незнакомы, но вы – особенный человек. Я почувствовала это, как только вы открыли дверь. Вы уважаете других людей.

Так с Салой еще никто не разговаривал. Ни отец, ни Ханнес, ни Отто.

– А у вас есть дети? – спросила Эрика.

Сала покраснела.

– Нет.

– А хотите?

Сала перепугалась.

– Наверное, глупый вопрос. Об этом мечтает любая женщина, верно? – улыбнулась Эрика Дибук.

– А если не мечтает?

Эрика посмотрела на нее долгим взглядом, словно решила уберечь от ответа.

– Ах, – наконец произнесла она.

Остаток дня Сала провела будто в тумане. Тошнота улетучилась. Вечером ее вызвали к главврачу. Он вежливо предложил ей сесть.

– Пожалуйста, сядьте, сестра Криста.

Обычно главврач вообще не обращал внимания на ее существование. Что ему вдруг понадобилось?

Она посмотрела на него с тревожным ожиданием.

– Как вам у нас работается?

– Очень хорошо, господин профессор.

– Это радует, времена сейчас тяжелые, не каждый держит голову так высоко, как вы.

Высоко держит голову? Что она сделала не так? На что он намекает?

Он никогда не был другом доктора Вольфхардта. Это всем известно. И никак не прокомментировал его гибель, ограничившись холодным молчанием.

– Не будем ходить вокруг да около...

Ее увольняют. Или еще хуже. Кто-то раскрыл ее. Эрика Дибук? Та тихая улыбка, с которой она спрашивала Салу о детях, вполне могла выражать и ненависть. Жена знаменитого гинеколога, оказавшаяся бездетной, лежала на смертном одре перед молодой женщиной, беременной молодой женщиной, и к тому же еврейкой. От этой мысли Салу передернуло. Ну вот, она уже сама причисляет себя к евреям, отказавшись от спасительной половины собственного «я».

– Сегодня днем звонил наш драгоценный коллега Дибук. Завтра он придет навестить жену и хочет познакомиться с вами.

– Буду рада.

Главврач проводил ее к выходу.

– Коллега Дибук проводит стратегически важные исследования в клинике Лейпциг-Дёзен. Не дайте себя переманить. Нам сейчас крайне необходимы хорошие работники.

Он подмигнул ей.

На обратном пути Сала остановилась. Над головой светила луна, как тогда, в Гюрсе. Она вышла с территории больницы на улицу. Ей хотелось бежать. Нужен был воздух, чтобы все обдумать. «Но там, где опасность, растёт и спасительное»^[42]. Фраза крутилась у нее в голове, приглашая, если придется, еще глубже проникнуть на сторону врага.

Когда Сала вернулась в комнату, Мопп уже спала. Она присела на кровать подруги. Нежно провела рукой по ее лысой голове. Что бы она делала без этой головы? Куда бы ни стремилась душа, Мопп всегда пробуждала в ней сияющую улыбку.

Уже у себя в кровати, Сала легла на спину и устремила взгляд в небеса. Сколько раз она так лежала, глядя сквозь потолок на звезды? Если дьявол существует – а он являлся ей в разных лицах, – значит, существует и Бог. Присутствие одного доказывало присутствие другого. Сала прикрыла живот рукой. И тихо позвала в ночь:

– Отто.

Да, если это мальчик, она назовет его Отто. И покрестит его, чтобы он ничего не боялся и стал таким же умным и сильным, как отец.

Профессор доктор Юрген Дибук оказался статным мужчиной. Ясный взгляд, крепкое рукопожатие. Лишь водянистые голубые глаза вызвали у Салы смутную неприязнь, объяснить которую она не смогла. После довольно формального приветствия он последовал за ней в палату к жене. Подошел к кровати Эрики, наклонился, нежно поцеловал ее в губы. Сала держалась на почтительном расстоянии. Ее трясло при мысли, что, возможно, этот человек, который с такой любовью заботится об умирающей жене, делает смертельные инъекции детям в больнице Лейпциг-Дёзен или как минимум приговаривает их к смерти. Как она может принимать помощь от этого чудовища? Сала смущенно наблюдала за жестами и взглядами, которыми обменивались супруги. «Лицом к лицу», – подумала она. Способен ли человек одновременно любить и хладнокровно убивать?

Как он это оправдывает? Нет. Совершенно невыносимо. Эрика улыбнулась Сале, и он обернулся.

Главврач предоставил им свой кабинет. За последние два дня Сала оказалась здесь уже во второй раз. Вчера она шла сюда, словно в логово зверя, а сегодня – почти с надеждой. Секретарша подала чай и исчезла. Только теперь Сала заметила полки, заставленные профессиональной литературой. Имя Юргена Диббука сверкало на нескольких корешках. Профессор не обращал на это внимания, как человек, привыкший к всеобщему признанию.

– Моя жена вас очень ценит. Напомните, как вас зовут?

– Сестра Криста.

Он рассеянно кивнул.

– Могу я называть вас просто Криста?

– Конечно, господин профессор.

– Вы начинали здесь в школе медицинских сестер. Вас принимала госпожа Вольфхардт?

– Да, господин профессор.

Он пролистал документы.

– Трагическая гибель. Ее муж тоже погиб при бомбардировке, верно?

– Да.

– Итак?

– Я была... Я училась на переводчицу в Испании и во Франции.

– Есть диплом?

– Я бросила учебу, потому что влюбилась во врача. Немецкого врача, – быстро добавила Сала. – Мы планировали совместное будущее. Поэтому я сменила специальность.

– А почему здесь? Вы тут выросли? До этого жили в Лейпциге?

Он пристально, холодно смотрел на Салу.

– В ваших документах написано, что вы родились в России.

– Да?

– Да? – улыбнулся он.

– В смысле, почему вы спрашиваете?

– Буду с вами откровенен. Это избавит нас от лишних неприятностей. Если бы я решил проверить ваши бумаги, они бы оказались подделкой, не так ли?

Сала молчала.

– Можете ничего не говорить. Эти методы не новы и не слишком оригинальны. Фальсификаторы пытаются таким образом избежать запросов в местные административные учреждения, понимаете?

Сала не шевелилась.

– Как я уже сказал, давайте начистоту. Полагаю, вы ездили в Испанию или Францию по другим причинам. Откровенно говоря, – он наклонился к Сале, и она вдохнула резкий запах его одеколона, – откровенно говоря, – он сделал самовлюбленную паузу, – я считаю, что вы еврейка.

Сала знала: ей не победить в этом бою. Он уже окончен. На мгновение, она почувствовала глубокое облегчение. И лишь смутно слышала голос профессора.

– Или вы скрываете что-то еще?

Есть ли ей, что скрывать? Сала чуть не рассмеялась. Можно ли скрывать больше, чем собственное существование? Вдруг она почувствовала, как внутри закипает чудовищная ярость. Она высоко запрокинула голову. На шее и висках выступили жилы. Ладони сжались в кулаки.

– Я беременна, – выкрикнула она.

Профессор отпрянул. Его изумленный взгляд метнулся к двери, к окну и снова к двери.

Наброситься на него! Сдавить горло, задушить и спокойно выйти из кабинета. Спуститься по лестнице, выйти из здания, потом с территории больницы и бежать, бежать изо всех сил, спасая свою жизнь и жизнь ребенка.

Но куда? Внезапно силы покинули Салу.

– Я могу вам помочь, – внезапно сказал он.

– Я не хочу оставлять ребенка, – глухо прозвучали в тишине ее слова.

– С этим я тоже могу помочь.

Сала посмотрела на Дибуча. Казалось, он в нерешительности. В его взгляде промелькнуло нечто вроде мольбы. Она ослышалась?

– Понимаете, Криста – или как вас там зовут, – все это скоро закончится.

Сала посмотрела на него с изумлением.

– Вы имеете в виду жизнь вашей жены?

– И это, к сожалению, тоже.

– Вы ее очень любите.

Он кивнул.

– Мы знакомы с детства. Я всегда знал, что на ней женюсь. Мы провели вместе прекрасные годы. А потом... – Он перевел взгляд на окно.

Они замолчали.

– Помогите моей жене, я прошу вас. Вы ей нравитесь. Подарите ей еще несколько хороших часов, еще несколько дней или недель. А я помогу вам. И если вы хотите услышать мой совет: сохраните ребенка. В мире и без того достаточно зла.

В его последней фразе послышались новые интонации.

– Буду откровенен: когда все закончится, мне понадобится человек, который сможет сказать обо мне что-то хорошее. Это сделка, выгодная нам обоим.

Сала опустила голову. Ее дыхание выровнялось.

– У меня есть время на раздумья?

– Час.

Сала кивнула.

Профессор проводил ее до двери. И произнес ей вслед:

– Не забывайте, мы пока еще задаем тон. Даже если вы видели меня в минуту слабости, не забывайте об этом!

Сала поспешила наружу. Всего час. Она пересекла двор, побежала по улице, вдоль неработающих трамвайных путей, мимо руин, все время ускоряя шаг, она бежала, просто бежала, пока в голове не настал покой, пока она не нашла ответа среди развалин.

Сквозь разбитое стекло вылетели птицы. Ей двадцать пять. Но пережила она больше, чем иные в пятьдесят. В ней росла новая жизнь. И она хотела защитить эту нерожденную жизнь, у нее наконец появилось, за что бороться. Ребенок. Возможно, мальчик? Это полнейшее безумие. Все обстоятельства против. Сейчас для Салы нет ничего опаснее новорожденного ребенка. Но теперь они вдвоем. Сейчас всю Германию бомбят вражеские снаряды, чтобы разрушить это безумие, чтобы защитить и освободить таких, как она, а через несколько месяцев к ней обратится с криком о помощи новое существо. И Сала поклялась себе, что не оставит его в беде.

Ночью палаточный лагерь захватили, сопротивление было бесполезно. Не раздалось ни единого выстрела. Они стали пленниками Красной армии.

Уже три дня они маршировали по пронизывающему холоду. Некоторые падали, лишившись сил. К ним подскакивал красноармеец. Выстрел в затылок, и все. Лучше, чем остаться лежать на земле, медленно умирая от холода, или быть заживо съеденным дикими животными. Отто тщетно пытался предостеречь товарищей, которые разбивали лед и пили воду с грязной земли. Через несколько часов они, крича от боли, умирали от жутких спазмов. Оправившись от шока, выжившие начинали жутко сквернословить. Вырывалась наружу накопленная фрустрация из-за грозящего падения рейха.

Ребенок. Сала написала, непременно будет мальчик. Сын. Она назовет его Отто. Как отца. Как деда. Ноги стерлись в кровь. Отто их больше не чувствовал. Голод тоже отступил. За потреблением жидкости он строго следил. Периодически пил собственную мочу. Неприятный вкус вскоре нейтрализовался. Человек привыкает ко всему, только не к мысли, что он – пленник.

Оказалось, их вели в лагерь под Ростовом. Там им придется работать в лесу. Этой зимой люди будут умирать быстрее, чем мухи, лишь ненадолго усложнившие им жизнь. Отто попытался представить, каково это – держать на руках ребенка.

По ночам он слушал песни Красной армии. Если не мог заснуть, пытался завязать разговор с теми, кто не спал. Объяснялся жестами, с помощью рук и ног. Один из его товарищей знал несколько фраз на русском. Отто жадно ловил каждое слово. Он все время думал о ночном побеге. Если удастся сбежать, родной язык быстро снова приведет его в неволю. Чтобы добраться до Германии, нужно переодеться в русского рабочего или крестьянина. И освоить русскую речь. Без акцента.

Ему нравилось звучание, мрачные, меланхоличные интонации. Солдаты со смехом хлопали его по плечам, когда он пытался говорить

с ними, подсев к огню. Отто наблюдал, как они играют в дурака, быстро выучил правила и решился попробовать. Сначала он все время был дураком – ему не удавалось отбиваться от атак соседей. Но постепенно понял по хитрым взглядам, что в игре не обходится без мошенничества – нужно унижить противника. Самые сильные карты назывались козырями. Нападая на соседей, можно было кооперироваться с другими игроками, а для победы нужно было как можно скорее избавиться от карт. Тот, у кого оставались последние карты, и был дурак. Сначала Отто выучил разные ругательства, постоянно проскакивающие в речи солдат. Он снова оказался самым слабым – как в детстве и юности. Но у него была цель, и он не хотел оставаться дураком.

Им снова пришлось оставить позади двух товарищей. Все апатично отвели взгляд, прогремели выстрелы. Сначала умерло уважение, потом внимательность. Люди перестали замечать смерть других. Силы иссякали. Они оцепенело побрели дальше. Ненависть превратилась в равнодушие.

А если ребенок не его? Отто больше не думал о Ханнесе. Но теперь вспомнил. Он вдруг возник перед ним посреди карточной игры и воскликнул: «Дурак!» Отто посмотрел на него. Нахмурился. Он хотел броситься на него, выхватить винтовку, раздробить череп. Схватить за горло и сжимать, пока не затрещит гортань. Хотел заткнуть кулаком его глотку, вырвать язык, затащить в огонь.

– Дурак.

Этот мужчина, со смехом стоящий над ним, не может быть Ханнесом. Это русский солдат. Враг. Но не его враг. Он смеялся. Это игра. Отто сдержал гнев. Нужно держать себя в руках. Он в опасности. Он уже много раз видел на войне, как люди сами калечат себя из страха. Страх для солдата – самый опасный враг. Он заставляет вредить себе. Отто посмотрел на противника. Улыбнулся и сбросил карты.

– Сыграем снова, твою мать.

Солдаты заорали от восторга.

– Твою мать. Твою мать.

Скоро он перестанет быть дураком.

Голод. Слабые умерли в первые же дни. Другие жадно обменивались рецептами, подолгу обсуждали изысканное меню, подкрепляясь образами, возникающими в голове.

– Французы называют это филе, мы – вырезкой или карбонадом, такой кусок мышц в форме дубины, находится под поясницей, с каждой стороны. Мясо невероятно нежное и сочное, потому что животное этими мышцами почти не пользуется.

Вещал какой-то долговязый парень. Заключенные ловили каждое его слово. О женщинах больше не говорили, теперь обсуждали только еду. Герберт демонстрировал своими лапищами, как в мирные времена разделявал говяжьих и свиных туши во дворе у родителей. Их семья обеспечивала все окрестные мясные лавки. И в войну, должно быть, тоже не голодали.

– Говядину разрезают вдоль туши. Так мы получаем две симметричные половины и делим их на передние и задние четвертины. Передние ноги, спина, живот, задние ноги. Это называется грубая разделка.

– Моя мать делала по воскресеньям говяжье жаркое и пюре. Когда она ставила еду на стол, еще шел пар, – сказал тощий, как жердь, солдат. Ему было лет двадцать, но выглядел он как преждевременно постаревший ребенок.

– С каким соусом? Ты должен описать соус, иначе представить не получается, – сказал его сосед.

– А, соус, он, даже не знаю, его готовила моя мать, но он был... Такой... Кажется, коричневый.

– Приятель, ты совсем? – возмущенно глянул на него сосед. – Рассказываешь тут про говяжье жаркое, от которого слюнки текут, и дальше ничего? Я тебе сейчас рожу начищу, глядишь, и память проснется.

Парень никак не отреагировал. Он уставился в одну точку. Его лицо напоминало пустую комнату, в которой кто-то выключил свет.

Толстяк – когда он говорил, кожа у него на подбородке болталась, словно старая тряпка – поспешил к нему на помощь.

– Для этого берется мясо с ноги. Натирается солью и перцем и быстро поджаривается на масле со всех сторон – тогда поры закроются и мясо останется сочным внутри.

В ответ на его рассказ прозвучали стоны и вздохи. Завладев вниманием публики, толстяк с горящими глазами продолжил рассказ.

Было важно уточнить каждую деталь, обсудить всевозможные варианты, чтобы растянуть процесс. Никто не хотел преждевременно заканчивать эту совместную трапезу и снова сидеть в одиночку, страдая от голода, брошенный всеми, без матери, без семьи.

– Кладешь говяжьи мозговые кости в холодную воду и начинаешь готовить. Когда закипит, снимаешь пену и варишь бульон еще пять минут. Добавляешь мясо и порезанные овощи. Кидаешь соль, перец и можжевеловые ягоды и варишь два-три часа на слабом огне. Не забывая при этом периодически снимать пену. Потом достаешь мясо, нарезаешь кубиками и возвращаешь в суп или используешь как-нибудь иначе...

Бурные аплодисменты. Русские на заднем плане покачали головами.

Когда начались схватки, Сала явилась в клинику Лейпциг-Дёзен, к профессору Дибуку.

Сестры приняли ее в отделении неотложной помощи и повезли на каталке по пустым коридорам больницы. Сала чувствовала себя как в доме с привидениями – казалось, за каждой дверью поджидают души убитых детей. Здесь должен родиться ее ребенок? Путь казался бесконечным. В конце каждого коридора они поворачивали налево или направо, в следующее разветвление лабиринта. Дважды она видела в сумраке коридоров спешащих куда-то врачей. Между ногами стало горячо и влажно. Отошли воды.

Дрожа от бесконечной боли и слабости, Сала почувствовала, что ей ставят капельницу.

– Что делать, если я потеряю сознание?

– Когда ты нам понадобишься, мы тебя разбудим, – пообещала медсестра, терпеливая берлинка с сильными руками и удивительно чистой кожей лица. Она сделала Сале еще один укол.

– Что это?

– Стрихнин, детка, все остальное у нас закончилось, – она рассмеялась. – Нет-нет, не пугайся, просто успокоительное. Профессор сейчас придет. Наверное, ищет свой бон-бон.

– Ищет что?

– Свой партийный значок. В последнее время он постоянно его теряет, – она хихикнула. Потом опустила руку Сале на лоб. – Выглядишь анемично, милочка, у тебя недавно было сильное кровотечение?

Сала слабо кивнула.

– Сегодня утром. Целый поток.

– Ты в надежных руках. Будем надеяться, ребенок не доставит нам особых хлопот. Кто это будет?

– Мальчик.

– Мальчики нам нынче пригодятся. По мне, так лучше двое или трое, но их поди выкорми, верно? – она ободряюще улыбнулась. – Не переживай, милая, профессор знает, что делает, а чего не знает он,

знаем мы. У меня еще никто не умирал. А я уже помогла появиться на свет маленькому городу.

У Салы потемнело в глазах.

– Ну куда он запропастился? – акушерка посмотрела на часы. – Я пойду посмотрю и сразу вернусь, милая. – Она поспешила прочь.

Время тянулось бесконечно. Казалось, Сала лежит здесь уже много часов. Одна, в холодном коридоре. Видимо, где-то было открыто окно. Перерывы между схватками становились все короче. Между ног снова стало тепло. Она осторожно откинула одеяло. И посмотрела на простыню. Все было в крови. Сала изумленно приподнялась.

– Помогите, – прозвучал в коридоре ее слабый голос.

Где-то вдалеке пробежали по коридору две медсестры, не обратив на нее внимания.

– Помогите. У меня кровь. Черт подери, у меня кровь. Врача. Скорее.

Ужас. Наконец слышались шаги.

Она узнала голос профессора.

Ее ослепил яркий свет. Кто-то развел ей ноги.

В нее проникла рука. Сала с криком попыталась поднять голову, чтобы что-то увидеть. К ней вернулась ясность сознания. Она должна родить этого ребенка. Должна.

– У него обвитие пуповиной вокруг шеи. Повернуть не удастся. Он крепко застрял в родовых путях.

Сала ничего не понимала. Что говорит акушерка? Не сдаваться. Дальше. Дальше. Быстрее. Она услышала голос профессора.

– Кислород?

– Низкий.

– Щипцы.

Сала почувствовала, как в нее проник холодный предмет, а потом резкий рывок, словно из ее тела попытались вытащить грузовик. После этого вся боль исчезла. Тишина. Крик. Что-то мягкое и нежное на ее коже. Она увидела маленькую, помятую, посиневшую головку. Губы искали ее грудь. Приятная боль. По лицу Салы побежали слезы.

– Господин профессор, здесь что-то еще, посмотрите.

Стало тихо. Сала попыталась что-то разглядеть, но оба быстро повернулись к ней спиной.

– *Fetus Papyraceus*, – сказал профессор. В его голосе прозвучало любопытство.

– Плоский, как бумага, – сказала акушерка.

Сала изумленно выпрямилась. И успела увидеть, что, уходя, попыталась скрыть от нее акушерка. Ребенка. Сала закричала. Это был ее ребенок. Ее второй ребенок. Он выглядел, как сплюснутый эмбрион. Сала кричала. У нее быстро выхватили младенца. Продолжая кричать, она попыталась встать. Профессор силой заставил ее лечь обратно.

– Свинья! Почему вы мне не сказали? Свиньи. Вы свиньи. Мой ребенок. Верните мне моего ребенка! Пожалуйста. Я... прошу... прошу... мой ребенок.

Она потеряла сознание.

Сала пришла в себя в маленькой комнате. Где ее ребенок? Куда его унесли? Что произошло? Ее охватил страх. Внезапно раздался высокий, пронзительный звук. Сирена. Набат? Она осмотрелась. Комната была нормально обставлена. Перед окном стоял стол. Она услышала пение черного дрозда. Там есть сад? У противоположной стены возвышался книжный шкаф. Буквы на корешках терялись в полумраке. Стены обклеены зелеными обоями. Это не больничная палата. Где она? Внизу живота все пульсировало. Между ног – покалывало и тянуло. Сала попыталась встать, но была слишком слаба.

Кто-то стоял рядом с ней. Лица разглядеть она не смогла. У этого человека неприятно шелестела одежда. И он хрипло дышал. Сала снова попыталась поднять голову. Невозможно. Она почувствовала чью-то руку и раскрыла глаза. Перед ней стоял профессор Дибук. Видимо, она спала.

– Как вы себя чувствуете?

– Где мой ребенок?

– Младенца пришлось забрать. Не беспокойтесь, мы проведем обычные обследования, убедимся, что все в порядке. Роды выдались не из легких.

Он умолк, глядя в ее напряженное, полное ожидания лицо.

– Это девочка.

У Салы внутри что-то сжалось. Она старалась дышать спокойно.

– Вы носили близнецов.

Сала подняла взгляд. В ушах прозвучали слова акушерки.

«Здесь что-то еще» и «плоский, как бумага».

Она умоляюще покачала головой. Профессор взял ее за руку. Сала вырвала ладонь.

– Почему вы не сказали мне, что у меня близнецы?

Не нужно было приходить в эту больницу. Не нужно было соглашаться на помощь этого человека. Она посмотрела доктору в глаза. Его лицо было непроницаемо. Так смотрят только чудовища.

– Это тоже была девочка?

Профессор едва заметно покачал головой. Что он сделал с ее ребенком? Забрал для своих извращенных исследований?

– Возможно, мальчик. Мы этого не знаем. Я предполагаю, что плод погиб во время беременности. Его жидкости снова впитало тело матери, то есть ваше тело, и плод в сдавленном виде оставался в материнской утробе, пока не вышел во время родов.

Сала посмотрела на него с изумлением.

– Ваша дочь жива. И это главное. Радуйтесь, у вас сильный ребенок. Знаете, большинство считают, что все младенцы выглядят одинаково. Большое заблуждение. Они с самого начала отличаются так же сильно, как и потом. Я помог появиться на этот свет многим детям. Поверьте мне, ваша дочь своенравна, и у нее уже очень особенная судьба.

Я, подумала Сала, это я убила его. Она была слишком слаба, чтобы спорить. Ей хотелось побыть в одиночестве, а потом, потом – увидеть дочь. И мертвого сына. Возможно, завтра. Не сегодня. Завтра.

После того как Сала оправилась после родов, профессор забрал жену домой. Она не должна была умереть в больнице. Для этого была нужна Сала. Он все спланировал с самого начала. Тайную игру. Официально Салы и ее дочери Ады больше не существовало. «Так будет лучше, – сказал профессор, – ни у кого не возникнет глупых мыслей».

Когда они дошли, их отправили в лес, рубить деревья. После нескольких дней многие падали без сил или умирали прямо в лесу. На третий день Отто стоял в очереди к умывальнику. Он посмотрел в зеркало и заметил незнакомое, истощенное, раздутое от голода лицо в конце очереди. Видно сразу – человек на грани дистрофии. Его тело опухло, сухая кожа лоскутами свисала с конечностей. Отто обернулся, чтобы осмотреть больного, но краем глаза заметил, что незнакомец сделал то же самое. У него перехватило дыхание. Он осторожно посмотрел в зеркало и снова отвернулся. Лицо повторило движение за ним. Отто вздрогнул: истощенным больным был он сам.

Через несколько дней он проснулся в стационаре. По крайней мере, он еще жив. Забавное облегчение. Отто педантично наблюдал за своими симптомами. Замечал изменения в состоянии «пациента». Этот «взгляд со стороны» спас ему жизнь. Сделав усилие, он вспомнил, что за несколько дней до прибытия в лагерь начал чувствовать невыносимую усталость. Не мог вспомнить имен товарищей, с которыми провел последние годы. Забыл дату своего рождения, забыл, как оказался в плену. Во тьме возникла беременная женщина, где-то далеко. Страна и ее имя стерлись.

Никаких мыслей о сексе, лишь слабые реакции на окружающий мир, словно медленное приближение к смерти. Это помутнение прерывалось внезапными вспышками эйфории, за которыми следовал еще больший ступор. Он подсчитывал калории, пытаясь унять постоянный голод с помощью разума и побороть опасное оцепенение. Диарея и постоянные позывы к мочеиспусканию забирали все силы. Отто требовалось час или два, чтобы заставить себя подняться с кровати. Каждое движение, даже переворот с одного бока на другой, приходилось тщательно продумывать заранее. Поход в уборную превратился в сложную стратегическую задачу. Откинуть одеяло, чтобы не зацепиться при подъеме, выпрямиться, отсидеться, пока не пройдет головокружение. Ноги на пол, в башмаки, накинуть от сквозняка на плечи одеяло, придержать кальсоны – а лучше завязать покрепче, чтобы не спадали, три шага до двери барака, открыть ее,

пройти, закрыть. То же самое – с противомоскитной дверью. Не забыть палку, осторожно дойти до туалета. Не упасть. Ни с кем не столкнуться. Если все проходило успешно, еще какое-то время Отто вспоминал, зачем пришел. При этом от него не ускользали презрительные взгляды других больных. Взаимодействие с окружающими свелось к враждебному минимуму. Через три бесконечные недели он, как и большинство в лагере, тоже начал горбиться и передвигаться медленной, шаркающей походкой. «Походка пленных». Позднее он с сарказмом отметил в своем дневнике, что это искажение военного строевого шага – прекрасный пример иронии войны. Благодаря войне человек за несколько недель узнавал, что такое жизнь: медленное психофизическое разложение.

Она подошла к его кровати. Белоснежное лицо, густые гладкие волосы – темные, как и глаза. Когда она помогала ему, ее хватка была крепкой, но бережной. Она не делала различий между пациентами. Никакого жеманства, никаких лишних слов или жестов. Она ухаживала за дистрофиками одна. Иногда ей помогала пожилая женщина-врач, грузно проходя мимо апатично глядящих в пустоту пациентов. Здесь все говорили только о еде. Равнодушные монологи о ветчине, сыре, яйцах, выпечке, пирожных. Все хвастались своим богатством. Дома и в мыслях кладовые ломались от запасов. Чем больше человек говорил о еде, тем быстрее умирал.

Каждый вечер сестра натирала его пересохшую кожу мазью. Запах был невыносимый, но средство помогало. В лоскуты кожи, свисающие с тела, медленно возвращалось кровообращение. Она показала ему упражнения для укрепления ослабшей мускулатуры. Приносила ему еду и горячий чай. Улыбалась. Благодаря ей он чувствовал себя человеком. Не врагом. Она была еврейкой. Ее звали Маша.

Он не встретил в том лагере никого из сослуживцев. Возможно, их разделяли специально, чтобы избежать сговоров – Отто не знал. Между немецкими заключенными росло взаимное недоверие. Здесь каждый был сам за себя. Голода Отто больше не ощущал. Но добросовестно записывал каждую принятую калорию. Он хотел отсюда выбраться.

Лагерь был устроен, как батальон. Всем руководил комбат. После медицинского осмотра заключенных делили на группы. Члены первой или второй группы были полностью работоспособны, и их отправляли в лес; третья группа могла работать лишь с ограничениями, а дистрофики из ОК (*оздоровительной команды*) работать не могли.

Отто записывал свои наблюдения. Те, кто не работал, боролись с постоянно растущим чувством бессмысленности; те, кого слишком рано отправляли в лес, умирали от холода и голода. Пока остальные обменивались рецептами, Отто писал. По ночам он слышал, как люди бормочут во сне про еду.

– Георг, ты должен поесть.

Отто наклонился к соседу, исхудалому парню, который уже несколько дней копил полученную еду. Георг апатично пялился в одну точку.

– Я знаю, что делаю. Хочу хоть раз нормально наесться досыта, хоть раз заснуть без чувства голода.

Его монотонный голос дрожал. Ни взгляда. Ни эмоций.

Через несколько дней Отто увидел, что Георг устроил ночью под одеялом пиршество. Почти вся еда уже заплесневела. Желудок и кишки взбунтовались. Георг забился в тяжелых судорогах, его вырвало всем, что он так старательно сберег. Отто попытался его успокоить. Он притащил умирающего в лазарет. Еда. Голод. Еда. Голод. Голод. Голод. Голод. Еда. Смерть.

Проснувшись на следующее утро, Отто обнаружил, что Мартин, его сосед справа, лежит неподвижно. Он подпрыгнул, попытался нащупать пульс. Реанимировать бессмысленно, уже началось окоченение. Отто изнуренно повалился на нары. Он утратил способность ясно мыслить. Человек рядом с ним насмерть заморил себя голодом. Жадные руки сбежавшихся соседей нашли в его сумке и под матрасом съестные сокровища, по большей части испорченные.

В одну из следующих ночей Отто разбудили громкие стоны. Вглядевшись в темноту, он увидел: больной, лежащий через две койки, из последних сил мастурбирует. Его примеру последовал еще один парень.

– О чем думаешь, приятель? О чем? – задыхаясь, выдавил он.

– О хлебе... – ответил другой.

Он жадно вдохнул, закатил глаза, напрягся всем телом и хрипло выдохнул весь воздух. Мертв. Отто пялился в темноту. Впервые в жизни он боялся сойти с ума.

Русский солдат из лагерного командования ворвался в барак.

– Победа! Вы проиграли. Всё. Всё. Война окончена.

С ребенком на руках Сала спрыгнула на платформу. Она заметила отца, еще когда поезд подъезжал к перрону. Она побежала. Из глаз брызнули слезы. Она прижимала к себе дочь. Когда Жан повернулся, казалось, он постарел лет на двадцать, но блеск в глазах не потух. «Все тот же старый мошенник», – подумала Сала. Он стоял перед ней, взволнованно покачиваясь, а при виде внучки сложил губы бантиком.

– И кто ты?

– Меня зовут Ада, – сказала Сала, взяла дочь за левую ручку и приветливо помахала дедушке.

Жан заключил обеих в объятия. Сала почувствовала, каким он стал худым и хрупким. Провела рукой по его седым волосам.

– Пойдем, – сказал Жан. – Познакомитесь с Дорле.

Сала уже слышала о новой любви своего отца.

Дорле, или Дорхен, как ее любил называть Жан, на самом деле звали Дорой, и, как отметила при крепком рукопожатии Сала, имя весьма ей шло. Дора оказалась не только выше, но и гораздо крупнее ее матери Изы. Силачка, как позднее вечером написала Сала, сидя в комнате и сочиняя послание к Отто, – хотя не знала, куда отправлять письмо. Уже почти год от него не было никаких известий. Он даже не знал, что стал отцом девочки, совершенно очаровательной девочки. Но теперь, в Берлине, можно позвонить. Вероятно, его мать знает, где его найти. Как Анна перенесла войну? Теперь они – одна семья. Сала гнала прочь навязчивые опасения о возможной гибели Отто. Она знала, что он жив, – и баста.

На следующий вечер она слушала истории своего отца. Маленькая, пухлая женщина с улыбкой подавала немного спартанскую пищу. Точечка, как называла ее Дора, была не домработницей, как сначала подумала Сала, а давней возлюбленной Доры. *Ménage à trois*^[43]. Ее отец остался верен себе. Дора казалась такой же доминантной, как и Иза. Очевидно, все его познания в психоаналитике не спасли от повторения. А Точечку звали Точечкой, грубым голосом пояснила Дора, потому что она была точкой над «i» в ее любовной жизни. Рассмеялись все. Все, кроме Точечки.

Ада спала. Она оказалась спокойным ребенком. Каждые три часа она ненадолго просила грудь и засыпала снова. Но Сала все равно постоянно боялась. Если ребенок затихал, она прислушивалась к его дыханию. После этого она часто часами лежала без сна, прижимаясь ухом к груди дочери и слушая биение ее сердца.

Она думала о профессоре, верном вассале Гитлера. Он потребовал от нее подписать письмо, в котором говорилось, что в 1945 году, когда ей угрожала смертельная опасность, Дибук помог ей родить ребенка, а после этого, рискуя собственной жизнью, не только прятал до конца войны в своем доме, но и обеспечил всей необходимой заботой и защитой. Защитой, от которой она по собственной воле и к его искреннему огорчению отказалась после долгожданной победы союзных сил, чтобы отправиться на поиски своих родных. У Салы перед глазами возник ее погибший ребенок.

Проснувшись, Сала почувствовала, что ее спина промокла от пота. Она склонилась над Адой. Ее дочь спала. В ее бледном личике угадывались черты Отто. Где он сейчас?

Впереди простирался день.

Пять утра. Прозвучал сигнал к подъему. Отто поднимал возле двери туалетное ведро. Он потрогал себя за зад, чтобы проверить мускулатуру. Мышцы снова окрепли, дистрофию удалось преодолеть. Через два часа придет Маша. Он поможет ей, как и в предыдущие дни. За это она учила его писать кириллицей. Учеба помогала Отто двигаться вперед. Неделю назад они подали заявление руководству лагеря. Просили оставить Отто в бараке оздоровительной команды в качестве врача. Он еще недостаточно окреп для работы в первой или второй командах, но вполне мог пригодиться здесь, в лазарете. Отто каждый день ждал ответа. Он выглянул в окно. Бараки оздоровительной команды стояли на самом краю. Отбросы лагеря. Ожидание. Часов у него больше не было. Сразу после задержания их забрали красноармейцы. Модель марки «IWC Шаффхаузен». Элегантные, плоские, с черным кожаным ремешком и золотым циферблатом. Отто особенно ими гордился, потому что выиграл их. Выигранное значило для него больше, чем заработанное тяжелым трудом. Он сам не знал почему. Отто страдал опасным пристрастием к азартным играм. И потому строго запретил их себе еще до войны.

Здесь часы были ни к чему. Каждый день походил на предыдущий и служил точным образцом для следующего. Зачем часы? Время ползло не в такт. Отто была нужна задача, занятие, цель. О побеге и думать было нечего. Наивно было предполагать, что он сможет преодолеть этот бесконечный простор в одиночку. Единственное, что он там найдет, – смерть, поджидающую каждого беглеца.

С победой союзных сил в их иссохших душах затеплилась искорка надежды. И она в мгновение ока запылала ярким пламенем. Война закончилась. Скоро нас отпустят домой. Русские не так уж ужасны. Большинство относились к пленникам с уважением. С ними точно обращались лучше, чем с русскими заключенными в немецких лагерях. И поэтому сейчас их, возможно, отпустят на родину. Обрато к женам и детям, к родителям, к братьям и сестрам, дядям и тетям. Отто думал о матери, о Инге и Эрне, и даже о Гюнтере, проклятом нацисте. Живы ли они? Русские рассказывали ужасные истории о

разрушенных до основания городах. Отто хорошо помнил Берлин. Если так пошло и дальше, сейчас город лежит в руинах и пепле. Смогла ли Сала отыскать отца? Хочется надеяться, с ними ничего не случилось. Одни и те же мысли, день за днем. Если бесконечно повторять одно и то же слово, оно постепенно утратит свое значение и превратится в бессмысленный звук. И в какой-то момент Отто станет таким же, как остальные, – будет тупо пялиться в одну точку, рассказывать рецепты, копить еду, есть, наполнять туалетное ведро, и по новому кругу.

О, сколько бы он отдал за книгу! К чему полный желудок, если голодает разум? Он не хотел деградировать. Лучше застрелиться. Отто держался подальше от остальных. Плаксивый тон вызывал отвращение. Они шаркали, согнувшись от разочарования – все ценности, что им столь успешно внушили, потерпели крах. Прошлое было разрушено, будущее – недостижимо. В глазах всего мира его страна померкла навсегда. Германия стала инициатором двух мировых войн. Этого им не простит никто. Никогда. О каком будущем они могут мечтать? Должно произойти нечто совершенно новое. Но что?

Снаружи просыпался лагерь. Отто увидел первых заключенных, бредущих по плацу «походкой пленных». Оживление наступало лишь при раздаче пищи. Тогда все начинали бегать, греметь посудой или старыми консервами – в особом почете были белые жестяные банки американской фирмы «Оскар Майер». Многие доставали самодельные весы, желая убедиться, что их порция не меньше, чем у соседа. Иногда происходили потасовки, но уже через несколько ударов противники, дрожа, останавливались, чтобы не упасть в обморок. Отто не нашел ни одного человека, способного говорить о чем-то, кроме еды. Они уклонялись от любой работы. Прозябали в пустоте, где-то между землей и адом. Отто тоже приходилось вставать в очередь. Он не боялся голода, он стыдился товарищей. Глядя на них, о каких ценностях жизни можно говорить?

Пришла Маша. Он посмотрел на нее. Красивая. Ее тонкая рука победоносно размахивала запиской.

– Получилось. Комендант назначил тебя врачом в моем бараке. До дальнейших распоряжений.

Отто почувствовал, как по венам побежал адреналин. Летаргии конец. Он может работать. Врачом. Официально. Он будет уставать,

пахать дни и ночи напролет, до изнеможения – а если погибнет, то хоть не впустую. Ему ужасно захотелось подскочить к Маше и сжать ее в объятиях. Но вместо этого Отто лишь коротко поблагодарил ее и произнес положенное ругательство.

– Отто, ты говоришь по-русски все лучше и лучше. Но ругательства используй мимоходом, не так педантично, понимаешь? Иди сюда, мой друг.

Она прижала его к себе. Она сказала «мой друг». Когда он в последний раз слышал такие слова? От Салы, от Салы. Отто изумленно отпрянул.

– Пойдем, начнем утренний обход, – улыбнулась она.

После обеда в лазарет принесли мужчину с сильным кровотечением. У него не хватало двух пальцев на правой руке. Отто оказал первую помощь, остановил кровотечение и дал пациенту немного подышать хлороформом, чтобы спокойно работать.

Маша с довольным видом наблюдала за происходящим из-за его плеча.

– Такое часто бывает. Самосуд.

Отто бросил на нее вопросительный взгляд.

– Наверное, украл чужую еду. За каждый кусок хлеба – по пальцу.

Отто покачал головой.

– Почему не вмешается лагерное начальство?

– Внутренние дела заключенных их не интересуют. Но горе тому, кто утащит еду с кухни...

– А именно?

– Десять лет за кусок хлеба, двадцать за курицу.

– Это нарушение Женевской конвенции^[44].

Маша рассмеялась.

– Вы заключенные. Вы проиграли войну. Знаешь, сколько из-за вас погибло людей?

– Да. Мы военнопленные. Тем не менее у нас есть права.

Он сорвался на крик. Маша спокойно на него смотрела. Отто покраснел. Он совсем спятил? Он, немецкий солдат, рассказывал русско-еврейской медсестре о правах на этой войне?

– Забавный вы народ, – сказала Маша.

– Да, это точно. – Он помолчал. – Прости.

Ребенку не было и года. Его, горячего от лихорадки, принес крестьянин из окрестной деревни. Медицинское обслуживание в сельских областях было катастрофическим. Очень часто ближайшая больница находилась слишком далеко. Пульс у младенца был слабый. Мальчик. Он неподвижно лежал на столе. Времени оставалось немного.

– Воспаление среднего уха, – по-немецки сказал он Маше и показал на ухо. Русского названия он еще не знал. Нужно будет выучить в ближайшие дни. Этот случай – не последний.

Маша хотела сделать местную анестезию. Отто покачал головой. На счету каждая секунда, к тому же он боялся, ребенок не перенесет наркоза. Он вспомнил, как работал в берлинской больнице. Вскрыть, избавиться от гноя. Порхающими руками он сделал в барабанной перепонке маленький надрез и отсосал с помощью трубочки гной. Прошло меньше минуты, и в среднее ухо снова начал поступать воздух. Маша посмотрела на него с восхищением. Каждое движение было выверенным и быстрым. Ребенок смотрел на него, забыв о крике.

Слава о нем быстро разошлась по всей округе. Отто постоянно выполнял легкие и средние операции и обрел репутацию врача с исцеляющими руками. Кроме этого он занимался экземами, а еще последствиями возмездия и членовредительства.

Однажды поступил пациент, выпивший очень много соленой воды, чтобы вызвать у себя дистрофию. Он поверил слухам, что дистрофиков отправляют обратно на родину, потому что они непригодны для работы. Отто делал все, что мог, консультировал, ухаживал и работал, а потом обессиленно валился на нары в своем бараке. Маша всегда была рядом.

Несколько недель спустя Отто безо всякого предупреждения отправили на лесоповал. В лагерь прислали русского врача. Он оказался не нужен. Отто сердито следовал за отрядом.

На обратном пути он споткнулся об тело, замеченное снегом. Труп был наполовину раздет. В нескольких местах с него срезали ножом куски мяса. Вернувшись в лагерь, Отто поспешил в барак комендатуры. Распахнул дверь, ворвался внутрь и сообщил о случае каннибализма. Прежде чем комендант успел что-то ответить, Отто твердым голосом заговорил дальше.

– Я – врач немецкого Красного Креста. Отправляя меня в леса, вы нарушаете Женевскую конвенцию и за это ответите, как и за все остальное.

Уверенная, резкая русская речь сделала свое дело.

– Как пленный офицер, я решительно протестую. И ожидаю, что с завтрашнего утра меня определят туда, где я действительно нужен: в стационар.

Он ударил кулаком по столу, повернулся на месте и вышел из кабинета, не оборачиваясь.

На следующее утро он уже стоял за операционным столом и просматривал с Машей список пациентов, ожидающих помощи.

Через два дня он столкнулся с комендантом по пути в лазарет.

– Откуда ты так хорошо знаешь русский?

– Меня научила Маша.

– Читать она тебя тоже научила?

Отто коротко кивнул. Комендант улыбнулся.

– И что тебе нравится больше всего?

– Пушкин.

– Ты читаешь Пушкина?

Больше Отто не пытались перевести на другие работы. Когда они встречались с комендантом, то всегда здоровались со взаимным уважением. Однажды Отто нашел у себя на кровати двухтомник Пушкина. Каждый день он учил наизусть стихотворение.

– Здорово, Отто.

Хайнц обладал в лагере особым авторитетом. Он был членом Национального комитета «Свободная Германия», который потом преобразовался в антифашистское движение. И постоянно поглядывал налево и направо, опасаясь слезки. Заключенные из других стран называли эту причуду «немецким взглядом». В целом, Хайнц был безобидным. До войны он работал в скобяной лавке. Убежденный коммунист, он никогда не поддерживал нацистов. Отто относился к нему хорошо. Возможно, дело было в родной речи, возможно – в простой и прямой манере общения. Хайнц ему кого-то напоминал, но кого именно, вспомнить не получалось. Отто звонко рассмеялся, увидев, как он озирается, пока идет по абсолютно пустому плацу. Хайнц оттянул указательным пальцем левой руки нижнее веко.

– Нужно всегда быть начеку. Всюду подстерегают глазки. К сожалению, они есть и в наших рядах. Нынче честный человек может превратиться в предателя за тарелку каши.

Глазками называли доносчиков, которые оповещали командование о кражах и других нарушениях. Еще на ступеньку ниже находились кашисты. Они были готовы на все за двойную порцию каши.

– Сегодня вечер выборов. Ты с партией?

– О чем речь?

– Мы выбираем политический актив лагеря. И Вольфрам, наш старшина, просил передать тебе особое приглашение. Будем очень рады, если заглянешь.

– Не знаю, никогда не связывался с организациями.

– Господи, Отто, да ладно тебе. Ты же один из нас.

– Ну уж нет, я сам по себе.

– Слушай, на родине...

– Хайнц, даже не начинай. У меня больше нет родины.

– Но мы еще поем. Между прочим, красивые песни. Поверь.

– Этот трюк я уже проходил еще в тридцатых. Ничего другого у вас на уме конечно же нет. А песни, будто я не знаю, – сначала мы, немцы, начинаем петь, а потом бьем окружающих.

– Ошибаешься, Отто, очень ошибаешься. Мы хотим построить новую Германию, понимаешь. Снизу, а не сверху. Наши товарищи из Берлина, из восточной зоны, сообщают, что русские готовят там почву для нашего возвращения, а вот на западе все иначе, там по-прежнему у власти нацисты.

– Хайнц, не обижайся, но сейчас мы как раз расхлебываем последствия нового порядка, и я по горло сыт новизной.

– То есть ты хочешь оставить все, как есть?

– Знаю я твоих товарищей. Вон, спроси русских. Цвет другой, суть та же. Если долго скрести, коричневый станет красным.

Лежа на нарах, он думал о Сале, об их последней встрече в Лейпциге. Теперь у этого Ханнеса все шансы. Время работает на него. Даже если Отто вернется в течение полугода, возможно, будет уже слишком поздно. Никто не виноват. Это война. И заключение в плену – тоже война. Что бы ни происходило, война повсюду. Прошедшие годы изменили его навсегда. Как и Салу. Она тоже была в лагере. Но в подробности не вдавалась, лишь коротко упомянула. Когда он выйдет

отсюда, будет реагировать так же. О чем рассказывать? Как он периодически терял собственную личность, как наблюдал за товарищами, задаваясь вопросом, выглядит ли сейчас так же, как остальные? Он почувствовал это, когда обнял ее в Лейпциге. Она изменилась. Прежняя Сала возникала лишь ненадолго, как мимолетная тень. Что за игра ведется сейчас в том бараке? Он знал, как возникают такие группы. Некоторые – обычные люди. Старые социалисты. Или коммунисты. Их намерения искренни. Но они умалчивают о прошлом, как и все остальные. Как можно при этом построить что-то новое? О свинстве никто не говорит. Молчок. Никому не хватает мужества. Все иллюзии оказались разрушены. Они окружены живыми мертвецами, утратившими всяческое самоуважение. Ничего нового не получится. Страна заражена навсегда. Правильнее всего – все уничтожить, начисто стереть германский рейх с лица земли. Навсегда. А новое начало предоставить другим – тем, кто сейчас делит страну. И этим ребятам, что пресмыкаются перед антифашистами ради небольших подачек, всяким глазкам и кашистам, готовым предать соседа за ложку еды. Это новая свобода. Да плевать он на нее хотел. Свобода речи. Просто смешно. Пусть пудрят мозги кому-нибудь другому. Никто в лагере не разобщен так, как немцы. Другие народы держатся вместе. Когда японцам сократили выдачу дров, японский полковник приказал сжечь барак. Японцы тесной толпой сидели вокруг огня и со смехом грелись. Одни предпочитали вместе замерзнуть, но сохранить достоинство, другие шпионили друг за другом, воровали у товарищей хлеб, чтобы прожить на несколько часов дольше, и неважно, насколько это подло.

Но все же он решил сходить. Все лучше, чем валяться на нарах в бараке и пялиться в потолок.

Отто зашел в барак антифашистов. За фортепьяно сидел школьный учитель. Он играл «Интернационал». Предлагали водянистый кофе.

Хайнц радостно поприветствовал Отто и потащил вперед, где уже начал свою речь Вольфрам Лутц, старшина активистов.

– Товарищи.

Это был добродушный, чуть грубоватый человек, и Отто показалось, будто он знаком с ним с детства.

– Товарищи, мы собрались здесь сегодня, чтобы провести демократические выборы нового лагерного актива. Со стороны руководства лагеря очень великодушно позволить такую вольность нам, недавним врагам, причинившим столько горя им и их семьям. Товарищи, пожалуйста, не забывайте: это ваша ответственность.

Вольфрам подходил к делу без фанатизма, был открыт к объективной дискуссии. Но были и другие.

Отто прекрасно заметил косые взгляды. Сведенные от лжи и жадности тела, готовые донести на любого, лишь бы скрасить свое пребывание в плену. Они усердно готовились как можно более гладко войти в новое общество, где скоро начнут процветать старые добрые ценности – подлость, раболепство, предательство.

– Товарищи, прежде чем мы приступим к делу, я хотел бы напомнить, что руководство лагеря поручило нам, антифашистам, почетную задачу: идеологическое и культурное просвещение немецких заключенных. Это тоже исключительный шаг. Некоторые из вас помнят, как обращались с русскими заключенными в наших лагерях. То, что мы не несем за это коллективного наказания, большая любезность со стороны русских. Что касается всего остального, напоминаю: мы проиграли войну.

Несколько слушателей готовились хлопать в ладоши, но быстро опустили руки, услышав последнюю фразу.

– Итак, товарищи, а теперь посмотрите на этот список, – он продемонстрировал всем список имен.

– Список был составлен совместно с руководством лагеря. Хорошенько подумайте, прежде чем ставить крестик.

Бумаги начали ходить по рядам. Первыми в списке оказались имена людей, приближенных к коммунистам, их выдвинули русские. Но в конце Отто обнаружил имена людей умеренных взглядов. К его великому изумлению, выбрали именно их. Демократические выборы состоялись и закончились победой правильных людей. Все пили картофельную водку.

На следующий день результаты признали недействительными. Выбор был совершен под влиянием фашизма, и, к сожалению, стало очевидно: национал-социализм по-прежнему господствует в мышлении немцев. Руководство лагеря назначило других людей.

Они сидели в Кройцберге, в старой квартире на первом этаже. Все пришли полюбоваться маленькой Адой. Инге была беременна, Гюнтер похудел и выглядел на удивление неплохо, Эрна нашла себе мужа в порту – ее Пауль оказался прилежным работником, – а довольная Анна царила во главе стола с платком на голове и высоко засученными рукавами, словно она только что собственноручно убрала с улицы руины. Пустовало только место Карла. Тогда, в Лейпциге, Отто с такой печалью рассказывал о смерти отчима. Сала сжала ручку Ады, пытаясь побороть слезы.

– Боже, Пауле, только глянь: какая воздушная крошка! Можно растаять от одного вида, верно?

Эрна смотрела сияющим взглядом то на Аду и Салу, то на округлившийся живот Инге. Пауль добродушно кивнул. Ради счастья своей Эрны он был готов на все – он дал такую клятву и ее сдержит. На плите дымился айнтопф. С буфета вещало радио марки «Энигма», купленное Отто в подарок матери на первые заработанные деньги.

Свинина стоит дорого,
Говядины в обрез,
Пошли скорее к фермеру,
Там кости на развес.
И видят пусть, все как один,
Что в очереди мы стоим,
Как встарь, Лили Марлен.
Как встарь, Лили Марлен^[45].

Лили Марлен. Сала слегка вздрогнула, стараясь не привлекать к себе внимания. Но потом не выдержала и прыснула:

– Дети, вы только послушайте, ну и умора, как переделали песню.
– Да уж, времена меняются, – сухо заметил Гюнтер. Его голос стал ниже. Казалось, он еще не понял, как найти свое место в эти новые времена.

– Есть новости об Отто?

Все растерянно покачали головами.

– Он не погиб, иначе мы бы узнали. – Инге взяла руку Гюнтера и опустила на свой живот.

– Ого, как толкается – малец проголодался.

– Откуда ты знаешь, что это парень?

– Потому что моя малышка так похорошела, а когда женщина красива, значит, жди наследника.

– Было бы неплохо, – вмешалась Анна, – пополнение нам бы пригодилось, а то семья что-то поредела.

Она разливала по глубоким тарелкам жидкий суп. Сала тщетно попыталась найти хоть каплю жира.

– Поищи другую волну, с танцевальной музыкой, – Эрна покачала узкими бедрами.

– Только без негритянской музыки, – Гюнтер с отвращением отвернулся. Анна отодвинула от него тарелку.

– И без айнтопфа?

Сала заметила, как Гюнтер опустил голодный взгляд – сначала еда, потом мораль. Он оставался все тем же старым нацистом, как и Инге, бросавшая на мать гневные взгляды. Сала ухмыльнулась. Анна крепко держала в руках бразды правления, как повелось издавна.

– Мы совсем докатились, не хватало тут только негров с их музыкой. Увидите, что они сделают с нашей родиной. Все уничтожат. Как тогда, после Первой мировой.

– Давай, продолжай пресмыкаться, – сказала Анна, наливая ему половник супа.

Гюнтер проворчал себе под нос:

Где у немца родина?

В Пруссии, Швабии она?

Где на Рейне цветет виноград?

Где над Бельтом чайки кричат?

О, нет! Нет! Нет!

Родина больше – мой ответ [\[46\]](#).

Анна бросила на него сердитый взгляд. И повернулась к Сале:

– Худое споро не сживешь скоро.

– Оставь наконец в покое моего мужа. Вечно ты во все лезешь, вечно умничаешь. Гюнтер был на войне. Что ты об этом знаешь?

– Только гастроль получилась короткой, – проворчала Анна.

Она продолжила подавать на стол, не поднимая взгляда. Все молчали. Гюнтер действительно вернулся с фронта без медали «За отвагу». В тишине Сала попробовала еще раз:

– Вы вообще ничего не знаете?

Анна покачала головой. Она пододвинула к Сале тарелку. У нее под глазами залегли темные тени. Она уже давно перестала плакать.

Сала поселилась с Адой в Берлине у друзей отца. Эриха Блохера и его жены Клары. Почти всю войну Клара прятала Эриха с тремя другими евреями у себя на чердаке. За это время они влюбились друг в друга. Эрих был художником, после войны у него случился тяжелый инсульт, и он оказался прикован к инвалидной коляске. Клара все равно вышла за него замуж. Эрих постоянно твердил, что инсульт стал для него куда более тяжелым ударом, чем преследование евреев. Наверное, чтобы страдать, человеку нужна неповторимая собственная судьба, личное горе?

Аде было уже чуть больше двух лет. Сала была влюблена в ее темные глаза, черные локоны. Но как она ни пыталась, говорить девочка отказывалась. Она не произносила ни слова. Ни «мама», ни «нет», ни «да».

– Чего ты хочешь? Ей всего два года. Мечтаешь о гениальном ребенке? – сказал ей по телефону Жан. И рассмеялся. Она не стала рассказывать отцу о погибшем близнеце. И сама старалась о нем не думать. Сала рассмотрела телефонный аппарат. Новое устройство не висело на стене, как раньше, а стояло на специально подобранном столике, оно было меньше и элегантнее предшественника – из черного бакелита, со шнуром, который с интересом теребила Ада.

Эрих угрюмо уставился в тарелку. Он бранил американцев.

– Эти бездушные кретины думают лишь о собственном счастье. Вот увидите, они быстренько возьмут нас в оборот под ритм собственной танцевальной музыки.

– Ты просто завидуешь, – поддразнила Клара.

– Не-е-ет, завидую я Жану и Доре. Совершенно не понимаю твоего желания жить в этой проклятой западной зоне. Ты не замечаешь, что тут все опять повыползали из дыр? Они отравили газом миллионы евреев, но, пожалуйста, мы возвращаемся к обычной жизни, засучив рукава отстраиваем все снова, и неважно, насколько прогнил фундамент.

– А что им делать? Нельзя же арестовать целый народ, – возразила Клара.

– А стоило бы. Я хочу отсюда уехать. Прошу, Клара, подумай еще раз. Здесь все может закончиться плохо.

– Ой, Эрих, посмотри на коммунистические страны, свободы там тоже нет.

– А ты там была? – сердито спросил он. – Нет. Ну и все.

– Почему ты против американцев? Кто нас освободил?

– Русские.

Клара закатила глаза.

– Ты неисправимый упрямец.

Эрих окончательно разошелся. Он ударил ладонью по столу.

– Эти жующие жвачку макаки. Не выношу их пустой болтовни.

– Они снимают прекрасные фильмы, создают прекрасную музыку...

– Негритянскую музыку.

– Эрих, ты расист – негритянскую музыку, уму непостижимо! Черных преследовали веками, как и евреев.

– Ты что, сравниваешь меня с негром? А кино там снимают европейские евреи – Билли Уайлдер, Роберт Сиодмак, Эрнст Любич, Майкл Кёртис, перечислять можно долго.

– А я хорошо отношусь к неграм. У них гениальная музыка, такая грустная. Уж лучше этих клезмеров.

После ужина Сала отправилась спать. Ада уже заснула. Сала изнуренно залезла под одеяло. Но стоило выключить свет, и сон как рукой сняло. Она считала и считала. Все было слишком дорого. Продукты выдавали только по ордеру. Яйцо на черном рынке стоило 15 марок, полкило муки – 35. Кофе и картофель купить было невозможно. Они голодали сильнее, чем во время войны, меньше еды давали только в Гюрсе. Завтра надо попробовать предложить услуги переводчицы французской военной администрации. Ада проснулась.

Сала почувствовала, как ускорился пульс. Ада захныкала. Возможно, хочет есть или болит живот. Почему она не разговаривает? Сала плохая мать. Ей не хватает терпения, она постоянно усталая, вечно усталая. Сейчас заболит голова, начнется мигрень, она из последних сил доберется до туалета, ее вырвет скудным ужином, будет выворачивать над белой чашей, пока она не начнет задыхаться. Лежа на полу, она будет ждать, пока не отступит боль. Главное, чтобы не начал кричать ребенок. Она просит Бога только об этом, больше ей ничего не нужно. Сейчас нужно сосредоточиться на тошноте, сопротивляться, ведь Сала и так потеряла слишком много сил. Хныканье рядом с ней стало громче. Что делать? Что ей теперь делать? Она уже отдала все, больше ничего нет. Маленькое личико рядом с ней покраснело. Ада широко раскрыла рот, у нее задрожал язык. Она не задохнется? Сала попыталась успокоить дочь, погладила вспотевшую головку. Крики становились все громче и громче. Сала в панике перевернулась на живот и вжалась лицом в подушку. Она пыталась не дышать. Горло наполнилось желчью. Сала поднялась с кровати, споткнулась, упала на пол, вскочила и побежала в туалет. Зажимая рот руками, откинула крышку унитаза, и из нее разом вышла вся старательно накопленная еда. В комнате было тихо. Тошнота исчезла. Скоро придут голод, жажда, страх – сильнее, чем в Гюрсе, неумолимее, чем в Лейпциге, когда падали бомбы, страх, пронзающий каждую клетку тела, порабошающий изнутри, противник, которого невозможно перекричать, невозможно поймать, потому что он каждый раз возвращается в новом обличье, жадно пожирая все живое, что осталось в дальних уголках ее существа. Ребенок. Она должна вернуться к ребенку. Схватившись за раковину, Сала поднялась на ноги. Повернулась и, пошатываясь, отправилась обратно в спальню. Они должны отсюда уехать. Из этого города, из этой страны, из сожженной дотла Германии, из руин палачей и предателей. Пока что их не видно. Они прячутся, дожидаясь подходящего момента, когда ветер снова задует в нужную сторону – и тогда они появятся вновь, ведь они никуда не уходили.

После завтрака, наколдованного Кларой из остатков вчерашнего ужина, Сале стало лучше.

– Кстати, почему ты не эмигрировал в Америку со своим братом Вальтером?

Эрих вздрогнул в инвалидном кресле, словно его ударили током.

– Потому что боюсь этого капиталистического сброда еще сильнее, чем нацистов. Вальтер всегда был приспособленцем. Если бы нацисты ему предложили, он побежал бы в их армию, обвешавшись свастиками. Паршивые овцы есть даже среди евреев.

Он ухмыльнулся. Сала почувствовала, как внутри медленно закипает гнев.

– Так эмигрировал бы в Россию, раз она тебе так нравится. Только там, к сожалению, тоже не любят евреев. Какая досада.

– Не болтай ерунды. Ты ничего не знаешь про Россию, ничего. – Помолчав, он продолжил: – Если твой Отто жив, тебе остается только молиться, чтобы русские обращались с пленными гуманнее, чем нацисты. – Он принялся сердито набивать трубку. – Жалкий сброд. Хорошо бы настал всемирный потоп и смыл этих негодяев с поверхности земли прямо в ад, где им и место. М-да, ну и что в итоге стало с твоим храбрым солдатом?

– Он участвовал в этой проклятой войне не в качестве солдата, а в качестве врача.

– Проклятой? – Эрих поднял брови. – Детка, детка.

Сала вскочила.

– А ты, ты обиженный, мстительный коммунист, ты... – она не знала, как продолжить, и ударила кулаком по столу, – надменный и самовлюбленный, ты должен благодарить судьбу, что тебя принял и спрятал такой ангел, как Клара. Меня тоже прятал в Лейпциге доктор Вольфхардт и Ингрид с Эрнстом, но... Ты лишь насмешливо улыбаешься и надеешься, что Отто пытаются твои любимые русские. Что ты за человек?

Она ошарашенно села, но в ту же секунду вскочила снова и убежала прочь.

Снаружи штормовой ливень постепенно смыл гнев с ее души. Она понимала, что Эриху пришлось тяжело, но сочувствия не испытывала. Ей было не легче. Эрих желал смерти всем немцам. Да, она могла его понять, но любовь к России воспринимала как личное оскорбление. Он знал, что жизнь Отто висит на волоске, и еще шутил об этом.

На следующий день Клара отвела Салу в сторонку. Они готовили печенье. Никто не знал, как ей удастся добывать все необходимые

продукты.

– Сначала, на чердаке, он был совсем другим.

Сала изумленно на нее посмотрела. Как можно быть таким добрым и самоотверженным человеком?

– Эрих постоянно шутил, стараясь поддерживать всем настроение, когда им перехватывало дыхание от страха, потому что СС, или штурмовики, или гестапо, или еще какие-нибудь предатели патрулировали улицы в поисках евреев. А потом, после войны, случился инсульт, и все жизнелюбие, и острое чувство юмора, и заразительный смех исчезли. Он месяцами молча смотрел в окно. Я думала, он таким и останется.

Он словно удалился от мира, в котором оказался не нужен, рассказывала Клара Сале на следующий день. Теперь, когда Эрих мог наконец обрести свободу, судьба настигла его, подобно молнии. Он сидел парализованный, прикованный к инвалидному креслу, полностью отдавшись своим мыслям и воспоминаниям. Коммунизм был его последним убежищем. Лишь представление, надежда, что в нескольких километрах отсюда, на востоке, люди пытаются построить новый порядок, создать новый облик Германии, позволяло ему жить дальше, удерживало от отчаянного поворота коляски под ближайший поезд.

Возможно, Сала зря поехала в Мадрид, но больше податься было некуда. Покинуть Берлин оказалось непросто. В оккупированной зоне царили свои законы. Ей пришлось подать заявление о расовом угнетении, несмотря на внутренний протест. Сала годами скрывала свое еврейство, чтобы выжить в этой стране. Теперь оно понадобилось ей, чтобы отсюда уехать.

Иза открыла дверь. Они бросились друг другу в объятия. Похоже, тюремное заключение и годы ее смягчили. Она сразу влюбилась в маленькую Аду. Замирая от ревности, Сала наблюдала, как чутко ее мать заботилась об Аде. Она окружила внучку вниманием, словно желая показать дочери, чего не хватает ребенку и почему ее нежелание говорить в целом вполне естественно. Молчание – признак особого интеллекта. Так дети выражают силу характера, свою независимость. Уж она-то должна понимать это лучше всех, в конце концов, с ней было то же самое, а Аде уже два года, что бы там ни говорил ее отец, старый плут.

Небольшая колкость здесь, упрек там, и они окунулись в прежнюю враждебность. Томас снова пожелал нарисовать портрет Салы, и снова вспыхнула ссора – в итоге мать, недолго думая, разорвала портрет дочери на кусочки. По замыслу Томаса, Сала лежала в длинном платье на кушетке рекамье, опустив взгляд в книгу. По сути, его там даже не было, с хихиканьем уверял он, пока Иза бросала остатки картины в горящий камин.

Вечерами, когда Ада спала, а Томас кутил в барах Мадрида в поисках новых моделей, мать с дочерью молча сидели за столом. Ни слова о Гюрсе или Лейпциге, ни слова о годах заключения во франкистской тюрьме, где Иза и Томас едва избежали смерти.

Пережевывая каждый кусок тридцать восемь раз, Иза смотрела на дочь, и Сала задавалась давним вопросом: что ей сделать, чтобы завоевать – нет, не симпатию – хотя бы благосклонность и милость матери.

Поздно ночью в комнату Салы ворвался Томас. Включил свет и сорвал с нее одеяло.

– Вставай, неблагодарная гадина! Вон отсюда! Убирайся из нашей квартиры, сейчас же!

У него за спиной появилась Иза. Она поняла, что муж пьян, но за дочь заступаться не собиралась. Лишь нерешительно замерла в дверном проеме с покрасневшими от сна глазами.

– Что такое, что я тебе сделала?

– Ты испортила Дюрера. В мастерской потоп. Ты оказалась права, Иза. Я был слеп. Слепой дурак, который вечно видит в людях хорошее. Ты оказалась права. Ей нельзя доверять. Она коварная лгунья. Крыса.

Сала вскочила с кровати. Она ударила Томаса по лицу, схватила мать, но в ту же секунду обескураженно отпустила ее.

– Ты так говорила обо мне?

Ада проснулась. Она изумленно наблюдала за матерью. Сала была слишком взволнована, чтобы это заметить.

– Он пьян, – сказала Иза.

– Ты так говорила? Я хочу знать, – допытывалась Сала.

Оставив дрожащую Салу, Иза направилась прочь. Ада молча наблюдала за бабушкой. Уходя, Иза повернулась к Томасу.

– Картину еще можно спасти?

Пьяный Томас, рыдая, повалился на пол.

– Хватит реветь! Если не умеешь пить, то и нечего!

Она потуже затянула пояс халата и ушла. Сала бросилась за ней. Она догнала мать в коридоре. Иза повернулась к ней, словно фурия.

– И не смей меня трогать. Мы из кожи вон лезем ради тебя и ребенка, а ты разрушаешь нашу жизнь.

– Мама, этого не может быть. Ты же ему не веришь? Я ничего не сделала. Я не понимаю, о чем он говорит. У вас есть Дюрер? Я даже не знала.

– Хватит корчить невинность. Такая же дурацкая ухмылка, как у отца, когда он лгал.

– Папа никогда не лгал за всю свою жизнь. Ты не заслуживала такого мужчину. Ты никогда не понимала его души.

– Ну, зато ты хорошо разбираешься в мужских душах, – рассмеялась Иза. – Посмотрим, в кого превратится после плена твой Отто. Благородный, хороший человек? погоди. Думаешь, Томас был таким всегда? Ты же знала его до войны, он ведь тебе очень

понравился, разве нет? Посиди пять лет в камере смертников, тогда поговорим.

Сала испуганно смотрела в горящие глаза матери. Иза стояла, безвольно опустив руки. Она закричала. Сала еще никогда не слышала, чтобы ее мать кричала. Она всю жизнь была сдержанной и спокойной, даже в гневе. Ее худое тело оставалось неподвижным, но резкий голос пронзил слух Салы.

– Хочешь что-то рассказать мне о жизни? Да я опускалась в такую бездну, куда ты бы и заглянуть не рискнула. Дочь, мы боролись, нас приговорили к смерти, и мы пять лет ждали, когда нас повесят. Поэтому Томас стал таким, как сейчас, поэтому он шатается по барам и пьет, пока не забудет его – страх смерти. Стоит однажды оказаться в его когтях, и он уже не отпустит тебя. Никогда.

Сала похолодела. Ее пульс замедлился. Она смотрела матери в лицо. Спросила ли она хоть раз о ее жизни в последние годы?

– Мы уедем, как только я найду куда.

Из комнаты послышался крик Томаса.

– Ребенок! Ребенок! Скорее! Она задыхается.

Сала с Изой побежали туда. Ада покраснела. Она кашляла, пытаясь вдохнуть. Сала взяла дочь на руки. Иза приблизилась к ним. Она пристально вгляделась в лицо ребенка.

– Ложный круп. Пройдет. Сохраняй спокойствие, вынеси ее на свежий воздух.

Она погладила кашляющую Аду по голове и тихо сказала:

– Ну, птичка моя, ничего страшного. До свадьбы заживет.

Два дня спустя Сала бежала с Адой по улицам Мадрида в поисках новой цели, нового места, новых людей. Франция, Германия, теперь Испания. Она везде была нежеланной. *Indésirable*. Неудобной.

Отто не отвечал на ее письма уже много месяцев. Что с ним случилось? Она не знала. Он еще жив?

Она бежала на почту. Мать дала ей адрес своей сестры, Цеси. В двадцатые годы Цеся познакомилась в Париже с Максом. Он работал библиотекарем в Буэнос-Айресе и приехал во Францию на каникулы. Он был гоем. Цеся уехала с ним в Аргентину. Через несколько недель они поженились. Мать почти не рассказывала ей об этой сестре. Она даже не знала, чем та занимается. Впрочем, неважно, Сале просто

нужно где-то перекантоваться первые несколько недель, а дальше она разберется. Где угодно лучше, чем здесь. Она дожидалась ответа в дешевом отеле, оплачивая его самостоятельно. Жан прислал ей немного денег, и мать, как ни удивительно, тоже. На переезд и первые пару недель должно хватить, но ночевать в отеле было безумием. Она должна научиться вести себя осмотрительнее. Сала уложила Аду спать. За окном медленно гас день. Воздух был влажным и душным, Мадрид выдохнул. Ей нужно нечто большее, чем очередные новые возможности, подумала Сала, теперь на ней ответственность за ребенка. Ей наконец нужна реальность, место, где можно твердо стоять на ногах, откуда можно смотреть на мир, зная, что у нее есть полное право там находиться. Девять лет назад она собирала в Берлине чемодан. Тогда она была дома в последний раз. Путешествие длилось уже девять лет. Знала ли она тогда свою цель и продолжительность остановок? А теперь? *Changer la vie, changer la ville*, говорят французы. Новая жизнь, новый город. Чтобы закончить это бегство, ей нужен другой континент. А Отто? Что, если он не вернется? Она – не единственная военная вдова. Вдова? Нет, она даже не вдова.

ВСЕГДА РАДЫ ТЧК КОГДА ПРИЕДЕШЬ ТЧК НУЖНЫ ЛИ ДЕНЬГИ ТЧК

Сала повалилась на кровать. Она схватила маленькую Аду и принялась подбрасывать ее в воздух, малышка засмеялась от радости, и Сала прижала ее к себе.

– Нам рады, нам рады, слышишь? Аде и маме рады.

Это будет первое путешествие, в конце которого ей не грозит арест. Не грозит гонение. Не грозит унижение. Только свобода.

– Почему ты захотела уехать в Аргентину?

– Захотела?

Моя мать поправила парчовую скатерть на журнальном столике.

– Больше не могла выносить все это немецкое дерьмо. Было хуже, чем в войну. Сейчас такое и представить нельзя. Все было разрушено. Библиотека моего отца сгорела. Все написанное им за долгие годы – уничтожено. Я постоянно была подавлена. Все вокруг были подавлены. Мы влачили существование, удивляясь, что солнце продолжает всходить и заходить. Как можно петь в такой унынии колыбельные?

Но ведь худшее было позади, хотел сказать я, но вовремя сдержался, осознав, насколько неправ. Нет, худшее только ждало впереди.

Воспоминания о счастливых временах оставались единственным раем, откуда невозможно было изгнать, но теперь они грозили превратиться в неизбежный ад. Пока пленные солдаты ковыляли по русским степям, их соотечественники впадали в забвение среди руин.

– Ты знала, что папа в плену у русских?

– Что я знала? – резко переспросила она. – Ничего я не знала.

– Ты потеряла его след?

– Возможно. Да. Так оно и было. В последнее время я стала забывчивой, знаешь?

– А тогда?

– Тогда я ничего не забывала. Ничего. Но другие... – Она рассмеялась. – Люди могли разом позабыть обо всем. Но каждый рассказывал о каком-нибудь прекрасном еврее, с которым он познакомился еще до войны. Как сказал мой отец, немцам пришлось уничтожить шестьдесят миллионов прекрасных евреев, чтобы у каждого появился такой знакомый. Просто безумие. Для меня это было слишком, понимаешь?

– И как вы добирались до Аргентины?

– Как-как? Конечно, на корабле. Должна сказать, это было довольно волнующе. Крещение морем и все такое. Сначала тебя

натирают вонючими тряпками, а потом опускают под воду. Некоторые при этом еще и пьяные.

– Серьезно?

– Я же тебе сказала, – она посмотрела на меня с возмущением. – Но со мной такого не делали. Один добрый попутчик меня предупредил. Когда матрос спросил, впервые ли мы пересекаем экватор, я лишь устало улыбнулась, – она рассмеялась.

– Ты знала, что кое-кто из нацистской верхушки сбежал в Аргентину?

– Меня это не касалось. Так было даже лучше.

– Расскажи про Аргентину.

– А что там рассказывать? Это было лучшее время в моей жизни. Вот и все. Чудесная страна. А главное, люди. Уникальные. Пока там не побываешь, не поймешь. Уникальные.

– Кто?

– Ну, аргентинцы. Чудесный народ. Свободный. Понимаешь?

Она наклонила голову влево, прикрыла глаза и на мгновение исчезла. Куда? В воспоминания? Я постоянно пытался хоть что-нибудь выяснить о времени, когда они с Адой жили в Аргентине. Идиллические описания широких просторов, диких лошадей и еще более диких гаучо напоминали картины из третьесортных передач о путешествиях, что демонстрируются под стереотипное танго. В ее Аргентине не было мужчин. Одинокая женщина, красивая, молодая, любопытная и всегда лишь вдвоем с дочерью?

– Нет, мне там было не до мужчин, я же работала. Была постоянно занята. На такие вещи не хватало времени.

Разве в двадцать восемь лет нужно время, чтобы влюбиться? Ее рассказы напоминали герметичный аквариум со сломанной подачей кислорода. Все персонажи безжизненной истории задыхались, словно умирающие рыбы за толстыми стеклянными стенками.

– Хочешь, полетим туда?

– Куда?

– В Буэнос-Айрес.

На мгновение мне показалось, что она перестала дышать.

– Скажешь тоже! Откуда у тебя такая безумная идея?

– Так она тебе нравится?

– Нет.

Я удивленно на нее посмотрел.

– Нет?

– Определенно нет, – решительно ответила она.

– Почему?

Она осторожно покачнулась, словно услышав знакомую мелодию.

– Его больше нет.

– Кого?

– Моего Буэнос-Айреса. Моей Аргентины. Их нет.

– Хочешь сказать, все изменилось?

– Изменилось? – Она задумчиво рассмеялась. – Пожалуй.

– Как? В смысле, как там было?

В комнате повисла гнетущая тишина.

– Твой отец тогда повел себя не лучшим образом.

Она так сжала ладони, что побелели костяшки.

– Я думал, он был в русской военной тюрьме, – осторожно сказал

я.

– Да, был.

– И как тогда он попал в Аргентину?

«Хуан де Гарай» достиг залива Ла-Плата, такого же мелкого, как Эльба. До берега оставалось 250 километров. Сала поднялась с Адой на палубу. Корабль скользил над илистым дном. Винт поднимал грязь со дна, она смешивалась с водой, напоминая горячий шоколад. Над головой простиралось синее небо. Она нашла свою землю. Там царило лето. В Германии через несколько месяцев будут праздновать Рождество, там все дрожат от страха. Боятся, что мир наступил ненадолго. Сала больше не будет дрожать.

Корабль пришвартовался к причалу, раздался гудок, зашумел двигатель, со всех сторон зазвучали голоса и лошадиное ржание. Нетвердой походкой, с широко распахнутыми глазами люди покидали судно и растворялись в толпе. Сала остановилась. Растерянно огляделась. К ней, размахивая руками, спешила пара. Цеся и Макс.

– Ох, как же здесь воняет вода, – пожаловалась Цеся, которая оказалась гораздо моложе и грубее сестры Изы. Макс был одет в светло-серый костюм, его темные густые волосы зачесаны назад с помощью бриолина. Когда он смеялся, то напоминал знаменитого французского комика Фернанделя. «Зубы, как у лошади», – подумала Сала, и в эту же секунду услышала громкое ржание.

– Там впереди отель иммигрантов, придется сначала заглянуть туда, чтобы уладить все формальности. Макс... – Цеся коротким кивком указала мужу на чемодан Салы. Похоже, в бойкости она ничем не уступала сестрам.

– *Dios mio*, боже, ребенок просто очарователен. Ты настоящая красotka, – она чмокнула Аду в губы, и та испуганно отпрянула. Цеся наморщила лоб.

– Вся в бабушку. Как тебя зовут?

Ада молча смотрела ей в глаза.

– Ада, – быстро вставила Сала.

– Я знаю, просто хотела услышать это от нее самой. Ада, ты не разговариваешь?

– Думаю, она немного устала от путешествия. Знаешь, столько впечатлений...

– Ну, еще успеем. Пойдем. Ты тоже долго не разговаривала, помнишь?

Сала быстро кивнула.

– Твоя мать тогда устроила настоящую драму, *dios mio*. Если бы не Жан, она бы с утра до вечера занималась с тобой какими-нибудь дурацкими упражнениями. Ужас. Должна сказать, твой отец определенно был лучшей матерью.

Она рассмеялась. Сала взяла Аду на руки.

Квартира оказалась небольшой. Две спальни с личными ванными комнатами, гостиная, маленькая библиотека и кухня, где пахло разными незнакомыми травами. Ада прошла за руку с матерью по тесным, красочно обставленным комнатам. Все вокруг купалось в теплом свете, которого не бывало в Германии и летом. С этим не мог сравниться даже Мадрид.

Вечером Цеся и Макс устроили праздник в честь их знакомства с семьей. Макс оказался прекрасным асадором. Так называли здесь мастеров по грилю. У каждого аргентинца был свой способ готовить мясо, *al modo mio*. Особый рецепт маринада, изобретенный самостоятельно или передающийся из поколения в поколение. Цеся наготовила разных закусок, салатов и гарниров. Пока на гриле жарился огромный ромштекс из лучшей говядины в стране, они наслаждались сочными острыми чоризо, кровяными колбасками, телячьим сладким мясом, из которого Цеся приготовила салат, и почками в изысканном горчичном соусе. От кукурузы, риса, лапши и картофеля ломился стол. Сала еще ни разу не видела столько еды. Весь вечер она задавалась вопросом, что будет с остатками, ведь их небольшая компания явно не могла осилить и половины. Ада, которая почти ничего не ела в Мадриде – Иза пыталась кормить ее исключительно сухой курятиной и к тому же заставляла пережевывать каждый кусочек тридцать восемь раз, – перепробовала буквально все, пока Сала ее не остановила, опасаясь, что от непривычной еды девочку вырвет или она не сможет спать ночью. Все гости отнеслись к Сале с интересом и уважением. Их испанский тоже звучал иначе – мягче, мелодичнее. Сале очень нравились испанцы, но мать всегда старалась держать ее подальше от своих друзей и знакомых. Эта искусственная дистанция возникла еще в ее первый приезд, перед войной, и так неприятно поразила Салу, что она старалась вообще не подходить к людям. У Лолы в Париже было

лучше, но тогда, в восемнадцать лет, она была еще совсем юной, и французы вообще более сдержанны. Возможно, ее пугали известные имена, размышляла Сала, выключая свет и целуя Аду в лобик, но нет – она покачала головой и прижалась к дочери лбом – нет, в Берлине у ее отца тоже часто бывали известные личности. Она помнила Томаса Манна, Магнуса Хиршфельда, Эрнста Блоха, которого ее отец знал еще с Монте Верита, как и Германа Гессе. Где она встречалась с Эльзой Ласкер-Шюлер? На Монте Верита или в Берлине? Сала помнила лишь многочисленные цепочки поэтессы и как сидела у нее на коленях. Да, ее детство можно назвать счастливым. Единственное – ей часто не хватало матери. В первые годы ежедневно, потом все меньше. Ее образ растаял в 1937-м, когда Сала приехала в Мадрид. Медленно засыпая, Сала задалась вопросом: с какого события начались тяжелые времена, которые теперь наконец закончились? С решения покинуть родину, потому что она дочь еврейки и ей не рады, или с болезненного осознания, что ее бросила собственная мать? Оглядываясь назад, она решила: ответ – Мадрид. Именно там слабое подозрение стало осознанием. Нет ничего хуже материнского равнодушия, даже нацизм. «В этом Эрих Блохер прав, – подумала Сала, – хотя он вовсе не так умен, как полагает». Тяжелее участи, разделенной со многими, – участь, настигшая тебя одного, момент, когда человек навсегда понимает, кто он такой: человек, дочь, которая не стоит материнской любви. А сейчас, здесь, в Буэнос-Айресе, в доме сестры своей матери, которая была совсем другой, она поняла – нет, ее внезапно осенило – она, Сала, не столько полукровка, еврейка или немка, сколько нелюбимая дочь своей матери Изы. Она спокойно лежала в кровати. Впервые в жизни Сала почувствовала грусть, и это оказалось прекраснее всех предыдущих мыслей.

На следующее утро она радостно вскочила навстречу дню. Дел предстояло много. Одевая Аду, Сала с удовольствием отметила, что здесь не приходится паковать ребенка, словно новогодний подарок, – тело малышки остается открытым для воздуха и света. Первым делом они побежали вниз, в булочную. Ада по-прежнему не произнесла ни слова, но так старательно топала маленькими ножками по ступеням, что просто наблюдать за этим сосредоточенным спуском было в радость. Когда они зашли в магазин, там царила суматоха. Женщины всех возрастов – старые, молодые, средних лет – обсуждали

повседневные заботы, бросая на заходящих заинтересованные дружелюбные взгляды, кивали или улыбались, снова поворачивались к прилавку, показывали на товары и комментировали их качество. Ада стояла, изумленно раскрыв рот. Такого она еще не видела. «Да, – с улыбкой подумала Сала, – а теперь посмотри на меня и спроси, я все объясню, назову каждый предмет, расскажу, какой он на вкус, из чего приготовлен, а потом мы можем спросить у жены пекаря, в каких печах они пекут, при какой температуре и сколько времени. Теперь мы живем в стране, где спрашивать можно обо всем. Говори».

– Смотри, – прошептала она Аде и подняла девочку на руки, – выглядит вкусно, правда?

Она показала на булочки с шоколадом и сразу взяла шесть штук. А еще хлеба, четыре пирога на полдник – два с овощами, с яблоком и с грушей – и нежное пирожное с мягким шоколадом.

Вернувшись в квартиру, она накрыла для всех стол, тяжело дыша не столько от подъема по лестнице, сколько от жутких цен. В отличие от Германии, здесь было все, но при этом гораздо дороже. Сала хотела выразить Цесе и Максу благодарность за прием, но, заглянув в портмоне, быстро поняла – часто она себе такого позволить не сможет.

Когда Цеся и Макс зашли на маленькую кухню, там уже дымился кофе.

– Господи, – воскликнула Цеся, – дитя мое, ты не должна тратить столько денег. Или ты боишься, что будешь у нас голодать?

Был ли в этом вопросе упрек? Сала покачала головой.

– Ничего страшного. Скоро я начну зарабатывать сама и перестану сидеть у вас на шее.

Макс улыбнулся. Он шлепнул Цесю по задку.

– Прекрати, маньяк! – она со смехом оттолкнула его руку.

Сала наблюдала за ними с восхищением. Скоро Отто вернется из России, и они с ним будут жить так же.

– Немцы, как и евреи, живут на севере, в Бельграно, вместе с британцами. На юге итальянцы, а на западе испанцы. Бельграно чем-то напоминает мне берлинский Вестенд, хотя внешне больше похож на Шарлоттенбург, знаешь Зюбельштрассе?

Сала кивнула. Цеся разложила карту города на кухонном столе и ободряюще улыбнулась.

– Я там жила, – на мгновение она умолкла и уставилась в пустоту.

– Итак, если ты ищешь контакт с немецко-еврейской диаспорой, то тебе в Бельграно или в Эль Онсе, он напоминает скорее берлинский Шойненфиртель, там на улицах звучит идиш. Все держатся вместе. Многие приехали еще в начале тридцатых. Сорок тысяч со всей Европы еще до начала войны. Можно сказать, нам повезло. И в Бельграно, и в Эль Онсе община помогает всем, кто ищет работу. У них все прекрасно организовано.

Сала беспомощно пялилась в одну точку. Что она может ответить? Она ничего не знает о еврействе, мать ей этого не прививала. В Гюрсе она пыталась, но при всем желании не знала, как себя вести, и так и не сумела сблизиться с общиной. Только с Мими. А Мими была отверженной, шлюхой, с ней никто не желал иметь дела – кроме мужчин, которых она обслуживала.

Цеся взяла Салу за руку, словно прочитав ее мысли.

– Иза часто напоминает холодную рыбу, никогда не поймешь, что у нее на уме. Знаешь пословицу?

– Какую?

– Никто не знает, как целуются рыбы – под водой их не видно, а над водой они не целуются.

Они рассмеялись.

– Она такая, какая есть.

Сала кивнула.

Вечером она сидела при свете свечи за своим маленьким письменным столом. Пришло письмо от Жана. Взгляд Салы пролетел по строчкам. Глядя на элегантные, наклоненные вправо буквы она вспомнила длинные, тонкие пальцы отца. Ада листала книжку с картинками, подаренную Цесей.

«Подумай, возможно, стоит крестить Аду. Вы живете в католической стране. Тебе после этого будет легче найти работу. Она уже начала говорить? Нужно обязательно научить ее испанскому», – писал Жан.

Сколько Сала ни билась, ее ребенок попросту не желал говорить. Этот пункт в ответном письме она решила пропустить, но написала Жану, что крещение – хорошая идея, она об этом подумает. Она настойчиво спрашивала, нет ли новостей об Отто. Должен же быть способ выяснить хоть что-то. Здесь, в Буэнос-Айресе, они запросто

могли бы построить новую жизнь. С его понятливостью и умом, он бы в два счета поднялся на ноги среди этих чудесных людей. «В этой удивительной стране, под теплым солнцем, он быстро позабудет муки заключения. Для меня Гюрс уже стал далекой тенью из прошлого, которая возникает лишь долгими ночами, когда я думаю об Отто, и меня на мгновение охватывает одиночество – чтобы я смогла оценить, как мне повезло. Я счастливица, я знала это всегда».

Затем последовали пылкие описания ее нового отечества. В конце письма Сала еще раз настойчиво попросила не забывать про Отто и поинтересовалась здоровьем Жана. Не голодает ли он, есть ли у него зимняя одежда. Скоро она найдет работу, и тогда сможет прислать ему денег или теплое пальто. Она же знает, как легко он мерзнет. В конце она оставила рядом со своим именем отпечаток губной помады. Потом легла рядом с Адой и начала читать ей вслух. Как и каждый вечер. Ее отец всегда говорил, что это важно, – а он разбирается в важных вещах лучше всех на свете. Когда Ада закрыла глаза, Сала выключила свет. Вскоре она принялась ворочаться с боку на бок и наконец вскочила, чтобы открыть окно. Снаружи по-прежнему было тепло. «В ноябре», – подумала она и покачала головой. – «Интересно, насколько холодно сейчас в России?»

Через три дня пришло письмо от Жана. Он, конечно, всегда активно вел переписку, но так скоро новостей Сала от него не ждала. Видимо, что-то случилось. Она с тревогой вскрыла конверт. На пол упала открытка. Сала подняла ее. Без отправителя. Она с замиранием сердца узнала почерк. Выпрямилась. Взгляд, опущенный на открытку, затерялся в пустоте. Первая новость от него. Отто жив. Она не знала где, не знала как. Отец ее дочери жив. Ее любимый мужчина где-то в России, на ледяном морозе. Он мерзнет? Голодает? Ранен? По нескольким строчкам понять невозможно. Наверное, там цензура. Сала опустила на кровать, ее трясло, из глаз текли слезы и падали на подушку. Она повернулась к Аде, которая спала рядом.

1947-й. Рождество. Почта. Две открытки. Одна из Берлина, от Жана, другая от Салы, из Аргентины. Он военнопленный уже два с половиной года. Война закончилась. Но не для него. Если бы сейчас кто-нибудь зашел и сказал: «Еще десять лет, приятель, а потом назад, к жене и ребенку», он бы принялся раздумывать, что делать, как провести эти десять лет. Но никто не приходил. Уже два с половиной года. Возможно, никто не придет никогда. Два с половиной года спустя – первая открытка от Салы. Почему она не писала ему раньше? Он отправил в Германию столько открыток. Неужели ни одна не дошла? Можно ли в такое поверить? Или она вместе с этим Ханнесом? Или ее письма не пропускало начальство лагеря? Она живет в Аргентине. Пишет, что он отец дочери. Ее зовут Ада, и она на него похожа. Ада. Многого на открытке не уместить. Лучше бы прислала фотографию. Удивительно, но он ничего не мог представить. Не получалось. Никаких чувств. Он не мог представить себя в мире, где жили они. Семья? Совместное будущее? Какое? С тем же успехом можно спросить его, верит ли он в Бога – нет, в Бога он не верил, как и в вечную жизнь. В мыслях о вечности не было ничего заманчивого. Здесь за эти годы он научился видеть в конечности преимущества. Так Отто представлял себе облегчение, если оно вообще было. Смерть значила облегчение. А над тем, что некоторые люди от беспомощности выдумывают жизнь после смерти, можно лишь посмеяться. Здесь за эти годы ему наконец удалось освободиться от абсурдных иллюзий. И теперь он должен кричать «ура» из-за рождения ребенка? Дети рождаются каждый день. Люди умирают каждый день. Круговорот. Почему представлять, что мир движется по кругу, так утешительно? Если бы он раньше узнал, что окажется в заключении, то избежал бы многих ошибок. Он рассмеялся. А потом еще раз, чтобы удостовериться: чужой голос принадлежит ему. Здесь людей посещали странные мысли. Не хватало сахарной глазури свободы. Разве их можно за это винить? Свобода всегда была лишь приятным самообманом. До чертиков смешным снаружи, но медленно отравляющим изнутри. Как при гибели от холода или алкоголя: в

какой-то момент человек просто сдаётся, и ему становится хорошо. Сколько раз он видел таких в снегу? Борьба, отчаяние – все позади. Смерть, которую все так по-детски боялись, была избавлением. Жизнь – истинным мучением. Нужно изрядное количество самообмана, чтобы терпеть и облагораживать все это дерьмо, приукрашивать его, наполняя смыслом. Жалкое зрелище. Недавно один повесился, прямо в бараке. Идиот. Отто вспомнил, с какими растерянными рожами все проскальзывали мимо тела, и его охватила злоба. Еще один. И что? На войне такое происходило ежедневно. Тогда погибло гораздо больше людей. Гораздо больше. К чему эта робкая сентиментальность? Потому что товарищ сам свел счеты с жизнью? Мертвый и есть мертвый. Разве последние месяцы войны не были чистым самоубийством? Левоу, левоу, раз-два-три. Отто рассмеялся. Постепенно ему становилось легче. Возможно, он будет и дальше лечить здесь людей. У него хорошая репутация. Под его скальпелем пока никто не умер. Для кого это хорошо? Возможно, для крестьян окрестных деревень. Выздоровев, они могут продолжать работу, надеясь прокормить свои семьи, пока советская власть выжимает их до последней капли. Надо признать – потрясающая перспектива. Ради такого стоит потрудиться. Он рассмеялся. Ребенок. Если бы он умер с голоду тогда у приемных родителей или захлебнулся в ледяной ванне, которую ему ежедневно устраивали эти ублюдки, ничего бы не изменилось. Дело в инстинкте выживания. Все произошло не по его воле. Это не свободное решение. Лишь порыв, обеспечивший дальнейшее существование, как сексуальное влечение обеспечивает продолжение рода. Недавно он снова ходил к антифашистам. Надо отдать им должное – за последние годы они значительно похорошели. Устраивают образовательные мероприятия. Там один священник говорил о Марксе. Его социальная аналитика неопровержима. Следует признать. Хотя большинство понимают ее неправильно, объяснил священник, и сам Маркс сделал ряд неверных заключений, но его подход просто гениален. «Вся проблема в том, что он считает свои труды научными, – продолжал священник. – Ничего научного в них нет. Такая чушь могла прийти в голову лишь тому, кто никогда не имел дела с наукой». А Отто не верил в Бога и считал чушью религию. Маркс опирался исключительно на знания, полученные путем наблюдений. Это система, а не наука. Обман, на который все дружно

купились. Это очевидно. Словно лемминги, они сбились в стаю, чтобы отправиться навстречу следующей катастрофе. «Если долго скрести, коричневый станет красным», – сказал священник. Новое государство – лишь химера. Почему туда бегут люди, пережившие войну, заключение или всё сразу, – оставалось для него загадкой. Ребенок. Нужно четко обозначить их отношения. Он должен сделать надрез. Как врач, принимающий решение: удалить ли гнойник, рискуя жизнью пациента, или поддаться неуверенности, неведению, страху и оставить бедолагу на волю судьбы. В каком случае он виноват сильнее? Отто провел в лагере уже два с половиной года. Это место стало его истинным университетом. Диссертация только впереди, и они от него не избавятся до самого конца. Зачем ему ребенок? Женщина. Синхронное скольжение. А потом, большое счастье? Любовь? Лишь груда ожиданий. А Маша? Да. Наверное, Маша тоже. Только с ней все с самого начала иначе. Они заранее знали – у них нет будущего. Однажды все закончится. Совместная работа с Машей породила близость. Ее спокойные движения, ясный взгляд, преданность пациентам – даже тем, кто унижал, мучил и уничтожал евреев. Это была другая Россия. Не держава-победительница, а полная жизнелюбия и печали культура. Люди, готовые делиться даже в голод. Отто влюбился в Машу. Они не говорили о совместном будущем, не сравнивали свое прошлое. У них не было крыши, не было стен – ни защитных, ни разделяющих. Они подружились, несмотря на противоречия, или просто вцепились друг друга, чтобы выжить? Человек стремится выжить. Иначе никак. Вдалеке кто-то затянул похабную песню. Отто закрыл уши. Лгать и смеяться, чтобы развеяться. Иначе никак. Ребенок.

– Знаете, чем я займусь сегодня в первую очередь? Пойду к консулу Германии и подам заявление, чтобы Отто обменяли на офицера СС.

Оба уставились на нее с изумлением.

– Как это возможно? – спросил Макс.

– Очень просто. Увидите. Отто обещал на мне жениться. Он первый раз сделал мне предложение еще в 1938-м.

Сала сидела в приемной у консула с Адой на коленях. Самого консула, к сожалению, не было, но его ассистент, господин доктор Гробек, смотрел на нее с недоверием.

– Какое именно вы хотите сделать заявление?

– Очень простое, – Сала лучезарно улыбнулась. – Он, как ариец, не мог жениться на еврейке. Нас обоих лишили права свободно распоряжаться собственной жизнью и вступить в брак с любимым человеком. Но сдержаться мы не смогли, и я забеременела, – она показала на маленькую Аду. – И вот теперь я – незамужняя женщина с внебрачным ребенком и к тому же в религиозной стране, где подобные вещи не одобряют.

– Нет.

– Нет?

– Я имею в виду, вы совершенно правы.

– Вы тоже так считаете?

– Да, но...

– Хорошо, тогда составьте, пожалуйста, заявление, я его подпишу, вы тоже, мы поставим несколько красивых печатей и как можно скорее отправим его в Германию, туда, где занимаются подобными вопросами.

– Да, но...

– И да, допишите еще, пожалуйста, что мой муж, то есть будущий муж, никогда не был членом национал-социалистической партии и никоим образом не симпатизировал этим людям или подобным организациям.

- Звучит уже лучше.
- Я же говорю. Мой муж был коммунистом с ранней юности.
- А это писать нежелательно.
- Но напишите, что он – непримиримый противник национал-социалистов. И не был профессиональным солдатом.

Доктор Гробек кивнул.

– И еще: что я, одинокая мать без законченного профессионального образования – в этом Германская империя мне отказала, – буду требовать от Германии компенсации, если они не обменяют моего мужа, пусть и будущего, на какого-нибудь идиота из СС. Слово «идиот» можете вычеркнуть. Членов СС в Германии предостаточно, и хочется надеяться, они сидят в тюрьмах. Благодаря подобному обмену государство сэкономит на денацификации. Уже кое-что, верно?

Молодой ассистент посмотрел на нее с изумлением. Потом наконец молча вытащил из письменного стола лист бумаги, вставил в письменную машинку и защелкал клавишами.

Когда он закончил, они подписались, и доктор Гробек повел Салу в другой кабинет, где подготовил все необходимые документы для долгосрочного разрешения на жительство.

После столь успешного дня Сала с Адой отправились гулять по Буэнос-Айресу.

Короткий гудок, визг тормозов. Они чуть не попали под машину. Сала испуганно взяла дочь на руки. Она смущенно посмотрела на водителя. Тот подмигнул, рассмеялся и поехал дальше.

– Боже, Ада, вот видишь? Тетя Цеся нас предупреждала, а я, дурочка, опять забыла: здесь левостороннее движение. У нас в Германии машины ездят справа. Нет, – со смехом исправилась она. – У нас в Аргентине машины ездят слева, а в мерзкой Германии, где жутко холодно и люди никогда не смеются, там правостороннее движение, и поэтому они все непременно хотят быть правы, понимаешь?

Ада мечтательно улыбнулась.

– Смотри, сколько витрин, сколько элегантных дам. Я всегда думала, что самые красивые и элегантно одетые женщины живут в Париже, но Ада, погляди, как прекрасны местные обитательницы, как они двигаются. Француженки куда строже. Твоя тетя Лола, сестра бабушки Изы и тети Цеси, одевает самых красивых и богатых женщин

Франции, и не только Франции – сама герцогиня Виндзорская покупает платья исключительно у нее.

Сала вдруг затосковала по Лоле и Роберту. Она больше ничего о них не слышала. Что с ними стало? Надо надеяться, у них все в порядке. Ее мать ничего не знала. Нужно спросить у Цеси, сегодня же.

Слева и справа возвышались дома, возле них стояли усыпанные апельсинами и лимонами деревья. Роскошные бульвары с фасадами в стиле классицизм ровными кварталами вели к центру города. Улицы расходились по диагонали от одной из центральных площадей. «Как в Париже на Плас де Л'Этуаль», – подумала Сала, наблюдая, как люди спускаются по лестнице в метро.

Через неделю ожидания Сала получила три приглашения на собеседования. Для начала неплохо. Цеся осталась с Адой, а Сала уверенно отправилась на встречу.

– И не говори, что ты не замужем, – крикнула Цеся ей вслед.

Пока Сала ехала в *коллективо*, местной маршрутке, она представляла, как чудесно будет начать самостоятельно зарабатывать деньги и обрести независимость. Она не хотела признавать этого в первые недели, но Цеся ей не нравилась. Она слишком напоминала Сале мать, хотя сходства между ними было немного. Возможно, властный тон голоса, то, как резко она обрывала предложения, словно последнее слово проваливалось в темную бездну? Нет, им здесь не слишком рады, чувствовала Сала, хотя и не понимала почему. И еще этот Макс со своими лошадиными зубами. Возможно, у Фернанделя они смотрелись забавно, но широкая улыбка Макса с огромными, словно бивни, клыками выглядела жутковато. Пожалуй, он напоминал дикого кабана, который внезапно выскочил из кустов. Он постоянно появлялся из-за углов квартиры, стоило ей расслабиться. В его взгляде чувствовалась какая-то жадность. Во всяком случае, Сала была начеку. Этот брак явно не лучше брака ее матери. Две сестры выбрали похожих мужчин – не считая ее отца. Только Лола оказалась успешнее, хотя ее брак с Робертом, можно сказать, необычен. Сала мечтательно улыбнулась. По словам Цеси, они оба пережили войну и магазин Лолы процветает. Вскоре после войны в по-спартански обставленные комнаты на Фобур-Сент-Оноре, 93 вновь начали заглядывать на чашечку чая или бокал шампанского даже самые знатные клиенты. Возможно, Сале следовало поехать в Париж. Там ей жилось лучше всего. Во всяком случае, сначала. Гюрс разбил все ее мечты. Честолюбивые планы остались в прошлом. В прошлом учеба в Сорбонне, походы в театр, вальс Мюзетты, в прошлом дни с Ханнесом. Прекрасное и ужасное жило в ней в тесном соседстве.

Оказавшись у входа, Сала заволновалась. Дом оттуда было не видно. Видимо, он стоял в глубине, за парком. Виллы в этих местах прятались от посторонних глаз. Они что, боятся грабителей? Семья

искала воспитательницу для детей. Это лучше, чем работа уборщицы. Гораздо лучше. Хотя Сала не совсем понимала, что от нее требуется. Цеся посоветовала говорить как можно откровеннее. Слишком скромно вести себя точно не следует.

– Покажи им, что ты образованна и из хорошей семьи.

Делай то, делай се, а этого не делай. Тетя обращалась с ней, словно с глупым маленьким ребенком.

Ей навстречу вышел слуга в ливрее.

Гостиная напоминала залы парижского Гранд-отеля. Все выглядело исключительно по-европейски. Большие картины маслом, тяжелые шторы из красного бархата, мраморные полы с персидскими коврами, мебель с тончайшей инкрустацией и лепниной. Все дышало роскошью – Сала никогда такого не видела в частных домах. Дверь открылась. Хозяйка дома оказалось примерно ее ровесницей. Сала встала.

– Нет, пожалуйста, садитесь. Хотите чашечку чая?

– Нет, спасибо, сеньора.

Сеньора повернулась к служанке, которая бесшумно следовала за ней по пятам, словно тень. Сала ее только заметила.

– Мария, принеси нам, пожалуйста, чай и выпечку.

– Так точно, сеньора.

– И прекрати говорить это глупое «так точно». Ты же знаешь, я не люблю раболепства.

– Да, сеньора.

Девушка ушла, и хозяйка улыбнулась.

– Мария у нас всего несколько дней. Еще не до конца привыкла, что здесь все немного иначе. Нам нужен разумный человек, а не раб. От «сеньоры» я ее тоже потом отучу.

Она рассмеялась глубоким смехом. Низкий голос контрастировал с хрупкой, возвышенной внешностью. В отличие от большинства аргентинок, она была блондинкой. Очки от солнца лежали у нее на голове, словно диадема. Королева с веснушками на лице и на тонких, усыпанных кольцами руках. Брючный костюм горчичного цвета, лодочки из зеленой кожи, отсутствие чулок. Своенравная, подумала Сала. Сдержанный мускусный аромат говорил о духах от «Герлен». Возможно, «Воль де нуи». Лола тоже пользовалась ими каждый день.

– Меня зовут Мерседес.

– Сала.

– Откуда вы? Вы говорите по-испански почти без акцента. Вы жили в Мадриде?

– Там живет моя мать, а я из Берлина.

– Берлин. Люблю этот город. Герман тоже. Мой муж. Его имя пишется так же, как английское слово «немец». Красивое имя. Кажется, им называется какое-то знаменитое сражение?

– Да, германская битва в Тевтобургском лесу. Генрих фон Клейст написал об этом пьесу.

– Мои дети многому у вас научатся. Когда вы сможете выйти на работу?

– Когда вам будет угодно.

– Вы можете разговаривать со мной нормально. В конце концов, вы будете воспитывать моих детей. Если они заметят, что вы передо мной робеете, справиться с ними будет непросто.

– Сколько лет вашим детям?

– Пять.

Сала вздрогнула.

– Близнецы. Девочка и мальчик. Диего и Хуанита. Я закончила с ними возиться и дальше планирую наблюдать со стороны – в этой сфере мое тщеславие весьма ограничено. К счастью, муж со мной солидарен. А вот отец смотрит на такие вещи несколько иначе. Скоро вы познакомитесь с нашей семьей. У вас есть дети?

– Да, дочь, ее зовут Ада.

– Она говорит по-испански?

– Она пока не говорит.

– А, младенец.

– Нет. Ей три года. Думаю, послевоенное время и...

– Диего и Хуанита ее быстро научат. Чем занимается ваш муж?

– Мой муж находится в русском плену.

– И вы так далеко уехали?

– Я... Все довольно сложно...

– Вы не должны ничего объяснять. Вы женаты?

Сала сглотнула. Она знала – этот вопрос неизбежен. Помнила, как Цеся стояла перед ней на кухне и четко дала понять: женщина с внебрачным ребенком не сможет найти работу в Аргентине. Во всяком

случае, в приличной семье. У нее екнуло сердце. Закружилась голова. Потом она услышала собственный голос. Спокойный и уверенный.

– Нет, нам...

– Это вы тоже объяснять не должны. Сала, если с детьми все идет хорошо, вы вообще ничего не должны объяснять. У вас есть опыт обращения с персоналом?

– В каком смысле?

– Вы из хорошей семьи, это видно сразу. У ваших родителей была прислуга?

Сала собралась с духом.

– Мои родители – анархисты и уже давно живут отдельно.

Мерседес посмотрела на нее с интересом.

– Значит, вам будет о чем рассказать – долгими зимними вечерами. Я рада, – она встала. – Песо ежедневно падает в цене, но вы будете получать достаточно, на жизнь хватит. Финансовыми вопросами занимается Герман. Он сегодня на одной из своих строек. Он, к сожалению моего отца, архитектор.

– Но это прекрасная профессия, чего же желал ваш отец?

Луч солнца попал Мерседес в глаза. Она опустила темные очки.

– Знаете, мне это нравится. Спрашивайте. Спрашивайте обо всем. Мой отец скотовод, а я – его непослушная дочь, – она хрипло рассмеялась и протянула Сале руку. – Мы станем подругами.

Сала осторожно кивнула.

– Не стесняйтесь.

– Вначале мне всегда нужно немного времени.

– Ты мне нравишься. – Мерседес сделала паузу. А потом медленно и спокойно произнесла ее имя: – Сала.

Сала торопливо шла под ярким солнцем, ослепленная такой удачей. Она видела свое будущее. Впервые в жизни. Она будет работать, у нее обязательно все получится, и наконец ей больше не придется просить никого о помощи, не придется чувствовать себя обязанной, не придется благодарить за позволение быть рядом. Она больше не должна извиняться за то, что сделала или не сделала, теперь она будет жить, как считает нужным. Все случилось именно так, как говорил ее отец: «Но там, где опасность, растет и спасительное». Она спасена, тысячу раз спасена. Никогда, больше никогда она не предоставит людям подобной власти. Мать унизила ее в Мадриде в

последний раз. И колкие замечания Цеси тоже в прошлом. Мерседес предложила ей дружбу – ей, незамужней женщине без средств. Она такая хорошая. Вероятно, Сала сможет ей довериться, рассказать о своем горе. У нее близнецы. Она поймет.

Герман был пройдохой. Сала поняла это с первой же секунды. Поняла, что он бегаёт за каждой юбкой, и Мерседес тоже об этом знает. Проблем не избежать, это лишь вопрос времени. А пока следует быть начеку.

Почему все браки такие сложные? Она могла вспомнить только один хороший пример – Лолу и Роберта, но, возможно, так получилось лишь благодаря независимости обоих. Секрет в этом? Сале часто казалось, что они не нуждаются друг в друге. Лола опровергла это предположение, но когда они сплетничали об этом с Цесей, та лишь рассмеялась.

– Лола – маленькая мерзавка, всегда была самой худшей из нас троих, – заявила она.

– Лола? – изумленно переспросила Сала.

У нее сложилось совсем другое впечатление. Но потом она вспомнила своеобразный любовный треугольник. Это ведь ненормально. С другой стороны, все участники были не против. Сначала она очень жалела Роберта. Ни в одном другом языке не было столько выражений для описания обманутого мужа, как во французском. Этому посвящались куплеты, одноактные пьесы, целые театральные постановки. Либо речь шла об обыденной повседневной проблеме, либо французы получали порочное удовольствие, наблюдая за выступлениями рогоносцев. Но Роберт не казался несчастным. Возможно, он был рад разделить с кем-то свою ношу, вероятно, не слишком интересовался плотским аспектом любви, и их с Лолой связывала иная близость, а может, и сам искал наслаждения в чужих садах – на это намекали тоскливые взгляды и красноречивое молчание студенток, когда он с мнимым равнодушием проходил мимо, разумеется, все замечая, ведь он всегда все замечал. В любом случае они смогли поладить, нет, даже больше – стали сообщниками, и казалось, отношения доставляют им чертовскую радость, доступную исключительно им одним. В чем она заключалась? Они делились друг с другом чем-то особенным? Или Роберт ощущал странную связь с любовником Лолы? Возможно, испытывал чувство превосходства?

Или тайно мстил? И поэтому так фривольно улыбался, когда Лола якобы случайно упоминала любовника? Что, если однажды, по воле судьбы или случая, Отто столкнется с Ханнесом? Сала испугалась собственной мысли. Между ними что, возникнет близость? Немыслимо.

Благодаря связям Мерседес Сала и Ада не только смогли покреститься в католическую веру, но и без проблем получили аргентинское гражданство. Впервые со времен юности Сала снова почувствовала себя полноценным человеком. Она больше не нуждалась в специальном разрешении и имела полное право жить здесь до самой смерти. Германия осталась где-то далеко позади. Больше никто ее не прогонит. Прошлое превратилось в далекие тени, и они являлись все реже – одинокими ночами, когда Сала лежала с открытыми глазами рядом с дочерью и молилась, чтобы однажды та заговорила. Мерседес предлагала подыскать через знакомого врача хорошего детского психолога, но Сала категорически отказалась от мысли, что ее ребенок может быть болен. Хотя втайне корила себя и ломала голову над причиной молчания дочери. Нарушение развития? Нет-нет, такого не может быть. Она осторожно погладила Аду по маленькой головке и убрала с лица темные локоны. Ее отец уверял, что скоро Ада начнет говорить и, возможно, уже не остановится никогда. Сала представила, как дочь обрушит на нее поток непрерывной болтовни, как, нагло ухмыляясь, забросает беспомощную мать словами. И почувствовала, как внутри поднимается гнев. Она подумала о своей матери, вспомнила, как Иза схватила ее за руку – тогда, в Мадриде, во время боя быков на Пласа де лос Торос. Что она сказала? Сала уже не помнила. Это было так унижительно. Она лишь изо всех сил пыталась вытерпеть боль. Почему она не закричала? Почему не попыталась защититься, когда из пореза, пульсируя, потекла кровь? Сильнее всего ей сейчас хотелось схватить Аду, встряхнуть, дать пощечину, пока та наконец не раскроет рот, наконец что-нибудь не скажет – неважно что. Желудок сжался в болезненном спазме, и Сала выбежала из комнаты. Возможно, она плохая мать, но ради всего святого – что не так с ее дочерью? И почему Сала должна нести это бремя в одиночку? Почему рядом с ними нет Отто? Она вынуждена целыми днями заботиться о детях чужих людей, хотя не способна помочь собственной дочери. И она совершенно одна, не

общается ни с кем, кроме домашнего персонала, слуг – дружелюбных, но необразованных. У нее нет времени читать, делать что-то для себя, для собственного развития. Нет времени искать людей, которые думают и чувствуют, как она. Положение незамужней женщины позорно. Она словно рабочее животное, утратившее всякое достоинство. Словно осел, кружащий вокруг колодца, чтобы выкачивать хозяевам воду. Сала посмотрела на Аду. Почему не выжил ее второй ребенок?

Хуанита и Диего играли в комнате, когда туда молча зашла Ада.

– Проваливай, – сказала Хуанита, – мы не хотим с тобой играть.

Ада стояла возле двери и мрачно на них смотрела.

– Ты не слышала, что сказала моя сестра? Исчезни! И прекрати пялиться, ведьма!

Хуанита и Диего рассмеялись.

– Ведьма, – весело закричали они, – вонючая ведьма.

Ада не двигалась. Она прислонилась к стене, спрятав руки за спину.

К ней подскочил Диего. Потянул ее за волосы. Ада молча посмотрела ему в глаза.

– Привет, ведьма, – завопил он, словно ребенок, боящийся темноты. – Ты наша рабыня, наш осел, наш скунс и теперь должна делать все, что мы прикажем, а иначе мы скажем родителям, что они должны вас вышвырнуть.

– Да, они должны вас вышвырнуть, тебя и твою дурацкую мать, которая вечно достает нас своими историями, – заявила Хуанита.

Диего изобразил Салу:

– Ита-а-ак, мои ми-и-илые. Вы внима-а-ательно слушали? Кто сможет пересказать мне еще-е-е ра-а-аз?

– Прекрати так тупо пялиться, ведьма! Говори, ведьма! Колдовать можешь, а говорить – нет? Что ты тогда за ведьма? Мы сильнее тебя. Нас двое. У тебя нет ни брата, ни сестры.

Они громко рассмеялись.

– У каждого ребенка есть брат или сестра. У ка-а-аждого.

Они завопили от радости.

– У ка-а-аждого, как сказала бы твоя любименькая мамита.

Ада начала тихо напевать. Оба уставились на нее с изумлением.

– Прекрати, ведьма, а не то мы тебя сожжем.

Пение стало громче.

– Я сказала, прекрати, а не то мы пожалуемся отцу и он тебя поколотит, поняла?

Пока Диего говорил, пение Ады становилось все громче, и переросло в резкий, оглушительный крик, пронзивший близнецов до костей. С перекошенными от ужаса лицами они попытались проскочить мимо вопящей девочки из комнаты. Но она стояла перед дверью и преграждала им путь, пока оба громко не разрыдались и не уползли в самый дальний угол.

Когда Сала открыла дверь, было тихо. Дети сидели на полу. Ада повернулась к матери спиной. Они дружно играли. Только Хуанита и Диего видели угрожающий молчаливый взгляд Ады.

Родители Мерседес были самыми крупными скотоводами в Аргентине. Чтобы объехать их владения не хватило бы и недели. Они были безмерно богаты. Но совершенно этим не кичились. Отец общался грубовато, но сердечно, мать жила замкнуто. По некоторым намекам Сала поняла: она давно начала свой путь во тьму, и последовать за ней не мог никто.

Появляясь на крупных семейных мероприятиях, она всегда выглядела ухоженной, дружелюбно кивала, но почти не говорила – только «добрый вечер» или «очень рада вас видеть». Как оказалось, у нее последняя стадия деменции.

Утром, когда они собирались уехать из города, чтобы провести неделю на ферме родителей Мерседес, пришло письмо от Отто. Сала провела весь день в спешке, делать все приходилось быстро. Она смотрела за детьми, собирала их вещи и игрушки в большие чемоданы «Луи Виттон», примеряла платья Мерседес, которые та отдала ей для праздничных вечеров на ферме. В такой суматохе Сале не удалось найти спокойной минуты, чтобы прочитать открытку от Отто, которую передал ей слуга Августо, из деликатности запечатав в конверт. Целый день Сала носила открытку у сердца. И наконец, когда оркестр заиграл печальное танго и гости начали танцевать, она отыскала укромный уголок.

Сала вскрыла конверт и пробежала взглядом по немногочисленным строчкам. Внутри все похолодело. Голову пронзила резкая боль, словно кто-то схватил ее за затылок и встряхнул. Она

попыталась освободиться, вырваться. Не может быть. Это не Отто. Он бы такого не написал. Письмо оказалось безжалостным и холодным. Она перечитывала его снова и снова. И чем чаще читала, тем меньше понимала значения слов, словно с каждым разом они разрушались, словно буквы менялись местами по собственной воле, противясь написанному. Эти слова не могли принадлежать человеку, которого она любила сильнее всех. Слова хотели обмануть ее, одурачить, будто Отто – мужчина, за которого она выйдет замуж, с которым хочет построить здесь совместную жизнь – совсем другой, чем она всегда считала. Они заявляли ей черным по белому, что этот человек, этот Отто, больше не представляет с ней совместной жизни даже после выхода на свободу, что ему не нужен ее ребенок и что он стал другим.

Сала побежала в туалет умыть заплаканное лицо. Из коридора на нее выпрыгнул Герман. Он рассмеялся звонко, как мальчишка, победивший при игре в прятки. Он был пьян, отчего вел себя еще наглее обычного. Очевидно, к отказам он не привык. Он считал себя не просто богатым, талантливым и привлекательным, а прямо-таки неотразимым. Его манеры балансировали между юношеской игривостью и мужским нахальством. Теряя равновесие, Герман становился инфантильным или brutальным. Сала с трудом от него ускользнула. Она возмущенно выбежала по лестнице в парк, споткнулась на террасе, сломала каблук, сняла туфли и выбежала в освещенную факелами ночь. Она бежала и бежала, пока огромное владение за ее спиной не превратилось в море огней. Наконец она изнуренно опустилась на землю.

Она не знала, сколько так пролежала, пока вдруг не услышала в траве шуршание босых ног. Шелест платья заставил ее вскочить. Рядом с ней опустилась Мерседес. Сала изумленно выпрямилась. Ее глаза сияли под светом полной луны, на лице блеснуло мимолетное пламя. Мерседес принесла бутылку. Она повернула и с мягким хлопком вытащила пробку. Шампанское полилось в бокалы. Мерседес молча протянула один Сале. Сала чокнулась с ней и одним глотком выпила содержимое.

Воздух еще хранил тепло. Земля была мягкой и немного влажной. Они медленно начали говорить. Рассказывать о своих жизнях. О разочарованиях и новых надеждах. Они смеялись над

предсказуемостью мужчин, поражались, ругались и плакали над тем, что мужчинам все равно удавалось их ранить.

Они говорили о матерях и своем страхе повторить их судьбу. Удивлялись сходству своих отцов, уникальных мужчин, совсем не похожих на остальных. Задавались вопросом, почему их матери обходились с их отцами с такой бездумной жестокостью, почему отдалились от них, несмотря на юношескую любовь, и не стали ли причиной этого охлаждения они, их дочери. Обе согласились, что не испытывают ненависти к родителям – лишь растущее отчуждение, от которого задыхались в детстве. Они говорили о близнецах, и Сала рассказала про рождение Ады и потерю второго ребенка.

Мерседес протянула ей горящую сигарету, пустая бутылка покатила с холма. Сала чувствовала глубокую грусть, медленно сгустившуюся над ней, как тяжелые облака. И пока эти облака окутывали их, накрывая, словно колокол, рука Мерседес скользнула к ее ладони, обхватила пальцы. Их головы соприкоснулись, Сала почувствовала что-то теплое, мягкое и влажное на своих закрытых глазах, скулах, губах, что-то проникло к ней в рот и коснулось языка, а рука тем временем поползла вверх по ее колену, пока Сала не открылась. Пошел мелкий дождь. У нее потемнело перед глазами.

Когда Сала проснулась, она лежала на траве одна. Вдали слышались крики чибисов. В утренней тишине ржали лошади. На востоке поднимающееся солнце дарило облакам красное сияние. Ветер принес кваканье лягушек.

– Какая фамилия была у второй жены дедушки? Ноль?

– Нет, он женился на ней лишь незадолго до смерти, чтобы ее обеспечить. Ее звали Венчер, Дора Венчер. Когда ты приедешь? Тебя не было целую вечность.

Я пробормотал короткое извинение, что-то про работу и семью, и поспешил закончить разговор. Мне хотелось как можно скорее ввести имя Доры в поисковую строку. К собственному изумлению, я наткнулся на книгу о своем дедушке и его брате, Германе Ноле. «Жизнь в тени». Имелся в виду мой дед, который только в преклонном возрасте, уже в ГДР, немного вышел из тени своего брата, профессора педагогики Гёттингенского университета.

Я записал имя автора – Петер Дудек, исследователь педагогики, который преподавал в качестве экстраординарного профессора в Университете Гете во Франкфурте. Он провел для книги подробное исследование. Многие основывались на рассказах моей матери. Как и принято в научных исследованиях, я нашел в дополнении список источников, а главное, узнал, что в Берлинской академии наук хранится наследие моего деда. Следующие три месяца я проводил все свободное время в читальном зале академии на Кохштрассе. Мне удалось отыскать старые тексты деда – психоанализ, проекты педагогических реформ, которые его брат Герман ловко выдавал за свои, я узнал много нового об отношениях бабушки и дедушки, которые писали друг другу письма на каждое Рождество и на все дни рождения, всегда с сердечным приветом Томасу и от Томаса. Я делал заметки и копии, приносил все домой, перечитывал снова и снова, пока человек между строк не обрел образ. Однажды я наткнулся на конверт с письмами моей матери из Аргентины. И с волнением пробежал глазами по, как мне показалось, в вечной спешке написанным строкам. Здесь было все, что я искал. Мои сомнения в откровенности ее рассказов подтверждались с каждой буквой. Я читал потрясающую историю молодой женщины, многократно отвергнутой, которая уехала как можно дальше от родины и пыталась встать на ноги, но постоянно проваливалась снова. Полная сомнений, полная

тоски, полная страха. Она не прижилась у Макса и Цеси, почувствовав: ей и ее ребенку не рады. В последующие годы это ощущение периодически обострялось снова. Постоянные скитания, растущее с годами и опытом отчуждение, падение темпераментной женщины в зияющую темную пропасть – похожую судьбу разделили многие в ее поколении. Я увидел картину развития депрессии, возможно, отчаяния, поздние этапы которых наблюдал ребенком и подростком, пока не начал копировать ее, как поступали в похожей ситуации все дети – так они пытались понять своих молчаливых матерей, пока им на грудь не опускалось черное чудовище, мешающее дышать.

Если оглянуться назад, наверное, можно сказать: преступления моей матери заключались в том, что она была женщиной и еврейкой. А подготовленные обществом наказания до сих пор продолжают жить в ее детях.

Страна, о которой моя мать всегда говорила с сияющим видом, осталась для меня чужой. Бывало, я останавливался перед турбюро и думал зайти, но каждый раз решал этого не делать. Почему? Не знаю. Аргентина осталась неисследованным континентом, отбрасывающим тень на историю семьи. Почему туда сбежала моя мать? Ее письма ответа не дали. Думаю, она сама не решалась затрагивать эту тему. Ей приходилось нелегко, она пыталась растить собственного ребенка и разбираться с капризами детей Мерседес. Она была молода, хотела построить новую жизнь, но наверняка чувствовала – каждый ее шаг вел в тупик. В ее письмах постоянно возникала тема недостатка самоопределения. Она снова чувствовала себя оторванным от общества изгоем, чужачкой в новой стране, которую она выбрала сама и раскрасила в такие яркие цвета, что, казалось, контуры сейчас загорятся. Она писала письмо за письмом, пытаясь уловить непостижимое, не теряя надежды, но чем больше она писала, тем яснее понимала – Отто отстраняется. Она постоянно подчеркивала: несмотря на все трудности, жизнь в Буэнос-Айресе гораздо легче, чем в Германии. «Каждое утро Ада получает бутерброд с медом, а в обед и в ужин – обычную еду. Она хорошо одета». В Германии с этим точно было бы сложнее. «Пока, – писала она, – я довольна своей судьбой, хотя несправедливо, что мне приходится справляться со всем в

одинокую и в будущем ничего не изменится. Отто выразился в открытке ясно, он будет уклоняться от любой ответственности. Самое ужасное, что эти слова совершенно на него не похожи, и я постоянно со слезами упрекаю себя, что влюбилась в него, словно глупая курица».

То, что читалось в первых письмах между строк, теперь говорилось открыто. Отношения с Мерседес быстро сошли на нет. Близость породила ревность. Герман откровенно преследовал Салу, мало заботясь о слухах. Совместное существование оказалось отравлено. Ненависть, в которой росла Сала, помогала ей справляться с ежедневными неудачами, нуждой, оскорблениями, зависимостью от чужих подачек и прежде всего – неуверенностью в себе. Но вскоре стало еще хуже. В одном из писем Сала с отчаянием рассказала, что Мерседес потребовала отправить Аду в интернат. Девочка вырастет либо неудачницей, либо преступницей, это видно по глазам, по лукавому нижнему веку, – такая компания ее детям не подходит.

Сала нашла маленькую монастырскую школу в глубине страны. Монахини отнеслись к Аде дружелюбно. Здесь ей будет хорошо, и, возможно, она заговорит. Сала ездила к ней каждые свободные выходные. Она писала отцу: «Мне не везет с людьми. Помогает только чтение. Вот бы закутаться в платье из букв».

Она встала в четыре утра, чтобы успеть на поезд до Ла Фальды, окунувшись в глубокую утреннюю синеву.

Примерно в девять они с Адой покинули стены монастыря. Восходящее солнце освещало заднюю часть здания, фасад же дарил спасительную тень. Держась за руки, они спустились с холма. На Аде было белоснежное платье – она выгладила его сама. Платье Салы было украшено яркими цветами, ее волосы пахли кедром, а в левой руке она сжимала корзину для пикника.

Они нашли под деревьями тенистое место и со смехом повалились в траву. Скоро вдалеке, над подстриженными полями, запылает солнце, и до самого горизонта лягут золотые ковры. Пока Сала в радостном предвкушении раскладывала на теплой земле скатерть, Ада достала тарелки и приборы. Потом она маленькой ручкой постучала по траве, обозначая между собой и матерью третье место. Сала отвернулась. Она не могла вынести этого зрелища. Ветер раскачивал бесконечную зелень мягкими волнами.

После обеда они бегали по лугу. За прудом мирно паслись волы, не обращая внимания на крики чибисов. Вскоре день начал клонить свою лучистую, горячую голову к закату. Ада увидела на крестьянском дворе, как в шипящих маховиках машин пшеница превращается в золотой дождь. Она потянулась к материнской руке.

– Мама? Почему папа нас больше не любит?

Сала подняла голову. Что? Изумленная и счастливая, она обхватила ладонями лицо Ады. Ее дочь впервые заговорила. Они неподвижно стояли друг перед другом. Почему она не обнимает от радости дочь? Сейчас. Быстро. Пока не слишком поздно. Сала почувствовала взгляд Ады, острый солнечный луч, проникающий прямо в душу. Она не справилась. Не смогла дать дочери отца, не смогла обеспечить Аде дом, откуда ее не выгонят, и отдала ее. Чужая страна приняла Салу, но теперь против нее восстала собственная тень. Издалека напозлали темные тучи. «Гроза», – подумала Сала, удивляясь, что не слышит грома. Казалось, ветер задержал дыхание. А потом что-то зашумело, налетело на них, обрушилось на землю,

сорвало листья с масличного дерева, обьяло грядки, травы и цветы и снова поднялось в воздух с библейской мощью. Саранча, догадалась Сала, но видела лишь мертвые тела из Гюрса в кузове грузовика. Они кружились вокруг.

– Бежим, Ада! – крикнула Сала дочери. – Бежим!

Ада молча посмотрела на мать. Над ними бушевала стихия. Земля под ногами почернела от дождя. На обратной дороге в монастырь они не произнесли ни слова.

Поздно ночью, вернувшись домой, Сала услышала резкий щелчок. Боль пронзила ее, словно электрический ток. Она изумленно обернулась. Перед ней стоял Герман с голым торсом, в левой руке он держал кнут. Снаружи шумел дождь. Сала уже не знала, как долго.

Уже позднее, выглянув в окно, она увидела: все посерело от влаги. Впереди ночь. Она должна взять себя в руки. Когда-нибудь в темноте засияет новый день. Когда-нибудь ее комнату зальет солнечный свет. Когда-нибудь небеса снова наполнят перелетные птицы. Когда-нибудь.

Через несколько месяцев пришло письмо от Отто. Отправлено из Берлина. Шаперштрассе. Это хороший район. Дрожа от счастья, Сала открыла конверт.

Она начала читать. Сначала она не поняла. Все звучало так запутанно, так сложно и затянато, совершенно непривычно для Отто. Ему никогда не требовалось много слов, но она добралась уже до второй страницы и никак не могла взять в толк, что он, собственно, хочет сообщить.

Она будто шла по извилистой тропинке вдоль небольшой реки в девственных лесах Амазонки. По воде плыли – медленно и спокойно – отдельные грубые поленья. Сала хотела опуститься к воде, чтобы утолить жажду. Тогда это и случилось. Одно из поленьев молниеносным движением превратилось в огромного крокодила. Он бросился на нее, раскрыв пасть.

Отто больше ее не любил. В его жизни появилась другая женщина. Война забрала его лучшие годы, и новых промедлений он себе позволить не мог. «То, что мне пришлось пережить, сделало из меня другого человека, – дрожа, прочитала Сала. – Возможно, ты бы

вообще не смогла меня узнать и в конце концов была бы рада вновь обрести свободу и независимость. Не сомневаюсь: после всех пережитых страданий ты ценишь эти вещи не меньше, чем я». Эта фраза вонзилась ей в голову, словно ржавый гвоздь. Внезапно Сала услышала, что смеется – звонким, язвительным смехом. Что он знает о ее страданиях? Разве он видел их, разве ее поддерживал? Нет. Никогда. Дальше Отто сообщал, что считает своим долгом быть с ней предельно откровенным, хоть он и хотел бы уберечь ее от разочарований. Он встретил женщину. И хотя он сомневается, что годится в мужья, он решил попробовать создать семью с Вальтрудой.

Сала написала два письма: короткое для Отто и длинное – своему отцу. В письме к Отто она согласилась с содержанием его послания. Ей, в свою очередь, добавить особо нечего – очевидно, его чувство такта не поспевает за духовным развитием, впрочем, если учесть его происхождение и, как следствие, недостаток воспитания, это неудивительно. Она отлично справится одна, жаль только их совместную дочь, которая прекрасно развивается. В плане материальных вопросов она вынуждена напомнить о его ответственности и надеется, что он будет выполнять финансовые обязательства без дальнейших просьб. Иначе она без колебаний обратится к адвокату.

В письме к отцу она откровенно написала о своем отчаянии. Годы безоговорочного ожидания и доверия. Если бы она не несла ответственности за другую жизнь, то сразу бы повесилась.

Ответ Отто стал новым ударом. Он сомневался в своем отцовстве. Он знает про отношения Салы с Ханнесом, она сама рассказала ему в Лейпциге. Она гневно ответила, что он может подавиться своими деньгами. Хотя на самом деле считала каждый сантимом.

Она поехала к дочери, в Ла Фальду. Перенести реакцию Ады на печальную новость, что папа не приедет, оказалось еще тяжелее, чем собственную боль.

– А почему папа не приедет? – спросила девочка.

– Понимаешь, взрослые иногда меняют планы.

Ада опустила взгляд.

– Но он же обещал.

«Дас Эк» был сомнительным заведением. В задней комнате можно было нелегально играть в карты. На покрытых копотью и табачным дымом стенах висело несколько автоматов. Отто регулярно приходил сюда с тех пор, как вернулся из заключения. Он никому не звонил и ни с кем не встречался. Его сразу приняли на работу в Шарите. Сначала ассистентом, потом, через несколько месяцев, врачом. Особенно хорошо ему удавались короткие, быстрые операции. Он начал обучение на отоларинголога. Отто сам не знал почему. Рекомендация главврача. Кроме того, в Шарите были нужны такие специалисты. Все складывалось удачно. Берлин восстанавливался. Люди перестали страдать от голода.

Вальтруда жила в русской зоне. И искала мужа, который сможет ее оттуда забрать. У коммунистов ей не нравилось. «Время покажет», – подумал Отто и согласился. Ориентировка? Структура? Способ отвлечься? От чего? От войны? От заключения? От звона в ушах? Да, возможно, пронзительный голос Вальтруды заглушит шум у него в ушах.

Его пациенты все время спрашивали, как избавиться от этого ужасного шума в ушах. На самом деле шумит не в ушах, пытался успокоить их Отто, шумит в голове, и у него тоже.

– Это война, господин доктор, – сказал ему один пациент.

Да, война, конечно, это война. Вся их нынешняя жизнь – война. Их прошлое, их настоящее, их будущее. Они были войной. Разговоры об этом не приветствовались. Никто не захотел задавать вопрос и не получать ответ. Все делили одну и ту же судьбу, и потому судьбы не было ни у кого. Они каждый день приходили к нему на консультации, все, как один, полные жалости к себе. Хотели, чтобы их осмотрели, но не знали, что показывать. Их тела болели. Их души? Что такое душа? Слово знакомое, но его смысл они где-то потеряли. В болотах, в окопах, в лагерях, в тюрьмах, в погибших товарищах, в обделанных штанах, в растерянных лицах их детей, впервые увидевших отцов после войны, в кроватях, где с их женами спали другие мужчины, в их

снах, прерванных бомбежками, в их утраченной тоске, в их преданных идеалах, в их обледенелых сердцах. У них не осталось своих чувств, и они не могли принимать чужие. Они были мертвы. Умерли, как их отцы в Первую мировую войну, обречены на смерть, как их дети. Зловонные трупы, но они не могли этого сказать, не могли этого подумать, потому что тогда они бы дружно выпрыгнули из окон заново отстроенных домов. «Потому что эту страну разбомбили не союзные державы, а мы сами, – подумал Отто, – мы подставили задницы ветру, не ожидая, что ветер может перемениться и собственное дерьмо прилетит нам в лицо».

Нет, лучше сидеть за переполненными столами на новых диванах рядом с Вальтрудами и Ирмгардами, Гердами и Юттами и смотреть в будущее с надеждой. Четыре с половиной года заключения. Они засели внутри. Он работал. Играл. Ел, пил и спал. А когда заканчивал, то начинал все сначала или с конца – разницы нет. Поэтому он женился. И да, его подозрения подтвердились, в мужья он не годился. Когда появлялись деньги, он шел в кабак, пропивал их и проигрывал, если что-то оставалось, покупал Вальтруде драгоценности или спускал в казино. Он вернулся туда, откуда начал. Он был смешон. Но он был врачом. И у него была машина.

Он закончил медицинское образование в Шарите. Подчиняться ему удавалось плохо. Повсюду царил тот же корпоративный дух, те же разговоры и замашки, те же рожи, те же дураки, что и до войны. Ему хотелось уйти. Самому распоряжаться собственной жизнью. Больше никто не должен ему приказывать. Никто. Да, возможно, он твердолюб, как говорит главврач. Но он видел в лагере, как одинаковые куски дерьма собираются в одинаково зловонные компашки, и после этого решил не прислушиваться к чужим советам.

В последнюю ночь перед освобождением он пил с лагерным комендантом, они пели русские песни и читали Пушкина. Маша уехала за несколько месяцев до этого. Теперь она работала медсестрой в Ростове. Иногда он думал о ней. Маша жила. Маша смеялась. Маша любила. Маша была такой безрассудной. Маша не спрашивала о его прошлом. Маша была настоящей. Маша была войной. Была им самим. Была тем, чего он никогда не имел или утратил в Германии и снова обрел в России. Она была его погибшим отцом, его проклятой матерью, она была березами под Берлином, березами из России. Она

была Верхней Силезией и Померанией. Она пахла борщом и соснами. У нее были тонкие руки, белое лицо, прекрасная смуглая кожа. Темные волосы. Ее губы. Ее грудь. Ее спина. Ее улыбка. Она всегда на него смотрела. Он умывался в ее слезах. Маша была сном, от которого он никогда не хотел просыпаться, болью, заглушившей его тоску. Она была свободой, которой не существовало, правдой, которую он искал, борьбой, которую он проиграл. Маши не было. Четыре с половиной года заключения. Кому было объяснять, что он полюбил эту страну, этих людей? Они делились с ним последним куском хлеба, никогда не предавали, хорошо обходились. Почему кто-то должен был его понимать? Понимать было нечего.

В последние месяцы он работал в частной практике в Тегеле, рядом с больницей. Подменял пожилого отоларинголога. Зарабатывал он хорошо. Лучше, чем в больнице. Хоть и не научная карьера. Он так мечтал о ней в лагере. Но снова щелкать каблуками? Нет. Доктор Лехляйн собирался выходить на пенсию. Отто пришелся ему по душе. Пациентам тоже нравился молчаливый молодой врач. Он был рабочим. Как и они. Доктор Лехляйн обещал отдать практику за нормальную цену. Кредиты выдавались легко.

В обеденный перерыв он приходил в одно и то же кафе, садился у окна и смотрел на улицу – в солнце, в дождь, в первый снег. Мимо спешили люди, из магазина в магазин. Их руки становились все длиннее и длиннее, пакеты экономического чуда весело били по коленям во время ходьбы. Покупать, использовать, выбрасывать, снова покупать. День за днем они торопились мимо окна. Их животы становились все толще, глаза на расплывшихся лицах уменьшались до размеров булавочных головок, не пропуская ни одну скидку. Глубокая тоска, тяжелое дыхание. Из развороченной бомбами земли выросли магазины: магазины одежды, кухонной утвари, электроники, деликатесов, частные лавки, кафе, кондитерские, прачечные, сапожные мастерские. За деньги можно купить все. За деньги можно есть, пить, курить, строить дома, заселять их, продавать и строить новые.

– Оооооттоооо!

Голос Вальтруды прогремел по маленькой квартире на Шаперштрассе. Отто задался вопросом, какого черта родители

наградили его таким именем. Но если бы он не женился на Вальтруде, она бы сейчас его так не звала.

– Как тебя зовут? Отто? Как мило! Отто?

Ему следовало встать и уйти еще в бюро бракосочетаний. Но он оказался слишком труслив, слишком истощен. Он не знал, что жизнь с этой женщиной окажется новым заключением. Вальтруда была такой же решительной, как его мать. Сначала это ему понравилось. Теперь он стыдился тех мыслей.

– Ееееедаааа.

Она накрыла на стол. Небрежный порядок, как и везде в квартире. Усаживаясь, Отто подумал: «Вальтруда из тех людей, кто не делает различий между внутренним и внешним». Она состояла из улиц с односторонним движением и тупиков. Некоторые были громкими и яркими, со стульями и столиками возле дверей, как на фотографиях южных городов, некоторые – мрачными и пустынными, словно опустошенные немецкими солдатами русские деревни. Тогда в квартире пахло смертью.

– Ну, Оттохен? Как дела в больнице? Скоро аванс?

Ее попытки проявить власть напоминали Отто его семью, отчима и сестру. Вальтруда постоянно спрашивала, когда он станет заведующим или главным врачом, когда они смогут позволить себе новую машину, большую квартиру или даже дом с садом, а то и с парком.

– Отто, милый, муж Хильды, Дитер, подарил ей бриллианты. Потрясающе, правда? А еще купил «Опель-капитан». Вот так вот. Только представь. Вот это щедрость.

– Глупость.

– Что?

– Бахвальство и глупость.

– Ну опять. Как обычно. Ты просто завидуешь.

Отто промолчал.

Вальтруда возвышалась перед ним, уперев руки в бедра.

– Знаешь, ты бываешь таким дерзким, настоящий брюзга, мой маленький Отто.

Как же он был глуп. Непростительно глуп. На сегодня с него довольно. Он отодвинул тарелку.

– Ой, что случилось?

Отто встал.

– Мне пора.

– Вот как? Куда на этот раз?

– В больницу.

– В больницу?

– Должен осмотреть пациентов.

– Пациентов или пациенток, господин доктор?

Он закрыл за собой дверь.

У Отто был выбор. Почему именно Вальтруда? Почему эта непростительная ошибка? Он не знал. Таких, как Сала, нет. Тут ничего не изменишь. Но Аргентина? Нет. Ребенок? Нет. Он хотел жить. Вальтруда знала, как обращаться с мужчинами. С такими мужчинами, как он. Изголодавшимися. Лишенными юности. Потерявшими десять лет на этой войне, на службе у безумцев, в окружении холуев, выполнявших каждый абсурдный указ, ефрейторов, которые могли по два-три часа бездумно пялиться в окно. Теперь Отто спешил в кабак. Там ждало счастье. Там все были равны. Как в лагере, как в России. И там царило веселье.

Вернувшись в родную гавань, нужно будет быстренько залезть на Вальтруду, успокоить ее. Не так уж плохо. Иногда даже приятно.

Иногда ему писал Жан. Чаще всего он отвечал с большой задержкой или не отвечал вообще. Переезд в Южную Америку был категорически исключен. Отто не владел языком, не знал ни страны, ни традиций, к тому же в Аргентине не признают его диплома. Там придется начинать все сначала. Даже если его образование признают частично, что вряд ли, он снова потеряет несколько лет жизни. Сала его никогда не примет. Лучше уж так. А ребенок? Он действительно его отец?

Он нашел у матери фотографию Салы. Она лежала в выдвижном ящике на кухне. Отто достал ее и расплакался. Он стоял на кухне своей матери, на старой кухне, в той самой квартире, где он вырос. Третий двор, налево, первый этаж. Он вспомнил, как прокрался ночью домой после ограбления. Пьяный отчим лежал на столе. Мать суетилась вокруг – и ему стало стыдно. Он вспомнил, как выходил рано утром во двор, мимо кровати отчима, которого снова выгнала

мать, потому что накануне он опять избил ее или детей, как он упражнялся на перекладине во дворе – пока не начнут гореть руки, а потом еще десять раз, до сведенных мышц. Роланд. Грабежи. А потом он оказался в ее квартире. На лестнице. У книжных полок. А она появилась сзади. Когда он повернулся, то чуть не свалился. Стройная, со светлой кожей, тонкой, словно бумага. Настороженный взгляд. Так на него не смотрел никто. Темные волосы печально рассыпались по плечам. Черт подери, он никогда не плакал. Это бессмысленно.

Новые работодатели Салы были экстравагантными молодыми людьми. Антонио был прокурором, а его жена, Изабелла, – склонной к истерии художницей в творческом кризисе. Зато Сала снова смогла забрать к себе Аду. Та превратилась в хорошенькую девочку. Сала написала Жану, что испытывает счастье, заглядывая в глаза дочери. Но умолчала, как часто думает об Отто.

Они жили в Аргентине уже почти восемь лет. Она накопила денег на участок земли в пригороде Буэнос-Айреса. Там она хотела поселиться с Отто. Таков был план.

Возможно, он прав: они слишком разные. Или дело в войне? Влюбленность в другую женщину она простить могла, ведь у нее был Ханнес, но имя звучало ужасно. Вальтруда. Самое что ни на есть немецкое. Владельцы участка просили принять решение о покупке в течение трех дней. Что им отвечать? Без Отто в этом не было никакого смысла.

Как теперь строить будущее? Осенью Ада снова пойдет в школу, в Буэнос-Айресе. В монастыре ее многому научили. Но она стала еще тише, казалась какой-то замкнутой. В некоторые дни она не выходила из комнаты и просто сидела у окна, уставившись вдаль. И когда Сала уже начинала бояться, что дочь снова разучится говорить, та поворачивалась и изумляла ее невероятными историями. Ее внутренний мир населяли всевозможные сказочные существа, а еще гордые молчаливые гаучо, что собирались холодными вечерами у костров и пели грубыми голосами под гитары свои одинокие песни. Она вспоминала широкие поля вокруг монастыря, их сияние под белым светом полной луны, сладковатый аромат деревьев. Однажды Сала стояла рядом с Адой, и та удивительно крепко схватила мать за руку.

– Мама? Небо тихое и необъятное.

В ту ночь Сале снилась зловещая птица. Она с пристальным взглядом опустилась ей на голую грудь. Сала, дрожа, лежала возле замерзшего ручья. Слева и справа возвышались горы, впереди

раскинулась долина. Несмотря на лето, мерзлая земля была покрыта снегом. К ней подбежал одинокий белый конь, встал на дыбы, фыркая и раздувая ноздри, выпучил глаза, оскалил зубы и издал душераздирающий, человеческий крик, переросший в короткий предсмертный хрип. Передние ноги жеребца подкосились, его огромное тело повалилось на землю. Из умирающих глаз потекла багровая кровь.

Уже в ранние утренние часы на стены дома заползала жара, а в спальню пробирались влажность и духота. Сала встала, сполоснула влажное от пота тело холодной водой, подготовила все для школы и вышла из квартиры. Тихо прикрыв за собой дверь, она выдохнула. Когда она последний раз в одиночку бегала ранним утром по городу? Ее наполнило чувство безграничной свободы, когда она, все еще с туфлями в руках, ступила голыми ногами на асфальт. Земля еще хранила приятную ночную прохладу. Сала бесцельно побежала навстречу солнцу, как раньше, в детстве, бегала на Монте Верита к водопаду. Город тихо просыпался. Через улицу, на углу, Маноло открывал свой газетный киоск. Он весело помахал ей рукой. Почему это приветствие напомнило ей прощание? Перед Салой раскинулся Буэнос-Айрес. Город ликовал, здороваясь с солнцем. И она впервые не могла присоединиться к этой песне.

Когда она вошла в квартиру, мимо пролетел тапок, чуть не врезавшись в ее голову.

– Скотина! Выпил всю кровь! – крикнула Изабелла. Она выбежала из комнаты полуголая, в одном бюстгальтере. Волосы свисали влажными прядями. Изабелла ударилась головой об стену и сползла на пол. Она закатила глаза, словно теряла сознание.

– Он обманул меня, – драматично прошептала она. Казалось, она вот-вот испустит последний вздох.

– Это неправда, чертова сучка, ты просто пытаешься отвести от себя подозрения, – завопил в соседней комнате Антонио. Потом молодой прокурор абсолютно голым выскочил в коридор, сжимая в руке огромный нож.

– Что ты со мной творишь, проклятая шалава. Ты рушишь мою репутацию, мою карьеру, все.

– Карьеру? Какую еще карьеру, неудачник? Мы живем на деньги моего отца, пока ты преследуешь мелких мошенников!

– Негодяев вроде твоего отца поймать невозможно, такие готовы засунуть себе в карман всю страну!

– Зато у них есть что-то в карманах, в отличие от тебя! – победоносно завизжала Изабелла.

Дверь в комнату Салы была открыта. Там, широко распахнув глаза, стояла Ада. Опустив взгляд, Сала проскользнула мимо голого хозяина дома и закрыла за собой дверь. Ада бросила на нее отчаянный взгляд. Снаружи послышался глубокий вдох Изабеллы. При этом она так ужасно хрипела, что Сала испугалась за ее жизнь. Затем последовал пронзительный визг. И стало тихо. Вскоре после они услышали шаги, раздался шепот, открылась и снова закрылась дверь в хозяйскую спальню. Судя по громким стонам, начался акт примирения.

– Мама, я не хочу здесь оставаться, – сказала Ада.

Стоял прохладный, солнечный мартовский день. «Хуан де Гарай» прибыл в Гамбургскую гавань. Ада наблюдала с палубы за людьми на причале. Когда опустили трапы, пассажиры в радостном оживлении столпились у выхода. Взволнованная Ада бросилась вперед. Желая первой сойти с корабля, она протолкнулась мимо взрослых и приготовилась к прыжку. Но едва проход открылся, ее схватила чужая рука и резким рывком опустила на землю посреди полета. Короткая оплеуха и непонятная хрипящая речь заставили девочку уступить проход. Ее первый шаг на германскую землю стал шагом на вражескую территорию. Даже солнце светило здесь с безрадостной строгостью. Аде захотелось назад на корабль, назад на родину, назад в Буэнос-Айрес. От этих пустых взглядов, от этого кудахтанья. Этот страх слезами не одолеть. Здесь – страна взрослых, и ее выбросило на берег.

– Здесь с собаками обращаются лучше, чем с детьми, – сказала она матери после первой совместной прогулки. Вдалеке слышалось пьяное пение. Первую ночь обе провели беспокойно. И смогли заснуть только ранним утром. После завтрака настроение немного улучшилось. Они сели на поезд до Берлина. И просидели неподвижно почти всю поездку. Сала была рада вернуться, но боялась своей родины. Гюрс и воспоминания из детства возникали на фоне пролетающего в окне пейзажа. Перед ней сидела Ада. Будущее есть.

Они медленно поднялись по лестнице. Мопп Хайнеке открыла дверь. Бросившись в ее объятия, Сала пыталась вспомнить, что происходило тогда, в Лейпциге, что она чувствовала, что видела. Воспоминания пронеслись мимо, словно люди, которым нужно уступить дорогу. Они расспрашивали друг друга о незначительных деталях и слушали рассказы, словно наконец смогли пролистать старые газеты у парикмахера. Иногда обе умолкали, будто хотели немного обдумать услышанное, чтобы потом еще быстрее поспешить вдогонку за мыслями, схватиться за ручку уходящего поезда и в

последний момент запрыгнуть в вагон, уносясь в утраченное время. Вечером они уютно устроились на маленьком балкончике Мопп. На улице горланили мужские голоса.

Мы Тризонезии туземцы,
Хай-ди-чиммела-чиммела-чиммела-чиммела-бум!
У наших девушек пламенное сердце,
Хай-ди-чиммела-чиммела-чиммела-чиммела-бум!
Поверь, не станем мы кусаться – предпочитаем целоваться!
Мы Тризонезии туземцы,
Хай-ди-чиммела-чиммела-чиммела-чиммела-бум![\[47\]](#)

– Где находится Тризонезия, мама?

Сала ненадолго задумалась, а потом расхохоталась.

– Здесь... Они имеют в виду Берлин... Да уж, умо-о-ора:
Тризонезия!

Она затряслась, из глаз побежали слезы.

– Ты плачешь? – спросила Ада, взяв ее за руку.

– Нет, я... Думаю, я смеюсь.

Засыпая, Сала размышляла, по-прежнему ли Отто живет на Шаперштрассе.

– Ты вернулась из-за него? – спросила на следующее утро Мопп. Сала пришла в ужас. Подруга осталась такой же прямолинейной. На ее лице залегло несколько морщин, парик стал элегантнее, но глаза по-прежнему светились неиссякаемой энергией и жизнелюбием – несмотря ни на что, подумала Сала, несмотря ни на что.

– Не знаю... Честно говоря, я не знаю, почему мы уехали. Тогда не знала... И не знаю теперь. – Она провела рукой по лицу, словно пытаясь быстро стряхнуть сомнения. – Сегодня ночью мне пришло в голову, что я с шестнадцати лет спасаюсь бегством... – Она замаялась. – Думаю, мне надоело бежать.

Мопп обняла ее обеими руками.

– Вы ему писали?

Сала кивнула. И с изумлением осознала, как легко ей дался этот кивок. Да, она писала. Сотни писем, каждый день, каждую ночь, во сне

и наяву, теперь она могла признаться, впервые кому-то рассказать – человеку, который, в отличие от Мерседес, точно ее не предаст, теперь она могла говорить, но лишь молча кивнула.

– И что? – не отставала Мопп.

Сала вопросительно посмотрела на подругу.

– Собираешься сидеть здесь, пока не пустишь корни?

Мопп бросилась к буфету и достала телефонную книгу. Как легко движется ее пышное тело, подумала Сала, наверняка она прекрасно танцует. Интересно, Отто по-прежнему любит танцевать? Никто не танцевал так, как Отто, даже Ханнес, хотя он тоже был прекрасным танцором. Мопп опустила телефонную книгу на кухонный стол.

– Давай посмотрим. Может, найдем его.

Она побежала в коридор, к телефону, и помахала Сале трубкой.

– Давай, – рассмеялась она. – Устоять невозможно.

Руки Салы взволнованно порхали над страницами. Имена, столько имен. Все они выжили. И за каждым именем скрывается история, прекрасная или ужасная, неважно. Героев среди них почти не было, но была ли героиней она сама? И вообще, что за ужасное слово? Герои. Все это в прошлом. Отечество. Честь. Приличия. Верность. Все пропало. Сала коротко рассмеялась. Она наткнулась на фамилию Гиммлер. Неужели правда? Может, есть еще и Гитлер? Сала поискала. Нет. Как она вообще оказалась на букве Г? Она пролистала назад. Сердце забило сильнее. Сколько ударов в минуту оно способно выдержать? А в секунду? Баерманн, Бальзер, Берхенке... Вот он. Отто. Его имя. Отто Беркель, доктор медицины, отоларинголог. Он переехал и теперь жил на Ранкештрассе, 2. Все так просто? Она набрала на диске номер 80–31–90. Гудки длились бесконечно. Сала посмотрела на Мопп и покачала головой. Вдруг в трубке что-то затрещало.

– Да?

Голос казался чужим.

– Кто это?

Вопрос прозвучал сердито. Сала задрожала. Бросить трубку? Мопп погрозила ей пальцем.

– Добрый вечер, господин доктор, как у вас дела?

Стало тихо. Сала услышала шаги. Снова треск.

– С кем я говорю?

– У вас три попытки, чтобы угадать.

Отто молчал. Сала чуть не рассмеялась.

– Вы проглотили язык?

Что он делал? Сидел? Стоял? Смотрел в окно? Почему он молчал?

– Где мы познакомились?

Этот звонок – ошибка. Сейчас правильнее всего просто положить трубку.

– Значит, вы не узнаете мой голос? – спросила она.

Узнает ли она голос Отто? Среди тысячи голосов. Такого не может быть. Он знает, что это она.

– Кто вы?

Сала молчала. Кто она? А кто он? Зачем она вообще вернулась?

– Где мы познакомились?

Нет, она представляла этот разговор совсем иначе. Какая глупость!

– В Берлине. Довольно давно.

Ее голос звучал устало. Она оперлась на телефонный столик, ища взглядом стул. Он стоял чуть позади. Шнур не дотянется.

– У нас есть что-то общее?

Что прозвучало в его голосе? Тепло? Или она выдает желаемое за действительное? Сала уставилась в стену. Есть ли у них что-то общее? Она никогда не ставила вопрос так прямо. Ее всегда занимали лишь различия.

– Думаю, да.

Ее впервые посетили сомнения. Возможно, лучше было бы позвонить Ханнесу?

– Что?

– Что?

– Я имею в виду, что у нас общего?

Справедливый вопрос. Объединяет ли соединение семени с яйцеклеткой?

– Дочь.

– Где ты?

Сала заметила, что у нее задрожали колени.

– У Мопп.

– Ребенок с тобой?

Сала не ответила. Ребенок. А где еще быть ребенку? Этот вопрос очень метко отражал различие между ними. Она бы никогда не задала

его.

– Мы можем увидеться?

Могут ли они? Должны ли? Если женщина говорит «нет», она имеет в виду «может быть»; если она говорит «может быть», то имеет в виду «да», а если она говорит «да», то она шлюха. Почему Ханнес вспомнился ей именно сейчас?

– Может быть.

– В «Кранцлере»?

Она молча кивнула.

– Буду через десять минут, – сказал Отто.

Десять минут. Дрожа, Сала положила трубку. Что она ответит, если ей предложат описать свою жизнь за десять минут? Как поступит, если ей скажут, что через десять минут ее жизнь изменится? Ее тело напряглась, словно пытаясь позаботиться обо всем сразу, надеть на лицо маску хорошего настроения, чтобы скрыть пустоту.

Мопп молча наблюдала за подругой.

– Что ты делаешь?

– Еще недавно я знала.

– А теперь?

– Иду к нему.

Она принялась со смехом кружиться по комнате.

– У тебя есть красивое платье? Боюсь, мои аргентинские вещи не слишком уместны. Здесь одеваются проще.

– Я немного набрала вес, но...

– Ладно, ерунда, пойду прямо так, – Сала растерянно посмотрела на Мопп. – Сколько отсюда до «Кранцлера»?

– Пара минут, улицы пусты.

– Как так?

– Мы же играем в финале, детка.

«Что еще за финал?» – подумала Сала, но была слишком взволнована, чтобы расспрашивать. Она быстро поцеловала Аду. Сала не хотела рассказывать дочери, с кем собирается встретиться. В этот раз она будет осторожнее. Ада печально на нее посмотрела. У себя в комнате Сала вытащила из шкафа и перебрала всю одежду. Она нашла простую черную юбку и белую блузку. Почти как тогда, при первой встрече.

«Надо будет купить телевизор», – подумал Отто. Теперь, когда вернулась его семья. Из приемника над головой дребезжал взволнованный голос спортивного комментатора Циммермана.

– Гриффит, боковой судья из Уэльса, на нашей стороне поля, он поднял флаг, и Линг отреагировал моментально, три на два, осталось всего четыре минуты финального матча за титул чемпиона мира на стадионе «Ванкдорф» в Берне, и немецкая команда явно нервничает, и в данный момент... В данной ситуации их можно понять, а мяч тем временем уходит в аут...

Отто сидел на втором этаже, за столиком для двоих, у окна. Он нервно теребил манжеты. Под ним виднелся тихий и пустой Курфюрстендамм, справа, посреди зала – лестница. Он был одет в нарядный темно-синий костюм в мелкую полоску. Красный галстук, белый нагрудный платок, нечищенные черные ботинки. Он проигнорировал резкий голос Вальтруды, ее громкий вопрос. И уже через пять минут был готов к выходу. В зеркале его взгляд впервые задержался на шрамах. Конечно, он видел их и раньше, еще когда они светились кроваво-красным. Они глубоко врезались в его кожу, как вопрос, оставшийся без ответа. Тогда это не имело никакого значения. Теперь это было ему неприятно. Он сдал шляпу в гардероб.

– Если обо мне спросит элегантная молодая дама, я сижу наверху.

Гардеробщица понимающе кивнула. Отто сам не знал, зачем это сказал. Ему хотелось прокричать это на весь мир. Вскоре пришли первые сомнения. Сала могла передумать по множеству причин.

Он попытался вспомнить: что он писал Сале из тюрьмы? Ничего хорошего. Одни гадости. В голове всплыла первая встреча с Жаном. Во что он был одет? В красную майку. А еще? Его губы едва слышно произнесли первые строчки стихотворения Пушкина. Он вспомнил внезапное вторжение, роскошный кожаный переплет специального издания «Римской истории» Моммзена – единственный украденный предмет, оставленный им себе. Эрну, старшую сестру, прильнувшую к нему в маленькой комнатке посреди ночи. Ее хриплый голос: «Давай, поимей меня». Похороны его отца. Обрывки войны. Париж. Булочная. Окровавленные младенцы. Роланд, убитый пулей в прихожей. Побои. Его жизнь у приемных родителей. Голод. Собственные экскременты, которыми он чуть не подавился. Бомбоубежище. Воздушные атаки.

Разбитое стекло, порезавшее ему лицо. Скулы Маши. Ее улыбка. Вальтруда. Снова Пушкин. Зеленое сукно игрального стола, летящий шарик рулетки, вращающиеся цифры. Треск деревьев в русском снегу. Он попытался представить Салу, ее лицо, ее руки, ее плечи, ее волосы, ее молчание, ее тело, ее смех. Он попытался представить ребенка. Девочка? Он теперь отец. Отто стало дурно. На лбу выступил холодный пот. Его отчим умер возле угольной печки. Орущая семья. Лицо его матери. Мужественное и твердое. Жан. Пустынные пейзажи. Мертвые березы. Фотография его родного отца, Отто, со слегка изогнутыми усами. Крики младенца, хныканье, жалобный плач. Карусель. Часы с музыкой. На его плечо легла рука. Сала опустилась на стул и молча на него посмотрела. Отто не видел, как она пришла. Его бросило в дрожь от ее красоты. Он молча схватился за край стола. Никаких мыслей. Он почувствовал легкость. Потом пришла боль. Слабость. Стыд. Он прикоснулся к ее руке.

– Все, все, все, все-е-е! Конец игры. Германия – чемпион мира! – прогремел из радиоприемника голос Циммермана.

На Курфюрстендамм хлынули с прилегающих улиц люди. Отто повел Салу вниз. «Надо подать на развод», – подумал он. Когда они вышли на улицу, он осторожно предложил ей руку.

– Месье Беркель?

Мне было пятнадцать. У меня за спиной стоял месье Вайнберг, мой французский учитель. Он был родом из Эльзаса, его фамилия произносилась как «Вимбер», и возможные еврейские корни прослеживались лишь по бумагам. Во Франции произношение по-прежнему скрывало происхождение.

– Подождите.

На прошлой неделе я прогулял занятие, хотя его уроки литературы были единственным интересным мне предметом. Но мне нужно было попасть на актерское мастерство, а в ту пятницу оно начиналось на час раньше. Я пытался отпроситься. Надеялся на понимание учителя – вернее, рассчитывал, поскольку был его любимчиком. Но он лишь бросил, что я должен принять решение сам, и исчез. Решение далось мне нелегко.

– Беркель, – он подошел ко мне.

В Германии учителя не интересовались учениками. Не в мое время. Они были чиновниками. Едва заинтересованными, едва образованными, едва убедительными. К ним можно было обращаться на «ты». Мне это не нравилось. Почему я должен обращаться на «ты» к человеку, который никогда не станет мне другом, который меня не интересуется, которого не интересую я, который постоянно донимает всех своим занудством и называет меня по имени, будто мы знакомы и у нас есть нечто общее. Между нами простирались миры, и я не желал туда входить. Во Франции было по-другому. Здесь никто не обращался на «ты». Во всяком случае, с ходу и без разрешения. Учителя были строгими. Они интересовались учениками, любили свой предмет.

Месье Вайнберг пристально на меня посмотрел. Приоткрыл рот, задумчиво втянул воздух, сжал губы и выдохнул через нос. У него в голове сформировалась мысль.

– Вы родом из разделенной страны, – фраза повисла в воздухе. – Из разделенного города, – он снова сделал короткую паузу. – Выросли с двумя языками, между двумя разными культурами, – теперь настал черед двоеточия, заключения, и я ждал его с нетерпением. – В вас

много неопределенности. Будьте внимательны. Когда-нибудь вам придется принять решение.

И он ушел. Я стоял, провожая его взглядом до конца темного здания на рю Рейнуар, 72. Эхо его шагов раздавалось во мне еще много лет. Что бы он сказал, если бы знал о моих еврейских корнях?

Месье Вайнберг.

Мне придется принять решение? Если да, то что именно я должен решить? Быть немцем или стать французом, мужчиной и не женщиной, как говорил Лакан^[48], актером и не режиссером или писателем, отцом и не матерью, мужем и не любовником. Иудеем или христианином?

– Месье Вайнберг?

Иногда я представляю, что мог его окликнуть. Наверное, он уже умер. Его номера у меня не было. Я хотел бы сказать ему, что уже давно и с благодарностью ему возражаю. Я так и не выбрал между двумя предложенными им вариантами. Когда зрительный зал полон и заняты все места, можно втиснуться посередине, или сесть с краю, или на ступени, или на пол перед авансценой, или смотреть спектакль, стоя за последним рядом, или принять в нем участие. Вариантов не два. Их больше. Гораздо больше.

За три недели до смерти прикованный к постели отец позвонил мне из Испании. Его голос был столь же слаб, сколь он некогда был силен. Немедленно уехать из Берлина я не мог и попросил его подождать. Он ждал. Три недели. Когда я вошел в его палату, мы оба знали: времени у нас осталось немного. Я принес две книги. Одну я читал ему вслух, а другую читал, пока он спал. «В поисках утраченного времени» Пруста, «Элементарные частицы» Мишеля Уэльбека. Всю неделю я приходил к нему каждое утро и оставался до вечера. Часто ли мы говорили раньше о смерти? Он был атеистом. После смерти его не ждало ничего. Страх? Чего? Что было, то прошло. Я ему не верил. Ни единому слову. Смерти боится каждый, нам свойственно бояться того, чего мы не можем постичь. Я был в этом твердо уверен. В свой предпоследний день он молчал. Собирался с мыслями или размышлял? Похоже, он оценивал свои шансы. Если приложить все усилия, на что можно рассчитывать? Несколько недель? Несколько месяцев? Год? И как это будет выглядеть? Он едва дышал.

Кислородный аппарат и инвалидная коляска. В Испании они остаться не смогут. Дом не оборудован для инвалидов, моя мать не справится в одиночку. Вернуться в Германию, где ей не нравилось? Нет. Довольно. Все было не так уж плохо. А кое-что даже очень хорошо. Его час настал.

Я каждый день ходил с матерью в больницу и наблюдал за прощанием моих родителей, которого не было. Они продолжали жить, как раньше, – смеялись, спорили, не соглашались. Когда медсестра спросила, нужно ли поменять капельницу или этим займется моя мать, он с извиняющейся улыбкой попросил сестру сделать это самой – так будет лучше. Он посмотрел ей в глаза. Она была красивая. Он улыбнулся. Моя мать закипела от гнева. Как только медсестра вышла, она, высоко подняв голову, молча покинула палату. Отец не пытался ее удержать. Он всегда уходил, когда вздумается, и оставлял это право другим. Пожав плечами, он улыбнулся мне, как бы говоря: ничего не поделаешь. Я побежал за матерью. И догнал ее возле лифта. Возможно, я слишком сильно схватил ее за руку. Она вырвалась.

– Ты не можешь уйти, – сказал я.

Я пытался говорить как можно спокойнее, хотя хотелось схватить и встряхнуть ее.

– Он умирает. Неизвестно, увидите ли вы еще.

– Конечно, увидимся. А нет – так нет. Что он о себе возомнил – так унижать меня перед медсестрой? Я подыскивала и обучала ему фельдшеров. Натаскивала даже самых бесталанных, самых норовистых, я была ведьмой, а на него все смотрели с благоговением. Ради похвалы начальника они были готовы на все! Я вела ему бухгалтерию, иначе мы бы обанкротились, терпела его капризы, молчание, упрямство, без моего отца он бы с треском провалился на экзаменах. – Высказав все это на одном дыхании, она сделала глубокий вздох. – А он берет и улыбается медсестре? – Моя мать сердито покачала головой. – Говорит, сделайте, пожалуйста, сами. Моя жена слишком глупа, слишком неумела, слишком... Не знаю, что еще. Такой наглости я не потерплю.

– Он не имел этого в виду.

– Он имел в виду именно это.

Ее голос зазвучал спокойнее. Я осторожно попытался снова. На этот раз она согласилась. Мы вернулись в палату. Я остался в дверях,

она подошла к кровати. Когда она наклонилась, чтобы поцеловать его в лоб, он взял ее за руку.

На обратном пути мы не сказали ни слова. Вернувшись домой, она легла спать. В ту ночь он умер. Один. Мне оставалось двадцать страниц «Элементарных частиц». Я их так и не дочитал. Он ушел без страха. Это был его прощальный подарок.

Моя мать собралась умирать накануне моей свадьбы. Я пытался объяснить ей, что это неподходящий момент. Дважды я ошибался и вот наконец нашел ту самую. Она не может так просто уйти, она должна это увидеть. Мать угрюмо откинула душевное одеяло.

– Такова Божья воля, – безучастно произнесла она. Я стоял возле ее кровати. После долгого молчания я сказал, что очень впечатлен перипетиями ее жизни. Она снова натянула одеяло.

– Меня бы вполне устроило, если бы перипетий было чуть меньше.

Она позвонила мне солнечным вечером накануне дня своей смерти. Голос звучал взволнованно.

– Скажи-ка, парень, ты ведь бываешь в этом ресторане, куда ходят актеры и политики, как он там называется?

– Ты имеешь в виду «Борхардт»?

– Точно, «Борхардт», заня-я-ятно, он был еще в моем детстве.

Она сделала паузу или не знает, что говорить дальше?

– Да? – сказал я.

– Что?

– Ты говорила о «Борхардте».

– «Борхардт». Да. Где он?

– Почему ты спрашиваешь?

– Ну, у меня там встреча.

– А, как здорово. С кем же? – спросил я, уже начеку. Когда она обращалась ко мне «парень», это не предвещало ничего хорошего.

Повисло молчание.

– С генералом Путиным.

– С кем? – я, должно быть, ослышался.

– Меня ждет там генерал Путин со своими людьми.

– Ты уверена?

– Что за дурацкий вопрос? Конечно, уверена. Ну?

– Что «ну»?

– Адрес.

– Почему ты встречаешься с генералом Путиным? Он вообще генерал?

– Разумеется. Он же Верховный главнокомандующий? Значит, генерал. И мы обручены. Ну теперь ты знаешь.

– Адрес, да... Погоди-ка...

Я задумался. Что делать? Она не отступит. Можно сменить тему, надеюсь, что она быстро забудет причину звонка. Но ничего подходящего в голову не пришло.

– «Борхардт», – нетерпеливо повторила она.

– Да, конечно, «Борхардт», извини, подожди секунду, «Борхардт», это на Францёзише штрассе, ну знаешь, около площади Жандарменмаркт, где концертный зал и бывший театр Макса Рейнхардта, знаешь?

– Конечно знаю, я часто ходила туда еще со своим отцом, тогда было еще красивее... Я же не вчера родилась.

– Нет.

– Номер дома.

– Номер... Погоди-ка... Давай я посмотрю и сразу перезвоню тебе, ладно?

– Нет, я подожду.

– Хорошо, тогда... Пойду поищу в адресной книге.

– А в твоём смешном мобильном посмотреть нельзя?

В некоторые дни с ней приходилось нелегко. Обычно она все забывала, но не всегда. Правил не было, как и в накрывающей ее тьме.

– Подожди секунду.

Я отложил трубку и забежал по комнате. Потом схватил мобильник.

– Тут только номера телефона, без номера дома, я сейчас туда позвоню, ладно? До скорого, – я хотел закончить разговор.

– Позвони с мобильного. Я подожду.

– Хорошо.

Если бы кто-нибудь меня увидел, он бы точно закрыл лицо ладонью. Стоя посреди собственной гостиной, я приготовил телефон и сделал вид, что набираю номер. Потом немного подождал.

– Алло, здравствуйте, это ресторан «Борхардт»? Извините за беспокойство, у моей матери встреча с генералом Путиным, и она немного задерживается, не могли бы вы... Простите? Ах да... Вот как... И что мне ей передать? Да... Да... Конечно. Значит, он снова свяжется? Хорошо. Большое вам спасибо. До свидания.

Я сделал вид, что закончил звонок. Потом снова взял трубку.

– Послушай, генерал Путин просил передать извинения, ему ужасно жаль, но они были вынуждены уехать в аэропорт. Неотложные дела, непредсказуемая ситуация. Ты же его знаешь. Он просит прощения и свяжется с тобой в ближайшее время.

– Тегель или Темпельхоф?

– Тегель, Темпельхоф сейчас закрыт.

– Да, но не для генерала Путина. Значит, он улетает из Тегеля, да?

– Да.

– И теперь мне не нужно в «Борхардт»?

– Нет.

– Ах. Хотя знаешь, пожалуй, это даже к лучшему. Честно говоря, на самом деле я рада.

– Да?

– Да, понимаешь, меня не слишком вдохновляет присутствие его свиты. Это немного сковывает, если ты понимаешь, о чем я...

– Полностью.

– Он становится таким официальным, понимаешь, он ведь несколько моложе меня. И поэтому за его спиной ходят сплетни.

– Хочешь сказать, как у твоей матери и Томаса?

– Там было нечто совершенно иное. Совершенно. В общем, я рада, что ехать никуда не пришлось. Я весь день думала, какое же надеть платье. А теперь вопрос закрыт. Удачи, мой мальчик, всего хорошего.

На следующий день она умерла. Это было воскресенье.

В моем детстве по воскресеньям время останавливалось. Его бег определяли лишь родители. «Путешествие в Иерусалим»^[49], между началом и концом. Играла музыка, все стулья были заняты, и только я бежал, бежал, бежал вокруг них по кругу. Музыка кончилась. Вместе с Жаном, Изой, Томасом, Лолой, Робертом, Ханнесом, Мими, Мопп, Цесей, Максом, Эрихом, Кларой, Вальтером и Адой, мои родители

погрузились в тишину. Свободных стульев не осталось. Я запрыгнул в пространство между ними. А оттуда – наверх. На свою яблоню.

Благодарности

Каждый человек, встреченный на жизненном пути, дарит нам что-то свое, но от этих людей я получил то, что позволило написать этот роман:

От моего дедушки – свободу.

От моей матери – язык.

От моего отца – мышление.

От моей жены – чувства.

От моих сыновей – игру.

От моего издателя Гуннара Цинибулка – веру.

От моего редактора Марии Баранков – вдохновение.

От Эрнста Люрсена – духовную связь.

notes

Примечания

1

Pied-a-terre (фр.) – пристанище. Здесь и далее примечания переводчика.

Операция по прорыву русского фронта в Галиции с целью спасти Венгрию от наступающих русских армий в мае 1915 года. Ее осуществляла 11-я германская армия при поддержке австрийцев на участке шириной 35 км между Верхней Вислой и подножием Бескидского хребта в районе Горлице – Тарнов.

Имеется в виду Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну. Подписан в Версале в 1919 году.

4

Айнтопф – очень густой суп с мясом и овощами, заменяет первое и второе блюда.

5

Имеется в виду изображение имперского орла на ограде моста.

«Воскресный айнтопф» – пропагандистская акция, введенная в 1933 году. С октября по март, в одно из воскресений каждого месяца, немецкие семьи обязаны были готовить на обед айнтопф, стоимость которого не должна превышать 50 пфеннигов, а сэкономленные деньги жертвовать в фонд «Зимней помощи», где аккумулировались средства в помощь бедным и безработным.

Эрих Курт Мюзам – немецкий поэт и драматург, видный представитель богемы. Анархист. В конце Первой мировой войны – один из ведущих агитаторов Баварской советской республики.

8

Немецкая писательница, переводчица и художница.

Отсылка с роману М. Пруста «В сторону Свана» из цикла «В поисках утраченного времени».

Пивной путч, известный также как путч Гитлера или путч Гитлера и Людендорфа – попытка государственного переворота, предпринятая лидером НСДАП Адольфом Гитлером и его сподвижниками 8-го и 9 ноября 1923 года в Мюнхене.

Песня Хорста Весселя (Horst-Wessel-Lied) – марш штурмовых отрядов (СА), позднее – официальный гимн Национал-социалистической немецкой рабочей партии и неофициальный гимн Третьего рейха.

Национальная конфедерация труда.

Les Deux Magots (*фр.*) – знаменитое *кафе* на площади Сен-Жермен в VI округе Парижа.

Истоцена (*фр.*).

Моя дорогая (*фр.*).

Детка (*фр.*).

Закуска (*фр.*).

Шампанского, пожалуйста (*фр.*).

«Глупость – дар Божий, но не следует им злоупотреблять» – расхожий афоризм, приписываемый Отто фон Бисмарку.

Шиллер Ф. «Дон-Карлос, инфант Испанский». Пер. М. Достоевского.

Давай, быстрее, быстрее (*фр.*).

Следуйте за мной (*фр.*).

Завтра утром (*φρ.*).

Добро пожаловать (*φρ.*).

Обед в шесть (*фр.*).

26

Как тебя зовут? (*фр.*)

А тебя? (*фр.*)

Но все зовут меня Мими (*фр.*).

Военная кличка (*фр.*).

Здравствуйте, мадемуазель (*фр.*).

Сюрте (*фр.* Sûreté) – сокращенное разговорное название различных спецслужб, существовавших в прошлом во Франции.

Вы сядете на поезд до Лейпцига и Берлина (*фр.*).

Добрый вечер (*фр.*).

Куда вы едете, мадемуазель? (*фр.*)

Секунду, пожалуйста (*фр.*).

Простите, месье? (*фр.*)

Я врач (*фр.*).

Помогите мне (*фр.*).

Морр (*нем.*) – швабра.

Имеется в виду завод «Сименс».

Блонди – немецкая овчарка Адольфа Гитлера.

Отрывок из стихотворения Ф. Гёльдерлина «Патмос».

Любовь на троих (*фр.*).

Речь идет о Женевской конвенции 1929 года об обращении с военнопленными.

«*Лили Марлен*» (Lilli Marleen) – популярная во время Второй мировой войны немецкая солдатская песня.

«Где у немца родина?» (*Was ist des Deutschen Vaterland?*) – немецкая патриотическая песня Эрнста Морица Арндта.

«Песня о Тризонезии» (*Trizonesien-Song*) – юмористическая песня об оккупации Германии тремя державами, написанная в 1948 году К. Бербуэром.

Жак Мари Эмиль Лакан (1901–1981) – французский психоаналитик, философ и психиатр.

«Путешествие в Иерусалим» – немецкое название популярной игры, в которой нужно успеть занять свободный стул, при этом стульев на один меньше, чем участников.